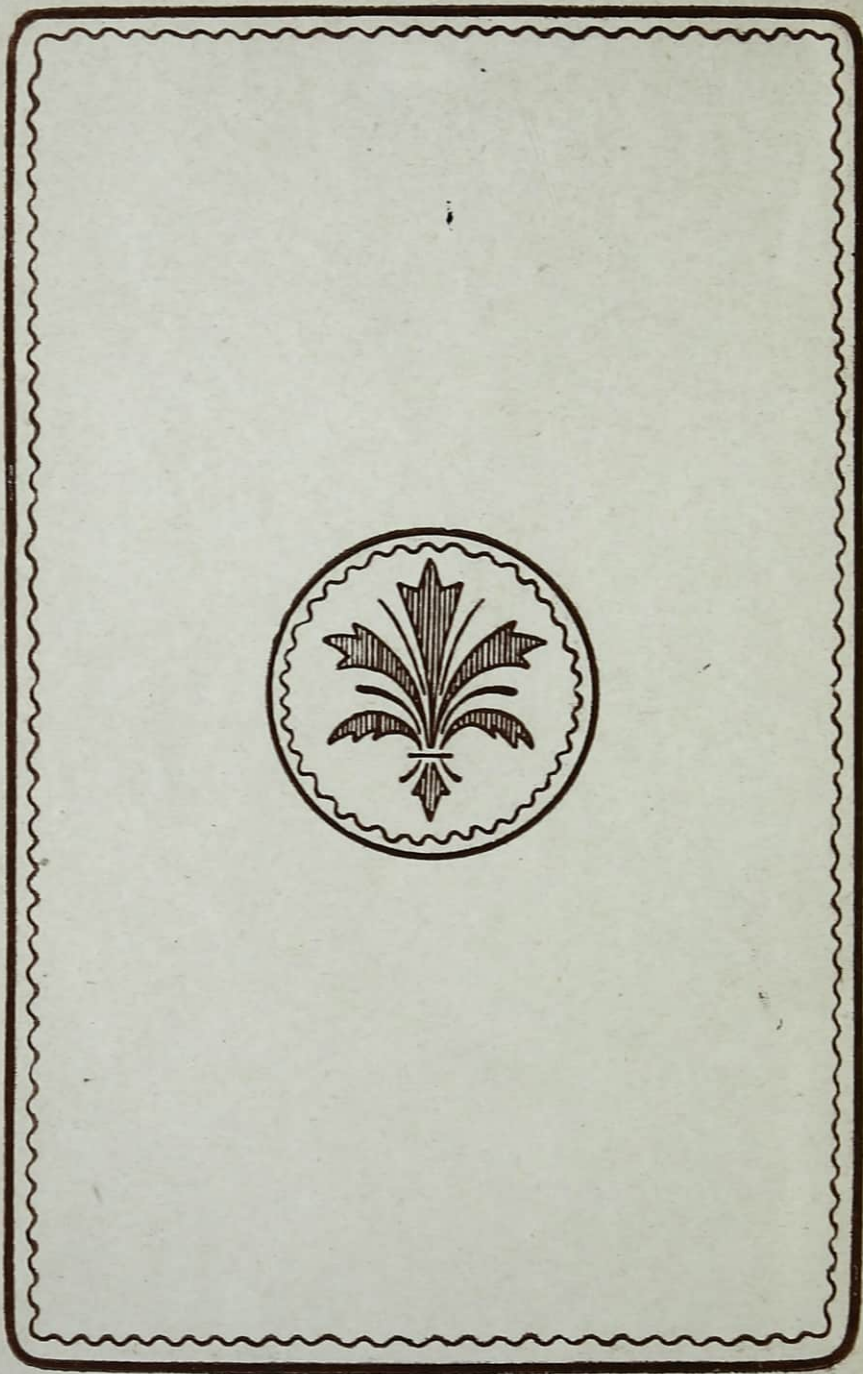


7361к 7

Ф. Д. НЕФЕДОВ



МОСКВА - ИВАНОВО



21.XI.82-6619

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Кол-во пред. выдач \_\_\_\_\_

6/10-45-133

8.01.07 8234

с 8.01.07 по 19.03.07  
№ 12660

13.06.07 - 8234

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
ОБЩЕСТВО

УЧЕБНО-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР КРЕВОВОЙ

---

Ф. Д. НЕФЕДОВ

ПОВЕСТИ  
И  
РАССКАЗЫ

ТОМ  
III



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКВА \*\*\* 1937 \*\*\* ИВАНОВО

7361к

1941

94

// 2010

В третий том собрания сочинений Ф. Д. Нефедова, кроме двух башкирских легенд „Зигда“ и „Ушкуль“, изображающих героизм башкирского народа, входят повесть „Тайна реки“ о жизни башкирцев, рассказы „Никитин починок“, „На арстантском пароходе“ и повесть „Лукавый поштал“, передающая историю горькой жизни крестьянина-бедняка Авдея.

*Редактор Д. Г. Прокофьев.  
Художник В. Н. Говоров.  
Технический редактор  
В. П. Федоров.  
Корректор А. С. Солодова.*

\*

*Сдано в набор 14/IV—8/IX 1937 г.  
Подписано к печати 7/X—31/X  
1937 г. Тираж 10 000 экз. Изд. № 26.  
Инд. XI-в. Уполн. Ивобллита  
№ В-1409. Формат 82×108/32. Бум.  
л. 4<sup>25</sup>/<sub>32</sub> + 5 вклеек. Печ. л. 19<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.  
Учетно-авт. л. 16,87. В бум. л.  
143 104 зн.*

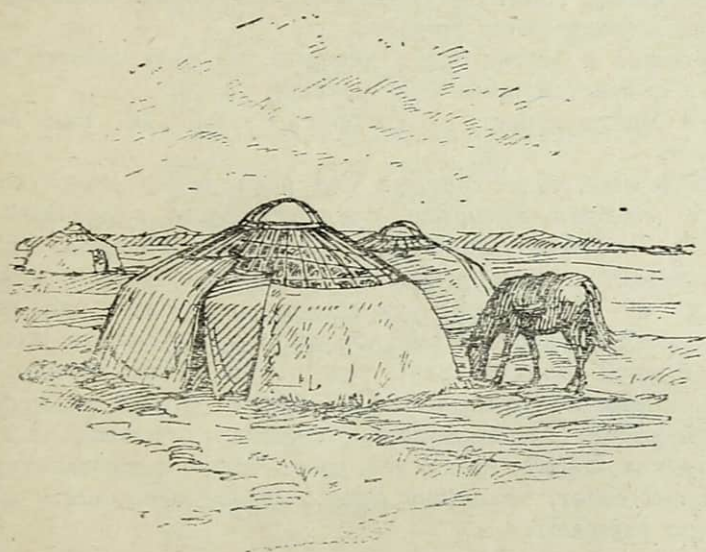
\*

*Типография издательства Иванов-  
ского обкома ВКП [б]. Иваново  
Типографская, 4. Заказ № 2400*

\*

*Цена 5 руб.  
Переплет 1 рубль.*

# ЗИГДА





ЕСЕЛАЯ, живая и смелая была эта Зигда.

С утра аул слышит ее грудной смех и голос.

— Зигда работает. — говорят в кошах<sup>1</sup>.

По степи бешено мчится молодая женщина на лихом коне, держа наготове аркан...

— Зигда гонит за косяком, — говорят башкиры: — знать, лошадь хочет поймать.

Весною и летом, перед вечером, по аулу льются звуки курая и несется приятный женский голос.

— Зигда играет, — говорят. — Ай, ай, как весело играет!

В долине, близ светлых вод реки, перед своим кошем, стоит молодая женщина среднего роста в розовом зюлене<sup>2</sup>; голубая шапочка, унизанная бисером, слегка прикрывает ее голову; две густые черные косы с серебряными и золочеными украшениями лежат по спине ниже пояса; красивое смуглое лицо оживлено, из-под черных бровей горят большие темнокарие глаза; полные, красивые губы полуоткрыты. Она поет и играет на тростниковой дудке. Толпа молодых башкир, парней и девок, обступила Зигду; на густой траве сидят и лежат старики; у кошей стоят, приложив руку к щеке, женщины и внимательно слушают.

Веселитесь, девушки,  
 Веселитесь, красные!  
 Молодость изменчива,  
 Пролетит — не скажется.  
 Пока девушка —  
 Нет заботушки:

<sup>1</sup> Кош — войлочная кибитка.

Зюлен — платье.



Гуляй девушка,  
Веселись, свободная!

— Слышь, как девок-то она учит! — переговариваются между собой старики. — Правду она играет: девкам и веселиться, а замуж выдут — обложатся ребятами, — и конец веселью.

Удалые батыри,  
Смелые джигиты!  
Не спешите, молодцы,  
Девиц брать в замужество:  
Девушка хорошая,  
Девушка пригожая;  
Кто девицей не любится,  
Песнь о ней не складывает?  
От любви к девицам  
Удальцы храбрей становятся  
И несутся в бой, отважные,  
Не боясь врага-татарина,  
Ни киргиза хищного.  
Старики на девушек посматривают,  
Вспоминают свою молодость  
Да сединками потряхивают:  
«Как бы нам опять  
Да быть джигитами!»  
А мужики глядят — дивуются:  
«Что за девушки, красавицы!..  
Да откуда ж бабы?..»

Громкий смех заглушает последние слова песни.

— Плут баба! — раздаются голоса: — смеешься над нами, женатыми.

Подавайте, девицы,  
Руки молодцам,  
Каждая по выбору,  
Кто ей по сердцу:  
Заводите перепелицу <sup>1</sup>

— Надо ее замуж отдать, — посмеивались башкиры. —  
Что без мужа ей оставаться!

<sup>1</sup> „Перепелица“ или „перепелка“ — любимый башкирскою молодежью танец.

Зигде девятнадцать лет. Три года она замужем, но муж с нею жил только один год: Араслан погнал в Бухару косяки лошадей и стадо баранов; товарищи его вернулись, а он остался и не шлет о себе никакой вести Зигде.

— Глупый человек, — говорили о нем в ауле. — Что ему там делать? Покинул жену..

— Дурак! — повторяют башкиры. — К такой бабе не тянет его! Жить с Зигдою одно веселье и покой.

— Да жив ли он?.. Может ногой или киргиз угодил в него стрелой? Али богатства в Бухаре остался наживать?

К Зигде уже сватались женихи.

— Араслан не придет, — говорили они: — он в дороге убит. Не жди его. Выбирай из нас любого и бери себе нового мужа.

— Я не одна, — весело отвечала Зигда — со мною муж!

— Какой муж?!

— Араслан.

— Да он же в Бухаре!.. Если его не убили, так он в плену. Может, он там и женился?

— Нет, Араслан не возьмет другой жены; не возьмет другого мужа и Зигда: Араслан здесь, — и Зигда показала рукою на свою высокую грудь.

Никто не видал Зигды печальною, никто не слышал от нее вздоха: смеется, поет, работает и всегда довольна собою.

— Чудная баба, — дивился аул. — Муж пропал, а ей и горя мало!.. Не хочет брать и другого...

Но горы и потоки не раз слышали жалобы Зигды:

Горы высокие, горы прекрасные  
К небу вершинами вскинулись!..  
Горы высокие, горы прекрасные!  
Из поднебесья лазурного, светлого  
Все и далеко вы видите.  
Скажите, не скройте, поведайте,  
Горы высокие, горы любезные,  
Кого вы там видите,  
Кого вы там смотрите?  
Не скачет ли по степи  
От ханства Бухарского

Статный башкир  
На гнедом жеребце?

Но горы слушали и молчали. Зигда обращалась к гор-  
ным потокам:

Потоки гремячие,  
Потоки вы быстрые!  
Куда вы стремитесь,  
Куда вы бежите, торопитесь?  
Не к морю ли синему,  
Не к ханству ль Бухарскому,  
Где живет башкир молодой?  
Я знаю, туда вы стремитесь!  
Отнесите ж от Зигды  
Привет Араслану,  
Поклон сыну Рамзая;  
Скажите ему:  
Ждет его Зигда домой,  
Ждет днями и ночью,  
Ждет от зари до зари;  
Ждут косяки и стада,  
Ждут горы и степи  
Родной стороны;  
Ждет его кош дорогой  
С кумысом, с подушками мягкими.  
О, вернись, Араслан!  
Вернись скорее к Зигде своей...

Потоки гремят, скачут и безумно хохочут.

### III

Третью весну Зигда встречает без мужа: не отнесли потоки жалоб и поклона ее мужу!

Аул выступил на летовку.

Какое веселье кругом, какая радость в лесах, улыбаются первые цветы на изумрудных лугах, блещут воды рек и озер, и, стряхнув зимний покров, в голубом поднебесье сияют вершины гор. По долинам белеются коши, везде довольные и веселые лица, счастливые голоса и шум. Воздух поет и ликует. Вдали гуляют стада, резвятся косяки лошадей. Приволье, простор и свобода!

Зигда нет отбоя от женихов.

— Не жди Араслана, — говорит молодой джигит: — забыл он тебя.

— Араслан давно убит, — говорит другой: — мертвый не придет к тебе.

— Не верь им, Зигда, — вступает третий, пожилой башкир в шелковом бешмете и в собольей шапке: — Араслан жив. Его видели соседи в Бухаре, он с двумя женами и детьми гулял на базаре. Не бери ты себе молодого мужа, — молодой народ ветреный. Найди себе мужа постарше: такой муж не покинет жены, будет ее любить и подарки дорогие станет делать...

Слушает Зигда, глядит на женихов и смеется.

— Или вправду мне взять мужа? — говорит она. — Подождите, дайте мне время... Я найду себе мужа.

— Вот это ты хорошо сказала! — обрадовались женихи. — Мы станем ждать... Только ты, пожалуйста, долго не тяни.

Зигда сидит в своем коше. На лице ее забота, в темных глазах глубокая дума. Не хорошо вдоветь молодой женщине: кому смотреть за стадами, кто будет искать лошадей, когда они убегут далеко, кто погонит скот на мену в другие земли? Но это еще не беда: Зигда за себя постоит и с помощью добрых людей справится. Не страшен ей и шайтан: молодым вдовам и женщинам, которые подолгу остаются без мужей, он любит что-то шептать на ухо, и от его нечестивого шопота молодые женщины часто плачут и не спят ночи... Зигда не боится шайтана, но без мужа она завянет: так говорит ей сердце. Зигда найдет мужа — она решила.

Зигда шьет мужскую рубашку. Кто из женщин к ней ни заглянет, видят ее за работою.

— Правду, знать, она замуж надумала, — говорят: — свадебные подарки заготавливает.

Хорошо она удумала: давно пора ей мужа взять.

По кошам только и говорю, что про Зигду.

— Кого она выберет?

Прошел день, прошло два — Зигды на кочевке не видеть. Сосунки-жеребятки отвязаны от колышков и спущены на волю, гуляют вместе с матками в степи; хозяйство ведет старуха.

— А где дочь?

— Ушла в гости.

Неделя минула, другая, а Зигда не возвращалась. Бо-

гатый вдовец, жених, ударился в аул, куда она ушла гостить. Там Зигда и не бывала. Всполошились. Поскакали на кочевки в другие аулы: нигде и никто не видал Зигды.

— Парень из вашего аула, малайка, проходил, а бабы не видали.

Пропала Зигда.

— Видно, шайтан ее утащил! — решил аул.

#### IV

Давно остались позади горы, скрылись и последние кочевки башкир. Впереди и кругом без конца расстилается степь; изредка встречаются речки. По дороге, выбитой копытами лошадей и баранов, идет молоденький паренек-башкир, в легком чекмене, в барашковой шапке, с котомкою за плечами и палкою в руке. Смело шагает парень вперед, глядит по сторонам и по временам оглядывается назад. На степи нигде живой души не приметно. Солнце стоит высоко и печет. Вот неподалеку зазеленелись кусты и потянулись, изгибаясь, куда-то вдаль; из-за листьев сверкнула вода. Парень догадался, что это текла речка. Он свернул с дороги и пошел к зеленым кустам. Присел на берегу, скинул шапку, снял котомку и принялся есть. Подкрепился, зачерпнул деревянною чашкою воды и напился. Посмотрел он в ту сторону, откуда шел: там, на самом краю неба, словно далекие розоватые и молочные облака, виднелись горы. Долго он глядел, две слезы выкатились из его глаз, вздохнул и достал из-за чекменя курай. Тихая речка и степь услышали песню:

Покинула родину я,  
Не вижу аула родного,  
Не вижу я мать и знакомых своих;  
Только одни горы высокие,  
Горы родины милой  
Провожают меня.  
Покинула кош свой любезный,  
Никому не сказалась  
И пошла в страну незнакомую,  
В страну неизвестную..

Певец поправил на голове волосы, надел шапку и, закинув за плечи котомку, отправился в путь.

Солнце далеко перевалило за полдень. Парень идет и оглядывается. Позади горы тают, вокруг расстилается ковыль, и впереди одна степь, степь без конца. В прозрачном воздухе высоко парят орлы... Вдали показалось что-то светлое, широкое...

Башкир смотрит — перед ним море! Он приостановился. Некуда итти!.. Осмотрелся, нельзя ли где обойти? Нет, везде вода.

Пойду — сказал. — Может там найду лодку...

Долго он шел, но до моря все не дойдет; чем ближе, казалось, подвигался к нему, тем дальше оно отступало; потом незаметно растаяло и пропало. Подивился парень, и тут же вспомнил рассказы башкир, которые гоняли скот, что они также встречали по дороге моря, но это было одно наваждение — шутки злого шайтана. Перед вечером показались коши — там кочевали ногайцы. Откуда взялись, скачут навстречу вершники в халатах и высоких шапках. Остановились и подпустили паренька к себе.

— Ты куда идешь? — окликнул старик.

Башкир понял вопрос.

— Иду в Бухару, — отвечал. — Там брат у меня...

— А зачем ты идешь к брату?

— Отец послал. Велел брату сказать, чтобы он домой шел.

Переговорили между собою ногайцы, оглядели с ног до головы башкиренка.

— А что у тебя в котомке?

Парень показал: мужская рубашка, шальвары, полотенце и хлеб с чашкой.

— Ступай — промолвил старик. — Багуш!<sup>1</sup>

Ню молодой ногай, сверкнув глазами, остановил и спросил.

— Что у тебя из-за пазухи торчит?..

Парень вынул курай.

— А! дудка?.. Играй!

Башкиренок приложил к губам курай и заиграл.

— Якши?<sup>2</sup>... Айда в аул!

Парень шел и играл, а ногайцы ехали по сторонам его. Из аула, заслышав курай, высыпали ногайчата, из кошей выглянули женщины, повязанные белыми платками, и по-

<sup>1</sup> Багуш — бедный, нищий.

<sup>2</sup> Якши — хорошо; бик якши — очень хорошо.

казались широкоскулые в халатах ногайцы. Вершники кричат.

— Вот мы какого парня ведем!

Народ сбежался с кочевья, все хотят слушать башкиренка. У одного коша, самого большого и богатого, на ковре сидел хозяин, высокий, в цветном шелковом бешмете; он налил большую чашку кумыса и подал курайщику:

— Пей, — сказал, — ты, чай, устал.

Сотни глаз устремлены на молодого башкира, словно на какое чудо. Женщины и девушки стояли особо, в сторонке; многие из них, поглядывая на красивого парня, переговаривались между собой и втихомолку улыбались.

— Ну, теперь играй, малай!<sup>1</sup>

Курайщик завел песню. Он пел про свою родину, красоты природы Башкирии и мирное жительство свободных башкир. Потом звуки полились протяжнее и грустнее, тоска и скорбь в них слышались. Суровые лица ногайцев смягчались, глаза смотрели мягче и добрее; женщины тихо вздыхали, а на глазах девушек навертывались слезы.

— Якши... Бик якши! — слышались голоса.

Певец приостановился, чтобы перевести дух. Хозяин коша сказал:

— Больно ты хорошо играешь, малай. Только песни твои не веселы. Сыграй нам веселее!

Парень начал плясовую. Ногайцам понравилось, они смеялись, хлопали руками и покрикивали:

— Ай, малайка! Молодец!.. Играй больше, весели наше сердце!

Большим огненным шаром опускалось солнце на свой ночлег. Кочевья, стада и степь обливались его пламенными лучами, все небо горело и полыхало. Курайщик поднялся.

— Пора.

— Слушай, малай, — говорил хозяин: — пойдешь ты дорогой, будет аул. Если тебя остановят, скажи, что тебе надо видеть Ахмета Шакира. Отнеси ему от меня поклон и скажи, что Махмет Гирей Тимашев просит его указать тебе дорогу к другому аулу и послать к своему кунаку. Он поймет... Тогда тебя никто не обидит, и ты благополучно пройдешь до Бухары.

---

<sup>1</sup> Малай, малайка — подросток, паренек.

Летнее солнце жгло и палило курайщика; степь чем дальше, тем печальнее становилась: нигде ни деревца, ни кустика, одни солончаки с бледной, малорослой травкой; изредка где попадались речки или озера. Парень купался, если не видел близко кочевья и народа. Днем он где-нибудь спал в степи, под открытым небом, и как только жара свалит, пускался в путь: ночевать в аулах почему-то избегал. Приближаясь перед вечером к кочевью, он начинал играть. Его встречали, вели в аул и заставляли играть, петь; в благодарность за это курайщика везде кормили и поили айрянном или кумысом. На дороге нередко парня останавливали; тогда он называл имя старшины или начальника, и его отпускали. Спасибо Махмету Гирею! Миновал курайщик ногайскую степь; начальник последнего кочевья послал его к своему приятелю, старшине киргизского аула. В этом ауле чуть с ним не случилась беда. Здоровый киргиз, в халате и рысьей шапке, зорко смотрел на молодого курайщика; в узких глазах киргиза замелькали разные огоньки — дурной признак! — он визгливо засмеялся и крикнул:

— Да, ты не парень!

Курайщик смутился.

— Нет, я — парень.

— А волосы зачем шапкой носишь?

— В Башкирии подростки все так носят...

— Жена старшины, не спуская глаз с башкиренка, шепнула что-то мужу.

Тот повернулся к допросчику.

— Молчи! — грозно крикнул старшина. — Малай — гость, он поклон мне от Сейфуллы Янбаева принес.. Ты у нас ночуешь, малай, — прибавил он в сторону курайщика.

Киргиз замолчал, только еще больше сузил глаза и прищелкнул языком.

Погодя, старшина повел гостя в свой кош. Как только они вошли, жена спросила:

— Зачем ты парнем нарядилась?

Гость признался и рассказал хозяевам про свою судьбу.

— Ах, ты бедная! — пожалела киргизка.

— Теперь ты не бойся, — проговорил хозяин. — Баба мне шепнула, я нарочно тебя ночевать оставил. Абдулка — разбойник, он бы тебя догнал. Сосни, а на заре пойдешь.

Он посоветовал было Зигде обрезать волосы, но та не



захотела расстаться с густыми своими косами. Хозяйка сама вымыла ей горячей водой голову, расчесала волосы косяным гребнем, снова подобрала и уложила их попрежнему колпачком.

Небо только что забелелось, а уж Зигда простилась с хозяевами, оставила гостеприимный кров.

Горячими, раскаленными песками шла Зигда; в течение суток нигде жилья не встречала, не находила воды, чтобы утолить жажду; проливные дожди и грозы заставляли ее в пути.

Больше месяца она шла, переносила все невзгоды, лишения и опасности. Она молилась богам, утешала себя игрой на курае и пением. Осталась, наконец, позади и печальная степь, увидела она и большую реку, поросшую по берегу тростником и камышами. Зигда вздохнула свободнее — теперь уж недалеко до Бухары! Свою радость она излила в звуках, которые привлекли к ней множество больших птиц, и заставила слушать в реке рыб. Из прибрежных камышей просунулась большая голова зверя, голова, похожая на кошачью, с пятнистым лбом; зверь не трогался и слушал; потом он опустил голову и лег. Вблизи с дороги раздались голоса, Зигда увидела каких-то новых людей, непохожих ни на киргизов, ни на ногайцев: это ехали верхами узбеки со своими женами. Зигда поспешно встала и поспешила к ним навстречу. Те приостановились. Она обратилась к ним со словами: далеко ли до Бухары, и так ли она идет. Те слушали ее и молчали: они не знали башкирского языка. Но один, должно быть, понял или догадался, показал рукою и что-то сказал. Другой достал из мешка хлеба, дыню и изюму, подал Зигде. Новые красивые места открылись, стали попадаться селения с белыми хижинами и садами; в них — приветливые женские лица, высокие с черными бородами мужчины, стройные парни.

## VI

Бухара велика. Много селений прошла Зигда; не в одном городе она побывала, встречала разных людей и между ними башкир, спрашивала об Араслане. Никто не знал, где Араслан Рамзаев. Скоро в Бухаре заговорили про молодого курайщика-башкиренка. В селениях и городах, где только был базар, появлялась и Зигда в чекмене и

шалъварах; около нее собирались толпы народа, слушали ее игру и песни.

За песками сыпучими,  
За степями ногайскими  
Вздыхаютъ горы высокіе,  
С долинами изумрудными,  
Реками, озерами светлыми,  
Потоками быстрыми.  
Там степи волнистыя  
Травой-ковылем расстилаются  
Цветами разубраны:  
То край мой родной,  
Вольных башкиров страна!

Бухарцы и чужестранные люди, слушавшіе курайщика, не понимали слов, но звуки и голос пленяли их слух. Одни башкиры знали, про что поет их земляк, довольно вздыхали и приговаривали:

— Так, правду малай играет. Лучше Башкирии нет страны в свете!

— А какую песню он ни поет, все про Араслана помянет. Надо поспрашивать, не знает ли кто его?

В одном городе Зигда также играла на базаре, где были и башкиры. Услыша имя Араслана, башкиры стали переговариваться:

— Да не тот ли Араслан, что работает в садах мурзы?

— Пожалуй, что он: зовут Арасланом Рамзаевым...

Расспросили курайщика, какого Араслан башкирского, рода и из какого аула, давно ли он покинул свою родину.

— Так мы знаем Араслана! — сказал один из башкир. — Ты найдешь его в самом городе Бухаре: там их трое у богатого мурзы Алыбаева служат.

— Как мне найти его там, добрые люди? — спросила, обрадовавшись, Зигда.

— А будешь на базаре, встретишь кого из наших и спроси, где сады мурзы Алыбаева. Да на базаре ты и самого Араслана увидишь.

Большой город Бухара, в котором живет сам хан, бладыка над жизнью и смертью своих подданных и рабов. Много Зигда увидела домов каменных, башен с золотыми серпами наверху, узких и кривых улиц, базар с лавками, в которых продавали шелковые материи, сундуки, а на площади грудами навалены были арбузы, дыни, груши, лежали меш-





ки с изюмом и стояли короба с виноградом. Много всякого народа толпилось на базаре, богатых и бедных, босоногих, грязных, оборванных невольников. Душа Зигды заплакала, сердце печалью охватило, и она запела:

Хороши города и селения ваши,  
Есть на что посмотреть!  
В шелках, жемчугах и монистах  
Ходят красивые женщины, девушки,  
С головами, покрытыми серебристыми тканями;  
Пригожи, ловки здесь юноши,  
Взоры их блещут огнем.  
Много богатства, довольства в стране...  
Но душно, тесно в стенах городских,  
Где рабы и невольники служат!..  
Нет здесь свободы, простора,  
Как в нашей стране,  
Башкирии вольной, прекрасной.  
Где люди свободны, как птицы,  
Живут в аулах, по горным долинам.  
В кочевьях, в степях благодатных, веселых...  
О, Араслан, где ты, откликнись  
На песню курая, песню любезной страны!

День поет Зигда, другой — нет Араслана, не видит его в толпе народа. Сердце ее рвалось к мужу, скорее хотелось взглянуть на своего милого; но она не шла в сады мурзы Алыбаева, она ждала, что Араслан придет на базар, услышит знакомый голос, игру на курае и узнает свою жену. Третий день Зигда на базаре. Поет она про башкира, который ушел со стадами в чужую землю, покинул молодую веселую жену, позабыл свою родину.

Два года жена дожидалась  
Мужа негодного, нехорошего,  
На третий год не стерпела она,  
Собралась и пошла в страну дальнюю  
Отыскать мужа заблудшего..

— А ведь это Зигда играет! — раздался голос, и сквозь толпу проталкивался высокий молодой башкир, с черным усом и в шапке на затылке. — Нет, это малайка, из наших... Кто ты, малай, из какого рода?

Зигда вскинула на башкира свои темнокарие глаза, посмотрела на него и покачала головой.

— Ах, ты глупый человек! — проговорила она. — Ему мало, что голос слышит: он еще спрашивает? Гляди! — с последним словом Зигда сорвала с головы шапку, густые волосы ее скатились волнами и рассыпались по плечам...

— Зигда! — вскричал башкир.

— А то кто же, как не я!

И слезы ручьями хлынули из глаз молодой, красивой женщины.

Удивление толпы быстро перешло в громкий смех, посылались веселые и довольные голоса:

— Вот так курайщик! Ай, малайка: баба, а не парень! Молодец!

---

Осенью на двух верблюдах, навьюченных всяким добром, шелковыми материями и бухарскими тканями, воротились на родину Зигда с Арасланом. Весь аул высыпал им на встречу, все радостно приветствовали их, в том числе и женихи, крепко жали им руки и говорили:

— Здорово! оба приехали. Вот это ладно... Ай, Зигда! нашла мужа.

— Да, ловко она нас провела, — говорили, весело посмеиваясь, женихи. — А мы, дураки, ждали...

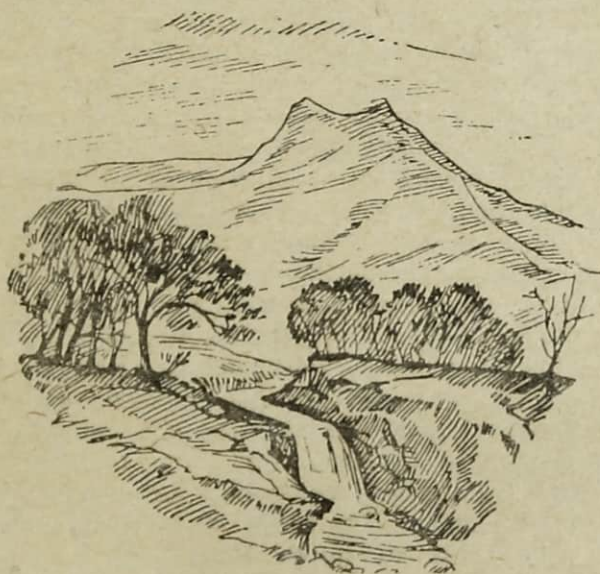
— Я не обманула вас, — отвечала Зигда: — мужа я себе нашла.

Целую неделю пировал аул, празднуя новую свадьбу Зигды с Арасланом. Молодые, муж и жена, не пожалели баранов и быков, кумыса и крепкого меду. А сколько Зигда подарков раздала женщинам и девушкам! Араслан не даром зажился в Бухаре: много всего он вывез оттуда на родину.

Башкиры до сих пор не забыли смелой Зигды: курайщики поют про ее дар играть песни, про любовь, верность и сильный характер.



# УШКУЛЬ





**Б**ЫЛ МАЙСКИЙ ДЕНЬ. Еще высоко стояло на ясном небе солнце, щедро рассыпая вокруг снопы жарких лучей, но в горной долине, где приютился на кочевку аул, не томило от зноя и дышалось легко, полною грудью. С обеих сторон, по скатам гор, сверху донизу, зеленела густая сочная трава; по долине разрастался лозняк и полз кустарник; между ними весело выбегали молоденькие березки, ольха, черемуха, вязки и рябина, сквозь тонкие стволы и свежую листву которых просвечивали изгибы немногочисленной, но резвой и затейливой речки.

Верст за двадцать выше кочевья, вырвавшись из каменной горы, гулко и весело побежала вдаль беззаботная речушка. То, извиваясь и мелодично журча по мелким галькам, она ласкается к своим берегам, то спрячется в чистом тальнике, притаится, точно ее и нет, то вынырнет, но уже далеко, в другом месте, и задорно ударится прямо на каменную глыбу, отпрянет назад, рассыпаясь серебряной пылью, и с детским смехом бросится несколькими ручейками в разные стороны, торопливо убегая от своего плачущего со злости врага, а там, смотришь, уже снова несется одним потоком, не зная куда и зачем, и выбежит на широкую степь. Здесь, словно удивленная видом незнакомых мест, она робко оглядывается на родные горы; но давно уже скрылась из вида гора-мать, тоскуя о своем неразумном детище, — и беглянка разом стихает, умеряет свой бег и уж не торопится, но боязливо и нерешительно пробирается среди чуждых ей берегов, как будто догадываясь, что вот сейчас какая-то незнакомая большая река встретит ее, широко обнимет и попит в своих глубоких водах.

У прозрачных струй этой шаловливой речки, по долине беспорядочно раскинулось башкирское кочевье: из-за приветливой зелени деревьев выглядывают жималейки, похожие на остроконечные пастушьи шалаши, из теса и лубка кое-как сложенные балаганы и с пяток круглых войлочных кибиток, закопченных от дыма и побуревших от долговре-



менного служения. Около этих неприхотливых жилищ спуют женские фигуры с озабоченными, но довольными лицами, играют босоногие загорелые ребятишки, вспугивая своим криком певчих птиц, и слышатся где-то, неподалеку, своеобразные музыкальные звуки... Должно быть, их-то так и заслушалась вон та молодая девушка, что, раздвинув ветви орешника, стоит неподвижно, устремив грустно задумчивый взор на уносящуюся свободно вдаль речку.

На луговине, перед одной кибиткой, скучились башкиры, собравшись со всего кочевья. В пестрых тюбетейках и длинных ситцевых рубашках с широкими отложными воротниками сидят они, подогнув под себя ноги, молча время от времени потягивают кумыс, которым их потчует хозяин коша, и слушают курайча, пожилого башкира в поношенном люстриновом бешмете и бараньей шапке на голове. Он играет на своей тростниковой дудке, курае, и одновременно поет, возбуждая в слушателях благоговейное внимание и сочувствие: поет он о подвигах батырей, о славных делах башкирского народа, о прежнем привольном житье и о многом другом, что попеременно вызывает у слушателей или улыбку и радость, или безграничную удаль, или печаль и нередко слезу.

— Хорошо, больно хорошо, — слышится сдержанное одобрение. — А-ай, как хорошо!

Замолк народный певец-музыкант, выпил залпом чашку кумыса и призадумался.

— Теперь я буду много играть, — проговорил он: — про ушкуль я стану петь.

Выражение удовольствия, любопытства и оживления пробежало по лицам башкир.

— Про ушкуль? Ладно. Это больно хорошо ты надумал. Играй нам про ушкуль.

Курайч приложил к губам дудку и запел про ушкуль<sup>1</sup>.

## I

Дивный край — наш полуденный Урал. Чем только бог не наделил свою любимую страну! Смотри: перед тобою, прямо — необозримые волнующиеся ковылем степи; словно бархатные ковры, стелются без конца зеленые луга, разу-

<sup>1</sup> Ушкуль — самопожертвование, испытание.

крашенные цветами; точно расплавленное серебро и золото, сверкают воды рек; а по берегам за ними, как бы догоняя, бегут купы благоухающей уремы, полные чарующих песен. А посмотри, что позади тебя! Там лежат каменные великаны, тянутся и наступают друг на друга горные хребты, покрытые темными лесами; громоздятся и лепятся громады скал; по ущельям режут и прыгают вспененные потоки; толпами и одиночно, одна из-за другой, встают горные вершины, сияя над облаками своими от начала мира венчанными главами.

Синим шатром распростерлось небо, и с лазурной высоты глядит солнце; зимы коротки и мягки, а про бураны никто и не слышал.

И всю эту благодатную страной владеют свободные башкиры. Они знают, что в горах и речных долинах лежат сокровища; много золота, серебра и драгоценных камней в земле сокрыто. Но не в этих сокровищах богатство народа, а в стадах, косяках лошадей и верблюдах; из озер никогда не выловишь рыбы; выпусти башкир из колчана все до одной стрелы, — звери и птицы не переведутся в лесах, а борти всегда будут полны душистым липовым медом. Мать-земля дает людям все, что им надо. Зачем же башкурт станет железом терзать ее грудь, кайлами и оленьим рогом пробивать горы? Пускай это делает чужь; бог за то и прогнал этот народ, и землю их отдал башкирам.

Все это давно было.

Много родов владели страной; по родам делилась земля; но ни столбов, ни межей никаких не было, и кочевали по всей стране, кто и где хотел.

Каждый род жил своими аулами и знал своего князя. Князь приносил жертвы богам, — тогда башкиры еще не были правоверными, — открывал народные празднества и занимал первое место на джеинах, куда собирался весь род: здесь решали, когда весною подниматься с зимовки и выезжать на кочевку; делили между собою дорогих зверей, убитых на охоте, или добычу, захваченную на войне; удаляли князя и выбирали нового; назначали, сколько голов скота и косяков лошадей гнать на промен в соседние страны, и разбирали споры между аулами, хотя это случалось редко, потому что в те времена людям не из-за чего было спорить. Если угрожал нашествием неприятель, то собирался джеин от всех родов с своими князьями; кто хотел воевать, тот шел, а кто не желал, оставался дома; насильно не заставля-

ли итти, потому что башкурт — свободный человек и принуждения не терпел.

В довольстве и союзе жили башкиры. Самым знатным из всех родов почитался Арало-Табынский. Ни у кого из князей не было такого богатства, как у старого князя Хасана-Фаткуллы.

Он не знал счета своим стадам, лучшие породистые лошади, вышедшие из озера Кандры, водились в его бесчисленных косяках, а дорогие меха, шелковые ткани, персидские ковры и разные драгоценности, уложенные в кованые сундуки, занимали у князя особую терему. Но не одни только богатства составляли гордость Арало-Табынского князя: он гордился своей дочерью, слава о которой прошла по всей Башкирии. Никогда еще такой красавицы не видел свет. Перед Надой меркла красота всех княжеских дочерей, как меркнут звезды при румяной заре, бледнела и таяла, как бледнеет месяц при восходе солнца. Высокая, стройная, подобно гибкому тростнику, с лицом белым и алыми розами на щеках, когда она открывала свои уста, два ряда прекрасных зубов светились словно перламутр, и сладкий голос ее лился, точно звуки небесной песни; каждое слово ее стоило дороже самого крупного алмаза. И если подымет Нада из-под темных бровей свои большие черные глаза, осененные длинными и густыми ресницами, посмотрит ими, — дряхлый старик позабывал про свои немощи и молодец, а юноша с радостью готов был кинуться на опасный подвиг. Лихая наездница, на охоте по зверю или птице княжна не уступала самому первому стрелку из лука.

Сколько знатных юношей, славных джигитов и батырей изнывали от любви по Наде; князья наперебой добивались ее руки, предлагая ей большой калым, но ничей пламенный взор не проник в грудь княжны, никакие богатства не прельстили гордой красавицы! Князь Хассан-Фаткулла говорил дочери:

— Милая дочь, ты видишь, я стар уже становлюсь. Горе мне и всему нашему роду, если умру, не оставив по себе наследника. Выбери себе из князей или джигитов любого, и ты подаришь мне внука, который будет достойным моим наследником.

— Молоды и богаты наши князья, — отвечала Нада, — но ни один из них не владеет тем, чем владеет мой отец. Я хочу, чтобы тот, кого я назову своим женихом, совершил та-

кое славное дело, о котором бы передавалось из рода в род, и слава о нем прошла бы по всей земле.

— Ты хочешь невозможного, — говорил седой князь. — За тех князей, которые прославились в боях с врагами, ты не пойдешь, — они стары, а молодым еще не выпадало случая показать себя; благодарение богам, давно ни один народ не грозил нашей стране! Но если наступит война, муж твой прославит наш род.

— Тогда не один мой муж, а многие со славою возвратятся с битвы; про них будут говорить, что они защищали родную землю. А я хочу, чтобы жених совершил славное дело ради меня, чтобы я знала, что он любит и берет меня.

— Безумие, дочь моя! Разве ты не примечала, как при одном виде твоём загораются очи юношей, и темнее ночи становятся их лица от безнадежной любви?

Те же речи слышала гордая красавица и от своей матери, разумной княгини Бики.

В долгие зимние вечера, оставаясь с глазу на глаз с дочкой в ее богатой терьме, старая княгиня, лаская и целуя свою ненаглядную, так ей говорила:

— Пора, доченька, пора тебе замуж. Скоро семнадцать лет тебе минет.

Распустив по плечам и высокой груди свои черные волосы, положит княжна голову на колени матери, покоится на мягком ковре и задумчиво смотрит на цветную материю, которою обиты стены ее терьмы.

— Нет, мама, не пришла еще, видно, моя пора, — отвечает. — Статны и ловки молодые князья, могучи и смелы наши батыри и джигиты, но ни перед одним я не потупляла своих глаз, и ни разу ни от кого не забилося радостью мое сердце...

— О моя жемчужина! Полюбишь, когда выйдешь замуж! Не всегда девичье сердце лежит к жениху, а как только он стал мужем, — откуда горячая любовь к нему возьмется!..

— А если и к мужу у меня не будет любви!.. Разве я не знаю, отчего поблекла красота Мины Бару, отчего с каждым днем вянет и сохнет молодая княгиня? Нет, никто не поведет меня в свою терьму, кого я прежде не полюблю и в любви к себе не испытаю.

Только сошел снег, пронеслись вешние воды, стала просыхать земля и показалась молодая травка, как по зимовьям уже началось движение, везде сборы и приготовления. С нетерпением все ждут радостного дня, когда выступят на кочевку, но еще нетерпеливее ждет скот, громадными тучами облегающий аулы. Раздавалось ржание лошадей, бивших о землю копытами, пронзительно кричали верблюды, мычали волы и коровы, жалобно блеяли бараны с овцами и козы. Но немного времени осталось потерпеть: на утро будет сабан-туй, а там и тронутся на летовку.

С утра шум и говор в ауле князя Хассана-Фаткуллы. Съехались гости, башкиры с семействами, прискакали на лихих конях удалые джигиты и батыри, приехали за сотни верст князя с женами, сыновьями и дочерьми. Вблизи княжеских терьм, на берегу реки, в медных котлах варят баранину для угощения народа, прибывшего на праздник из разных мест. Над аулом расстилается дым: там ласковые хозяйки стряпают кушанья, которыми станут потчевать своих гостей.

Повсюду нарядные толпы; разноцветные мужские бешметы перемешиваются с такими же бешметами и шелковыми зюлениями женщин; волнами движутся и плывут толпы к терьмам старого князя.

Вышли приезжие князя, блестя дорогою оправою своего оружия, в тонких суконных чекменях и шелковых бешметах, в собольих и бобровых шапках; появился и седой князь Хассан-Фаткулла, в белой папахе и белой одежде, а за ним вслед показались и княгиня с дочерью и гостями. Старый князь прижал руку к сердцу и поклонился народу.

— Здравствуй, князь! — загремела в один голос многотысячная толпа народа. — Будь здоров, наш добрый князь!

Приезжие князя по очереди и старшинству рода подходили к Хассану, говорили ему каждый свое приветствие и обеими руками пожимали его руку; приветствовали они хозяйку и ее дочь, а также и других княгинь с княжнами. Когда приветствия окончились, князь Хассан в сопровождении своей семьи и гостей направился к жертвеннику, куда за ними хлынули и волны народа.

Стояло тихое утро; солнце ярко освещало степи, леса и горы, а в чистом поднебесье заливались жаворонки. На вер-

шину зеленого холма вошли одни князья, во главе их седой Арало-Табынский князь; их семейства и народ остановились внизу. На жертвеннике были приготовлены животные, поставлены серебряные и вызолоченные кувшины с медом, просом, ячменем и холодной водою, навалены сухие ветви; тут же стоял и небольшой из красной меди сабан. Князь Хассан приблизился к жертвеннику, стал лицом к полудню и, подняв руки кверху, громко воззвал:

— Великий бог, живущий в небесах! Мы, башкиры, пришли на это священное место, чтобы принести тебе от наших благодарных, чистых сердец любимые тобою жертвы. Вот непорочные бараны, янтарный мед, жемчужное просо и отборный ячмень. Прими наши жертвы и даруй своему народу благоденствие, мир и счастье. Не отнимай у народа свободы; как свободными, по твоей воле, люди родились на свет, так свободными бы они всегда и жили. Не давай над нами воли шайтану и злым людям, которые обманом и обольщениями завлекают простых людей в свои сети! Улучши породу лошадей и храни скот. Даруй больше тепла, посылай земле во-время дождик, чтобы она давала людям просо и ячмень, и скоту корм. Благослови башкир на летовку! Великий бог! услыши молитву башкирского народа и исполни его прошения!

И вокруг за седовласым князем мужчины, женщины и дети, подняв к небу руки, громко повторяли:

— Великий бог! услыши молитву башкирского народа и исполни его прошения!

Старый князь, вынув из-за широкого пояса, украшенного золотым набором, острый нож, заколол одного за другим трех баранов; потом высыпал на жертвы просо и ячмень и облил их медом. Обмыв руки, князь снова громко воззвал:

— Богиня земли! Прими наши жертвы, пошли земле плодородие, хорошее просо и ячмень, сытную траву и всякое полезное людям и скоту произрастание. Вот сабан, который мы храним от наших предков, но мы не прикоснемся им к матери-земле, не тронем ее груди; земля для нас священна. Милосердная богиня! услыши молитву башкирского народа и исполни его прошения!

И весь народ громко повторил последние слова князя.

Затем он обратился с прошением к богу стад, к богу лошадей, к солнцу, к богине лесов и многим другим. После каждого обращения князь закалывал по одному барану в

жертву божества, осыпал просом и ячменем и обливал медом, а другие князья резали мясо на части и клали на сухие ветви. Скоро вспыхнули огни, над жертвенником поднялось облако дыма и белым столбом понеслось к самому небу. Пение и радостные крики огласили окрестность: боги приняли жертвы, и моление князя с народом было услышано.

Князь Хассан-Фаткулла с лицом радостным и светлым поздравил народ и князей с праздником, велел из жертвенных частей от трех баранов отнести мясо к своим терьмам, а от всех остальных разделил народу, чтобы каждый башкурт, приступая к своему домашнему пиршеству, вкусил жертвенного мяса.

Весело пируют князья, расположившись на коврах и подушках перед кошами, едят вкусные яства, пьют крепкий мед и ведут между собою согласные речи. Радостны лица княжеских жен и дочерей, светлы их взоры, ярко краснеют на их белых шеях кораллы, блестят жемчуга и горят драгоценные камни; прекрасны юные княжны, но не к ним бьются любовью сердца молодых князей, не на них устремлены долгие взгляды: всех приковывает неземная красота одной только Нады...

Весело пирует у кибиток и котлов народ, пьют крепкий мед и ведут хорошие разговоры. Звуки курая и чибизги разносятся по аулу, а из поднебесья льются весенние песни жаворонков.

Но что там, в стороне, где возносит к небу свою мрачную вершину гора Шайтан, вдруг закрутилось точно вихрь и бешено мчится по широкой степи? Смотрят вдаль князья, джигиты и народ... Вот ближе, и ближе... Зоркий глаз башкурта уже отличает вороную масть лошади, коричневый бешмет, черный чекмень и соболью шапку наездника.

— Верно, какой джигит на праздник прспешает, — слышатся голоса. — Кто бы такой?..

Всадник уже совсем близко, вот он елетел в аул и несется к княжеским терьмам; храпит и фыркает под ним взмыленный конь. Осадив на всем скаку вороного, джигит спрыгнул на землю, оправил на себе одежду и подходит к пирующим князьям. Он приветствует хозяина, просит извинить, что запоздал: у него нездорова мать, и он не мог ее оставить раньше, пока не увидел, что больной лучше.

— Любезный Галли! — воскликнул старый князь. — Да тебя ли я вижу? Как ты переменялся!..

Никто не узнал молодого князя Галлея-Ахмета: он возмужал и похорошел; красиво чернеется его тонкий ус, и смел взор карих очей статного, высокого юноши.

Не узнала Галлея-Ахмета и старая княгиня, и ее дочь... Но отчего смутился Галлей, проглотил слова приветствия княжне, когда глаза его встретились с ее взором?

Усердно потчует запоздалого гостя радушный хозяин, велит подать самый лучший кусок шашлыка, сам наливает в золотой кубок прозрачного крепкого меда; но мало ест гость, едва обмочил в напиток свои шелковистые усы и укордакою бросает взгляды на красавицу Наду.

Не богат Галлей-Ахмет, не велико наследство досталось ему от покойного отца, а князем он был самого малого — Бурдзянского рода. Но хозяин с ним ласков и любезен, больше чем с богатыми князьями. Всю жизнь он был в тесной дружбе с отцом Галлея-Ахмета, вместе с ним ходили на войну и не раз выручали друг друга из опасности; на кочевьях аулы их находились всегда поблизости, и друзья все лето проводили неразлучно. Но князь Ахмет год назад умер, и князь Хассан со слезами проводил своего друга в могилу. Чем старше дружба, тем крепче она, и если один из приятелей уйдет на небо, другой, оставшийся на земле, свою любовь перенесет на близких покойного. Со дня похорон Ахмета князь Хассан не видал молодого Галлея, и теперь он от всей души обрадовался его приезду. Пирующие заметили внимание хозяина к небогатому гостю; но никто вида неприятного не показал: все знали про дружбу хозяина с отцом Галлея. Только князь Кара-Кипчакского рода, самый богатый после Хассана-Фаткуллы, тридцатипятилетний вдовец, как-то значительно посмотрел на юного Галлея-Ахмета.

Видит хозяин, что сын его друга отказывается от вкусных яств и не пьет сладкого напитка; поднялся он и прочитал молитву. Гости стали благодарить старого князя и его жену.

— Теперь, князь, — промолвил хозяин, — на коней и в степь! Я вижу, там собрался народ и выехали джигиты с батырями.

### III

Сколько силы, ловкости и смелости показали джигиты и батыри! Быстро, как птица, пролетали они ристалище, пере-



скакивали через самые трудные преграды, поднимали с седла, не касаясь земли, разные вещи, брошенные из живых стен народа, пускали из лука меткие стрелы, попадая в чуть заметные глазу точки. Удалые джигиты спорили в искусстве с князьями и нередко одерживали над ними победу. Шумными кликами народ приветствовал победителей.

На высоком холме сидят князья с семействами. Из-под густых черных бровей смотрит князь Хассан-Фаткулла; видит он состязания молодежи, довольные и счастливые лица, и сердце в нем наполняется радостью. Отличившиеся в джигитовке подъезжают к княжеской ставке, и каждый получает из рук той или другой княжны награду: богатую шапку, кинжал в дорогой оправе, булатный меч или изукрашенный узорами колчан. Но еще ни один не удостоился высшей награды — белого шелкового покрывала, которым повяжет шапку своими руками первая красавица, сама дочь князя Хассана-Фаткуллы.

— Неужели никто не возьмет моей награды? — спросила красавица, обводя глазами молодых князей, вернувшихся с джигитовки.

На этот вызов разом встали два князя, не принимавшие участия в состязаниях: Меджин-Абдрахман Кара-Кипчакский и Галлей-Ахмет Бурдзянский. Закинув за плечи колчаны, князья спустились с холма, вскочили на своих коней, гикнули и оба стрелою понеслись по степи: зрители не успели проводить их глазами до урочного столба, как уж летели обратно. Два раза вороной конь Галлея отставал от гнедого жеребца князя Меджина; но мигнуть не успели, — смотрят — он уже снова впереди своего соперника и первым принесся с всадником. В третий раз джигиты полетели, вихрем домчались до меты и повернули назад. Тут выпустили дикого сокола, и князь Меджин лукнул в него свою стрелу; вздрогнула хищная птица, шарахнулась в сторону и взвилась к небу. Другого сокола пустили; поднялся высоко он над княжескою ставкою, но вдруг, настигнутый стрелою Галлея, опрокинулся в чистом воздухе и в то время, как князь Галлей прискакал к холму, а за ним, гневно сверкая очами, и князь Меджин, мертвая птица упала к ногам Нады: стрела Галлея угодила соколу прямо в грудь.

— Молодцы, князья! Хвала и честь вам! — гремели, как раскаты грома, со всех сторон тысячи голосов.

Навстречу Галлея поднялась княжеская дочь-красавица, вскинула на юношу свои черные глаза, розы на ее щеках

пышнее расцвели: белым, словно первый снег, тончайшим покрывалом повязала она своими нежными руками соболью шапку на князе, обвинив ее кругом и выпустив на верху конец ткани, которая засеребрилась, точно расцветший в степи ковыль.

— Галлей-Ахмет, князь Бурдзянского рода! — слышался сладкий голос. — Как бела и чиста ткань покрывала, так бела и чиста была бы твоя жизнь, слава о твоих добрых делах и подвигах покрывала бы твою голову и развевалась по всей земле точно так же, как теперь развевается покрывало на твоей шапке!

Окончила княжна свое приветствие. Молодого Галлея все поздравляли, а князь Меджин закусил свой ус и слова не проронил.

— Князь Меджин-Абдрахман! — сказал добрый Хасан-Фаткулла: — прими свою награду, мой заветный кубок, пей из него во здравие и веселие.

На степи вступили в единоборство батыри, выказывая великую силу и ловкость. По высоким гладким столбам взбирались смельчаки, чтобы достать с макушки награду; появились мальчуганы-подростки, с дубинками в руках, и стали катать шаром. То там, то сям собирались девицы и парни, плясали свою любимую «перепелку» и пели песни, заводили разные игры и веселились, как только умела веселиться здоровая молодежь, сыновья и дочери свободных башкир.

Далеко за полночь не умолкали голоса и звуки музыки, раздавался громкий смех парней, взвизгивание девиц, шутки и опять смех, и молодой говор.

Князь Галлей-Ахмет не дождался конца праздника; он на другой день уехал в свой аул к больной матери. Прощаясь с ним, хозяин звал его к себе гостить на летовку, звала и сама княгиня, а дочь-красавица посмотрела на статного юношу, выговорила: «Приезжай князь!» и потупилась, но быстро подняла голову и гордо удалилась, ни разу не обернувшись. Если бы она видела, каким огнем вспыхнули глаза Кара-Кипчакского князя!

Уехал Галлей; всю дорогу с ним был неразлучен образ красавицы. Два года любил он Наду, два года сердцем и мыслями он ни на минуту не расставался с нею; даже когда страшной печалью поразила его душу смерть отца — не позабывал о Наде. Но он — бедный князь, гордость не позволяет ему свататься за богатую княжну. Больше года

не видал ее Галлей, избегал с нею встречи, думая, что любовь в нем перегорит и истлеет. Он не хотел ехать на праздник: большая мать уговорила сына и послала его к другу своего покойного мужа. Сколько разных чувств испытал Галлей дорогою к аулу Хассана, каких только мыслей не пронеслось в его горячей голове! Не раз он думал повернуть коня, чтобы ехать обратно домой; но неудержимая сила влекла вперед, — он приехал, увидел Наду и сразу почувствовал, какую пламенной любовью охватило его при виде княжны... Вспомнил теперь Галлей, как покраснела княжна, встретив его после джигитовки... А взгляд, каким она подарила его на прощанье, и два слова: «приезжай, князь»!.. Нет, он не станет больше избегать встречи с нею, он поедет на лето в гости к старому князю, скажет Наде, как он любит ее, и пусть она сама решит: жить ему на свете или ускакать к ногайцам и в схватке с ними сложить свою несчастливую голову? Да, он так и поступит; бурдзянцы его будут довольны, если кочевье их расположится в соседстве с кочевьями князя Хассана-Фаткуллы... Нет, Галлей не уступит Наду князю Меджину, сколько бы тот ни сердился и ни метал глазами искр злобы; он не боится Кара-Кипчакского князя!

И всадник то, прищпоривая своего коня, мчится вихрем через степь и горы, то, осаживая разгоряченного скакуна, едет шагом, погружаясь в думы.

Три дня продолжался в ауле князя Хассана-Фаткуллы праздник. Весело было гостям, не скоро бы они расстались с ласковым хозяином, если бы сами не торопились на свой праздник сабана. Не весел был один Кара-Кипчакский князь, но он последним уехал с праздника. Выждав время, чтобы остаться с княжною наедине, он предложил ей свою руку. Гордая красавица выслушала и в ответ только покачала головой.

— Я богат, княжна! — воскликнул Меджин-Абдрахман: — тебе будут завидовать все княжны.

— Богат и мой отец, я единственная его наследница, — отвечала дочь Арало-Табынского князя.

— Мой род — самый знатный из всех башкирских родов, — горячился князь Меджин: — мои деды прославили Башкирию своими делами, имена их помнят соседи-враги...

Улыбнулась Нада.

— Прощай, князь! — поклонилась она надменному князю: — меня зовет мать.

Покраснел Кара-Кипчакский князь и страшным взглядом проводил гордую красавицу.

Сумрак ночи одел горы и степь. Едет со своими друзьями князь Меджин. Молча возвращается он домой, мрачные думы ходят в голове князя, и тяжелый камень лежит у него на сердце.

«Нет, она его не выберет! — думал он. — Нада умна и горда, а Галлей мальчик и беден... Его удача добрый конь и счастливый случай»...

— Айда! — крикнул князь, хлыстнув своего гнедого жеребца, и скрылся с товарищами в горном тумане.

#### IV

Нет ничего на свете дороже и милее кочевков! Никогда приволье их не променяют башкиры на каменные, душные и пыльные города персидского шаха. И не даром башкурт любит свои «кочи».

Слетит на землю весна, поднимется с зимовья народ, и родная степь, долины и леса встретят людей ласкою и приветом. Горные туманы редуют, выступают лиловые и голубые горы, шире раздвигается чудная даль, и степь куда-то незаметно плывет, тихо вся движется. Видишь, как все час от часа хорошеет и наряжается: вот по яркой зелени зажелтели полосы чияляняка; склоны горы затопило розовым цветом дикого персика; разлились необозримые белые озера: то распушился ковыль, покрылись цветом вишенник и клубника... В густых высоких травах бьют перепела, трещат кречетки, чирикает стрепет, кричит дергач, курлычут журавли, а с воды разносится кряканье диких уток, гоготание гусей и крики всякой птицы, налетевшей из-за теплых морей. А что творится в лесу?.. Войдешь и остановишься, очарованный райским пением!.. Только на кочевье живет человек вместе с богом, и только в одной Башкирии увидишь такую красоту.

И везде, куда ни помотришь, — на степь ли, на горные или речные долины, на берега ли зеркальных озер, — везде то белеются терьмы, пасутся, утопая в густой траве, бесчисленные стада, резвятся косяки быстроногих коней и гуляют, мерно колыхаясь, сытые верблюды. Благоухающая урема, дремучие леса и голубой воздух поют и звенят, все радуется и ликует.

Верст за пятьдесят от своего зимовья кочует старый князь Хассан-Фаткулла. Словно тысячи разбросанных ульев, светятся по берегам звонкоструйной речки терьмы арало-табынцов. Роскошная и обширная долина одной стороны выходит на степь, а с трех ее обнимают горы, покрытые темными борами или веселыми рощами; сверкают они своими разноцветными пиками, и над ними, вдали, кутаясь в облака, царит Шайтан-гора.

В мирных трудах, в охоте и отдыхе проводит время народ. Под широкой тенью развесистых лип или густолиственного осокоря пожилые башкиры занимаются работами: одни выделывают из кожи сабы и турсуки для кумыса; другие мастерят чилиаки, седла и колчаны; третьи вырезают из березовых наростов чашки и ковши, украшая их искусной резьбою. Около княжеских терьм, посиживая на подушках и коврах, старики вместе с князем пьют крепкий целебный кумыс и слушают курайча, говорят о прежних временах и о великанах, вспоминают про свою молодость и войны с завистливыми врагами, покушавшимися завладеть башкирскою землею и поработить свободный народ. Молодежи не видать; все с утра еще оставили аул и рассыпались: кто охотится за рыбою на озерах, кто за зверем в горах и лесах. Женщины готовят кумыс и кушанья, хлопочут по хозяйству; девицы общивают себя и домашних, помогают в трудах своим матерям, а ребятенки играют на берегу шумного потока или у зеленого перелеска, где кружатся на веревке молочные жеребятки, привязанные ко вбитым в землю кольшкам, время от времени жалобным и тонким ржанием призывая маток, чтобы те поскорее к ним прибежали и покормили своих голодных детей.

Иногда князь Хассан-Фаткулла со стариками вздумает прокатиться: сядут на коней и шагом поедут на пастбища, эсмотрят там стада и полюбуются косяками лошадей. А то поедут с беркутом и соколами на охоту: много всякой озерной птицы привезут старики!

Князья соседних родов не забывают на летовке Арало-Табынского князя, приезжают и из дальних, за триста — четыреста верст, князья к нему в гости. Не успеют проводить одних гостей, — встречай новых: для всех найдется место и угощение в просторных терьмах радушных хозяев! Не приезжал один Кара-Кипчакский князь, Меджин-Абдрахман.

Чаще и дольше других гостит молодой Галлей-Ахмет. Съездит когда в родной аул, проведает мать с младшим

братом, и солнце не успеет зайти за горы, как уж он несется обратно на своем коне-вихре! Его любит старый князь Хассан, ласкает княгиня Бика, и для всех башкир Арало-Табынского рода он самый приятный гость в ауле. Галлей почти не разлучен с княжной Надою. Где она, там и он: в ауле, на охоте, в играх — везде с нею!.. Только покровы ночи скрывают гордую красавицу от его взоров. На охоте княжна испытывает смелость и силу юноши, заставляя его одного выходить на разъяренного кабана или гоняться за лосем.

В играх она следит за его ловкостью и обращением с молодыми княжнами, своими подругами-красавицами. На беседе старших, при отце и матери, княжна испытывает ум Галлея, задает ему такие хитрые вопросы, от которых уклонился бы и самый премудрый старец; но князь смело отвечает и приводит в удивление всех собеседников. Разумен, отважен Галлей-Ахмет, ни перед кем не подается назад, бесстрашно пойдет навстречу всякой опасности; но когда ему выпадет случай остаться с глаза на глаз с царицею своего сердца, он сам не свой: хочет излить в пламенной речи перед красавицею свою душу, сказать ей, как он давно и всем сердцем любит ее; но слова не идут у него с языка, он только бледнеет или краснеет... Нада радуется смущению юноши, в черных очах ее загорается что-то, никем и никогда еще невиданное; соберется с духом Галлей, поднимет на нее взгляд, — и перед ним прежняя княжна, прекрасная и гордая... А уедет Галлей к своей матери, подруги замечают, что реже смеется Нада, часто о чем-то задумывается и молчит.

Весенний день, сияющий и радостный, тихо уходит: недалек путь остался солнцу до сверкающей горы, за которою оно ложится спать. Легкой прохладой потянуло с реки; запахом цветов повеяло; издалека доносится конское ржание и мычание коров: приближаются к аулу косяки и стада.

Перед самую большую терьмою, на разостланных мягких коврах сидит князь с княгинею и гостями, окруженные аульными стариками и пожилыми людьми. Идут добрые разговоры, попивают все кумыс. Доволен и счастлив народ с добрым князем Хассаном! Много новой силы набрались башкиры на кочевке: старики глядят свежими, здоровыми и бодрыми, а про молодых и говорить нечего... Чу! голоса их, песни и смех: вернулись с рыбаченья и охоты! Топот послышался, пронесся точно вихрь и замолк.

— Они! Приехали! — раздалось у княжеских терьм. —  
Скорее к ним!..

— Есть, есть хотим! — кричит откуда-то княжна Нада.

Немного погодя оживленный разговор и звонкий смех вливались в степенную беседу. Рассказы про охоту и приключения, похвальбы добычею... На огне дожаривается шашлык, — и веселый шум прерывается.

— А-яй! Как хорошо за дело принялись! — посмеиваются старики. — Видно, на охоте не покормили!

Солнце ушло на ночлег, спряталось; по небу разлилась румяная заря. В ауле и по берегам реки засветились огоньки, над долиною, в прозрачном воздухе, расстилаются сероватые струйки дыма. Громче и шире разносятся песни, топот лихой пляски и здоровый смех.

— Ужинать!.. Ужинать! — кричат женщины.

На зов своих верных жен встают с травы башкиры.

— Прощайте, князь и ты, княгиня! Покойного сна вам и дорогим вашим гостям.

— Прощайте, друзья! — отвечает старый Хассан.

— Да хранят вас милостивые боги!

Песня и пляска в ауле не стихают, молодежь не торопится оставлять веселья. Матери охрипли, крича:

— Да идите же скорее! Барашек остынет!..

Только чей-нибудь голос отзовется:

— Подожди, мама! Дай еще потешиться...

— Без ужина останетесь!.. Отцы пришли...

Нечего делать, хоть и не хочется, надо расходиться: ждут отцы!

Вокруг княжны Нады сомкнулись подруги, молодые князья и джигиты. Красавица весела, речь ее блещет умом, и смех чарует сердца: где Нада, там нет места заботе, там радость и счастье... Улыбка не сходит и с лица стариков и пожилых, беседующих вблизи, и жадно ловят они слова дочери Арало-Табынского князя. Заслушалась молоденькая княжна Зара своей подруги, но светлые глаза ее устремлены на Галлея-Ахмета. Князь Меркатлинского рода, большой приятель Меджина-Абдрахмана, шепнул что-то на ухо Наде.

Вскинула она быстрый взгляд на Зару, черные очи вспыхнули гневом и в миг потухли, опять красавица спокойна.

— Князья и джигиты! — Начала Нада: — хотите, я расскажу вам про одну царевну?

— Рассказывай, княжна, рассказывай! — подхватили горячо со всех сторон.

— Слушайте.

Последние отблески зари лежат на вершинах далеких гор; небо все больше и больше синее; на долину уж спустился теплый весенний вечер. Нада говорила:

«Были у царя две дочери, обе красавицы. К старшей много сваталось князей и царевичей, но всем царевна отказывала. Отец с матерью уговаривали дочь, чтоб она выбрала себе жениха, что ей уж восемнадцать лет, и нехорошо оставаться в девушках. — Найдите мне жениха, которого я полюбила бы и который бы меня любил, — отвечала царевна.

— А разве те женихи, что искали твоей руки, не любят тебя? — Нет, — говорила царевна: — ни у одного из них в очах я не видала любви, и ни один не тронул мое сердце. — Родители любили свою дочь и не принуждали ее выходить замуж, только смотрели на красоту дочери и украдкою вздыхали. Царевну прозвали гордой невестой и сулили, что она умрет старой девицею. Но приехал князь какого-то народа, царевна увидела его, и сердце в ней сладко забилось. Князь стал часто ездить в дом царя, везде искал встречи с красавицей и говорил не словами, а глазами, что любит царевну, что не богатство отца, а ее хотел бы за себя взять. Но красавица желала испытать князя, точно ли он любит ее, не лгут ли его карие очи. И сердце ее не обмануло. Она скоро услышала, что молодой князь точно так же говорит и ее младшей сестре, и та отвечала князю любовью... Оскорбилась княжна, увидев ложь, и отвернулась с негодованием от легкомысленного князя. — Нет, — сказала она себе: — лучше остаться навек девушкой, чем быть игрушкой и чувствовать унижение, рабство»...

Умолкла княжна Нада.

Вся горячая кровь ударила в лицо Галлея-Ахмета.

— А еще-то что с царевною было? — нетерпеливо спросила дочь князя Булекей-Кудыйского рода, молоденькая княжна со светлыми глазами. — Ты не досказала конца.

— Царевна осталась девушкой, — коротко ответила Нада.

Всплеснула руками подруга.

— Так она не любила князя!

— Не знаю... Но если бы ты, Зара, была на месте царевны, ты как бы поступила?



Птичкой веселой в ответ прошебетала княжна со светлыми глазами:

— Если бы Зара полюбила, то чужих слов она не послушала бы, а прямо спросила бы князя: «В союзе твои глаза с сердцем или в размолвке?» — «В союзе» — ответил бы князь. — «А что твои глаза и сердце говорят?» — «Они говорят Заре, что я люблю ее». — «Ах, какой же ты недогадливый!» — ответила бы ему Зара. — Да разве ты не видишь, как я тебя люблю?.. Бери меня за руку и веди в свою терьму».

Громкий смех и веселые голоса покрыли эти слова.

— Какова? А?..

— Да она — бедовая, огонь! — добродушно посмеиваясь, говорил князь Хассан-Фаткулла. — Надобно нам, старикам, подальше куда пересесть, а то, пожалуй, она спалит наши седые бороды.

— Неужели ты, Зара, никому не поверила бы? — спросила дочь хозяина, взглянув на князя Меркатлинского рода, приятеля Меджина.

— Ни одному человеку на свете!

Улыбнулась светло Нада, бросила взор на Галлея.

Встрепенулся Бурдзянский князь.

— Хороша твоя сказка, княжна, — заговорил он, смело встретив ее взгляд. — А знаешь ли ты старинную быль про Кусюка и Кумэдею?

Не знала княжна. Не знали и другие, а из старых людей придвинулись ближе, чтобы не проронить слова.

«На земле башкир Усерганского рода есть гора и курган, — так начал Галлей-Ахмет: — гора зовется Кусюк-тау, а курган — Кумэдей-аба. В старину жил там народ другого племени, не башкирского. Один джигит, по имени Кусюк, высватал себе невесту в соседнем улусе; звали ее Кумэдей. Жених видел девушку только раз, случайно, и полюбил ее, а невеста совсем не знала его: сватовство велось заочно их родственниками. Сладилось дело. Приехал по невесту жених на хорошем коне. Тут выискались недобрые люди, которым хотелось расстроить свадьбу. Кинулись к невесте:

— Тебе наггали, что Кусюк джигит и хорош собою. Он страшен лицом, неуклюж станом и крут нравом. Кусюк не человек, а зверь. И ты, такая красавица, будешь женою страшилища? Подумай, не губи своей красоты и молодости!

Призадумалась девица, опечалилась... Слышит, жених уж собирается к ней, сейчас приедет и возьмет свою жену.

Ахнула Кумэдея, на коня — и айда в степь, на кочевку! Кусюку дали знать. Не теряя времени, поскакал он вслед за невестою, догнал беглянку у кургана.

— Здравствуй, красавица! — крикнул.

Не успела девица ответить на приветствие, как смелый джигит чмокнул ее в губы!.. Оправилась от испуга Кумэдея, — гневно спросила дерзкого:

— Кто ты такой?

— Я Кусюк, твой жених.

Откинулась на седле девица, глядит на ловкого и красивого молодца.

— О! да ты джигит! — и Кумэдея вся расцвела и так посмотрела на джигита, что тот не утерпел и в другой раз поцеловал ее.

— А как же люди мне говорили, — промолвила девушка, — что ты... не джигит?.. Неправду они сказали. Теперь я — твоя жена, а ты — мой муж!

Крепко обнял раскрасневшуюся невесту Кусюк, — промолвил слово:

— Эх, Кумэдея, дорогая моя! Неужели ты думала, что люди все хороши, и душа их велика? Вон, посмотри на эту гору, — указал он рукою, — и на другие, что из-за нее вздымаются!.. Высоки только горы в своей непорочной красоте, а люди ничтожны и мелки душою. Велики они на малые дела и на зло, какое делают ближним, но малы на правду и любовь!

Обливаясь радостными слезами, счастливая Кумэдея прильнула к груди мужа и говорила ему:

— О, мой хороший, добрый Кусюк! Какой же ты умный, догнал меня!..

Сотни лет с тех пор пронеслись, как джигит у кургана женился на Кумэдее, и народа того уж нет, но про свадьбу смелого джигита знает башкирский народ, и усергунцы о ней не позабудут: Кусюк-тау и Кумэдей-аба будут вечно говорить об именах счастливой четы».

Две пары глаз не спускали с Галлея своих взоров: одни черные, как агат, а другие светлые, как точно те хорошие звездочки, что затеплились на синем небе и любовно глядят с вышины на прекрасную Башкирию. Улыбаясь, слушал Хассан-Фаткулла, одобрительно кивала головою умная жена его, княгиня Бика, втихомолку поглядывая на свою дочь-жемчужину.

— Славная была! — похвалил Даут-Аксак, молодой

батырь из Арало-Табынского рода и друг Галлея-Ахмета. — Правда свое взяла!

— Князь Галлей! — воскликнула Зара: — если бы я была не я, то есть, не девушка, а джитит, то я за твой рассказ поцеловала бы тебя, как Кусюк поцеловал свою Кумэдею.

Опять смех и хохот. Все довольны и веселы; стали расходиться по своим терьмам. Княжна Нада подарила Галлея долгим взглядом. Только понравилась ли была Айносу-Куреману, князю Меркатлинского рода?

Ночь раскинула свои широкие крылья над аулами. Спит народ и стада, спят горы и вся окрестность. Лишь изредка слышен какой-то слабый лепет: то река, в спокойных струях которой играют, сыпаясь лучами, яркие звезды, в просонье тихо говорит: «не целуйте меня! Я уж сплю».

Но бежит сон от очей Галлея. Не лепет реки, не звездное небо и не соловьи, что разом и сотнями запели по долине, разбудив кусты ракии, мешают ему вкусить благоуханного сна; нет, взор Нады светит в сердце юноши и превращает ночь в ясный день. Мечты и надежды волнуют Галлея, душа поет песню любви... О! скорее, скорее бы прилетело утро! Нада любит его, она ждет только слова от своего милого, но он молчит и не решается выговорить это слово. Нет, завтра он все скажет, и Нада услышит его... Прочь сомнение!.. Стыдно робеть джититу!..

— Даут! Товарищ, друг мой верный! — зовет он батыря. — Вставай! Мне хочется поговорить с тобою... Да проснись же!.. Заря... Скоро из-за Шайтан-горы солнце выплывет.

Открыл глаза Даут-Аксак, — темно в терьме; взглянул кверху и видит, через открытый круг, стоят над головою «Семь волков».

— Солнце в груди твоей, Галлей, — проговорил батырь, — а на небе звезды горят. Ложись: пора тебе спать.

Напрасно Галлей просит, чтобы Даут встал и выслушал его: батырь уж крепко спит, и никакой гром не поднимет его с мягкой постели. Юноша ждет — не дождется, когда попрячутся все звезды, которые хороводами снуют над терьмою; зовет утро и молит лучезерного бога скорее взойти на небо. Душно ему, откинул мягкий ковер, закрывавший выход, и очутился за терьмою... Боги! что творится на воле! Вся долина, горы, лес и воздух заполнены чудными голосами, и гремят, поют те голоса о Наде, о любви к ней

Галлея и близком их блаженстве... Упоенный соловьиными песнями, весь погруженный в чистые, светлые мечты, он не замечает, как одна за другою гаснут звезды, как распаивает пурпурные края своей одежды богиня зари, и с просветленных небес слетает на землю веселое утро...

Брызнули первые лучи солнца, ласково коснулись щеки молодого князя и заглянули ему в глаза. Сердце Галлея радостно вскрикнуло:

— Утро!.. Солнце! Вы будете свидетелями моего счастья!

Но утро обмануло его, и солнце не увидело счастья пламенного юноши.

## V

Целый месяц думал Меджин-Абдрахман о дочери Арало-Табынского князя. Год назад он сватался к Наде и получил отказ; в праздник сабана он возобновил сватовство, и гордая красавица снова отвергла его предложение.

В последнем отказе видит он для себя обиду, пренебрежение к его славному роду; но гордычка скоро раскается, она будет женой Кара-Кипчакского князя. Меджин мысли не допускал, что не только княжна, но и царская дочь не пошла бы за счастье сделаться его женою: он знатен, богат, умен и красив. Нет ли разве у Нады жениха? Не пришелся ли ей по сердцу Галлей? Он думал об этом уже дорогою, когда ехал домой с праздника от Хассана, и тогда же решил, что Галлей не жених: беден и мальчишка... Однако мысль о бурдзянце не раз к нему возвращалась, и он все чаще думал о Галлее, вспоминал удачу его, румянец княжны и слова ее, когда они воротились с джигитовки. Потом он узнал, что бурдзянды кочуют поблизости с арало-табынцами, что Галлей-Ахмет постоянно живет в ауле старого князя и неразлучен с его дочерью. Теперь приятель его, князь Меркатлинского рода, дал весть, что Галлей любит Наду; не знает только, любит ли княжна бурдзянца. Меджин вышел из себя: он не допустит их свадьбы, Нада будет его и ничьей в мире!

Не одна красота и ум княжны пленяли Меджина-Абдрахмана, заставляли добиваться обладания красавицею: не таков был кара-кипчак!

Меджин еще при жизни отца бывал в Персии и жил там по месяцам, а раз выжил полгода. Нагляделся он на ро-

скошь и блеск, власть и величие царя, перед которым народ падал ниц и оказывал божеские почести своему владыке. Меджину по душе приходились такие порядки, нравилось ему раболепие народа, и любви сердцу гаремы; но при отце он таил свои чувства и ничем не обнаруживал дум своих, зная, что не встретит одобрения со стороны благоразумного отца. Умер Абдрахман-бей, оплаканный народом, и спустя семь дней, по принесении жертвы богам, джеин поздравил князем тридцатилетнего Меджида-Абдрахмана. Неделю кара-кипчаки пили крепкие меды и кумыс, ели сладкое мясо барашков и волов, веселились и потешались на славу. Такой пир задал народу Меджин, что башкиры долго после вспоминали о княжеском угощении. Но то ли еще потом увидели! Меджин одарил аульных старшин хорошими конями, женщин — колыбашами и таньями, девиц кораллами, серьгами и привесками, и каждый праздник делал угощение для народа. Башкиры прославляли имя молодого князя, говорили, что по своей доброте и щедрости он далеко превзошел отца и князей других родов, — разве один Хассан-Фаткулла так любит народ! Своими пирами и подарками Меджин привлекал к себе многих соседних князей, и хорошая слава о нем прогремела из конца в конец по Башкирии. Никому не впадало на мысль, что не добрые боги управляют поступками князя. О замыслах Меджида знал только один человек из кара-кипчаков, да еще догадывался мудрый князь Хассан-Фаткулла. Но первый молчал, а второй, когда слышал о Меджине, всякий раз покачивал головой; когда же до него пал слух, что тот тайно сближается с хищными ногайцами, кочевавшими между Уралом и двумя морями, старик крепко задумался.

Самым приближенным человеком и правою рукою Меджида был Сарым-Арыпан. Он состоял дядькою в отроческие годы князя, ездил с ним в Персию, знакомил юношу с роскошной жизнью шаха и развивал в нем властолюбие. Высокий, сухой, на вид смиренный и в обращении со всеми простой, шестидесятилетний Сарым-Арыпан казался народу чуть не святым, а Меджин почитал его за мудреца, чьими устами вещают сами боги, но в сердце своем он был честолюбив, коварен и завистлив. Отгадывая замыслы Меджида, Сарым льстивыми речами и хитрыми советами распалал в князе нечистые мечты и страсть к властолюбию. Он говорил, что покойный Абдрахман-бий и старые князья распутали народ, что пора обуздать вольность башкир, собрать

все роды и соединить в один народ, разделив всех на знатных и простых, как это водится в Персии, построить дворцы и города, завести войско и сделаться повелителем всего народа. А чтобы достигнуть этой цели, надо сперва ласкать и задабривать глупый народ, привлекать на свою сторону князей и оторвать голову джеину; на всякий случай не мешает заручиться дружбою ногайцев. Князь давно этого хочет, и он не погневается на Сарыма, что преданный и верный старик подает советы. О! Князь Меджин умен, ай-йй, как умен! Ему нечего ходить за умом в люди, он знает, что ему делать: возьмет себе красавицу-жену, с нею великое богатство, соединит два сильных рода, а остальные сами уж к ним потянутся, и создастся великий народ, могущественное царство! И недолго князю ждать счастливой поры: у старого Хассана растет дочь, а Арало-Табьинская княжна будет женою башкирского шаха милостью богов Меджина-Абдрахмана.

— Высок и широк твой полет, — говорил довольный князь, — но замысел твой несбыточен. Ты знаешь, Хассан крепко держится обычаев народа, и рука его не поднимется на джеин.

— Напрасно ты испытываешь своего верного слугу, — кротко отвечал хитрец. — Сарым хорошо знает, что на мыслях у его князя: Меджин-Абдрахман женится, скажет, молодой княгине два слова, от которых закружится ее молодая головка, и радостью исполнится горячее сердечко. Нада умна и горда, она поймет своего мужа. Княгина уговорит отца, чтобы тот согласился исполнить просьбу любимой им дочери и милого внука, которым боги скоро благословят союз ее с мужем...

— И ты полагаешь, что Хассан склонится на просьбу дочери?

— Чего не сделает любовь к дочери и внуку! Но чтобы не упала тень на очи добродушного старца, — продолжал Сарым, — Меджин уступит власть над обсьими родами князю Хассану-Фаткулле и тем покажет пример другим. Тесть для вида примет власть и передаст ее зятю, а после смерти Хассана ты провозгласишь себя падишахом.

— А что скажут другие князья?..

— Они останутся князьями: ты сделаешь их военачальниками и вельможами, дашь им одежды, шитые золотом, и грудь их увешаешь красивыми побрякушками, как у персидских сановников. Войска твои будут покорять разные наро-

ды и царства, ты станешь могуч и славен, и не будет тебе равного под небесным сводом.

Опьяненный вином сладкой лести, князь Меджин, хлопая по плечу Сарыма, восклицал:

— А ты, мой старый и верный слуга, будешь первым вельможею в башкирском царстве и советником шаха!

— Пока боги ко мне милостивы, все силы и труды будут отданы на служение моему повелителю и возвеличение дел его. А когда тонкая нить жизни Сарыма порвется, тогда место верного слуги займут сыновья его: они пойдут по стопам своего отца; ты, князь, и сын твой смело на них обопрется, как на ту гранитную гору, которая с начала мира стоит перед твоими богатыми теремами.

Так вот такая любовь заставляла Меджина-Абдрахмана искать руки Нады, дочери Арало-Табынского князя!

В своем диком властолюбии, ослепленный лестью, он позабыл заветы мудрых мужей, любимых богами: почетнее быть князем малого рода свободных и довольных, чем шахом огромной страны рабов и нищих; в свободе и довольстве народа — спокойствие и счастливая жизнь князя.

Четыре года Меджин лелеял свои мысли, стремился к цели и ждал счастливого дня, когда назовет своею женою красавицу Наду. «Я молода, — сказала ему в первый раз княжна: — только еще началась первая весна моего девичества, и второй я не дождусь, если теперь расстанусь с отцом и матерью». Меджин ждал лишней год, и год этот показался ему долее десятка лет... Но, вместо согласия на его предложение, он услышал теперь из уст гордой красавицы: «Прощай, князь»... Нет, Кара-Кипчакский князь не отступит от своей цели: он поджарит в глухом месте Галлея, убьет ненавистного врага, и девчонка будет его женою!

— Не делай этого! — предостерегал Меджина Сарымджин.

— Лучше погибну сам, чем видеть торжество мальчишки!

— Твои слова — золото. Характер великого мужа в них сказывается.

— Соберем джеин и отправим скорее послов.

## VI

Солнце разбудило аулы арало-табынцев. Закурились везде очаги, побежали кверху столбики дыма. Перед терь-

мою князя Хассана расстилают ковры, расставляют чашки, украшенные хитрою резьбою; недалеко разводят огонь, готовятся жарить птиц и барашков.

Проснулся Даут-Аксак. Окатил холодной водой голову, вымыл лицо и надел чекмень. Теперь батырь охотно выслушает своего друга.

— Я решил, сегодня же скажу Наде, — заговорил Галлей-Ахмет. — Поедем на охоту, и там она узнает...

Батырь одобрил решение Галлея.

— Но еще лучше ты сделаешь, если перехватишь княжну, когда она пойдет к терьме отца, — добавил. — Чего откладывать?

— Нет, Даут, совет твой не годится: мне нужно много, много сказать княжне!

— Зачем много? Скажи три слова: будь моей женой.

— Только?! Что ты, Даут? А про любовь, про блаженство глядеть на нее, ловить каждый взор ее, слушать ее речи...

— Лишние слова: говоришь о женитьбе, значит любишь, а все другое глаза доскажут.

— Нет, так я на первом слове споткнусь...

— Эх, Галлей! — перебил батырь: — Джигит ты, смел и отважен, а перед девушкой слово боишься выговорить... Пойдем-ка лучше к хозяину: вон, я вижу, — показал он глазами через открытую дверь, — князь вышел, и собрались гости.

Проходя мимо терьмы княжны, приятели услышали девичий смех; приподнялся слегка ковер и выглянуло свежее, радостное лицо Зары.

— Доброе утро!

Друзья хотели ответить, но светлые глазки открылись, и из терьмы послышался опять веселый смех.

Подкрепляют свои силы князя и джигиты вкусной пищей, пьют кумыс и ведут хорошие речи. Кто-то вспомнил про вчерашний рассказ о Кусюке и Кумэдее. Улыбка тронула белые усы хозяина, и он кинул светлый взор на молодого Галлея.

— Сметливый парень был этот Кусюк, — промолвил Хассан-Фаткулла: — не пустишь он в погоню за беглянкою, не поцелуй ее, когда догнал у кургана, не видать бы ему женой Кумэдею. Вот как в старину джигиты добывали себе жен!

— Да, люди позавидовали Кумэдее, заметив хорошего



коня у жениха, — сказал Айнас-Шикмали, князь Юрманского рода: — хотели Кусюка на другой женить.

— Видно, зависть-то и в прежних людях водилась, — промолвил батырь Даут.

— Шайтан царствует на земле с начала мира, — ответил Хассан. — Все зло от него идет: он мутит людей, вселяет в них злые помыслы, вражду друг к другу. Не любит он правды, любви и добра ни в богах, ни в людях. Посмотрите, кругом все радостно улыбается лучезарному богу, а Шайтан-гора хмурится, — старый князь повел рукою в даль: — ненавистен шайтану бог света, ожесточается бог тьмы, и от злобного дыхания его черная туча закрывает вершину горы.

— Не надивлюсь я на тебя, мудрый Хассан-Фаткулла, — сказал князь Юрманского рода: — как ты не боишься страшного шайтана: зимуешь в соседстве с его жилищем!.. Должно быть, ты знаешь какое слово против него?

— Из старины наш род там зимует, и мне не приходится нарушать обычай. А от козней шайтана ты никуда не убежишь, если душой отпадеешь от добрых богов.

Подумав немного, князь Айнас-Шикмали спросил:

— Веришь ли ты, что предсказание святого мужа, слышанное в твоём роде, сбудется?

— Я верю, друг Айнас, — благоговейно произнес старый князь. — Не человек, а боги говорили устами святого.

Молодые князья и джигиты почтительно внимали беседе старых людей. Один Галлей-Ахмет в сладком волнении своего сердца казался рассеянным; но последние слова привлекли его слух и внимание.

— Если бы ты, князь, был так добр, — обратился он к хозяину, — рассказал нам, что это был за святой муж?

— Как? Разве отец тебе о нем не говорил?

— Я не помню...

— О! про жизнь этого человека стоит выслушать, а слова его, какие он говорил, должен знать и помнить башкурт: в них, как в ларце богатой невесты, заключены драгоценные камни — сокровища человеческой мудрости.

— Так рассказывай, князь, скорей! — воскликнул брат княжны Зары, такой же пылкий юноша, как Галлей-Ахмет.

С улыбкою взглянул на него седовласый Хассан-Фаткулла.

— Возьмите терпение, друзья. Рассказ мой потребует

не одной недели, а у вас немного свободного времени осталось: того гляди, выйдут княжны и заберут вас в плен.

Допив чашку кумысу, хозяин вытер губы и усы тонким, вышитым руками дочери, полотенцем, повел очами на молодые лица, горевшие любопытством, и начал:

— Я передам вам последние слова Манкупа-Талубы, — так звали святого мужа. Если они разожгут ваш ум, то расскажу в другой раз все подробнее, а не удастся, обратитесь к княжне Наде: она все знает и лучше моего вам расскажет про жизнь праведника. Он был муж души высокой и ума великого; десять лет прожил в тяжелом рабстве — какой-то хищный народ убил его отца, а сына-отрока увезли за море и продали сарацинам; из неволи Манкуп бежал, тридцать годов скитался, наблюдал жизнь и нравы многих народов, везде искал беседы с мудрецами и черпал знания из всех источников. Вот какой человек был Манкуп-Талуба! По возвращении на свою милую родину он нашел приют у моего прадеда Нарума-бия, прожил у него тридцать годов и окончил дни своей многотрудной жизни. Перед праведной кончиною Манкуп открыл своему покровителю о времени, когда погибнет среди башкир власть шайтана. Чем дальше пойдет время, говорил святой, тем больше горя и бед увидят башкиры. Явятся люди, которые именем богов отнимут у народа свободу, станут угнетать его. Родятся нужда и бедность; зло, ложь и зависть разрастутся, как гнилые кочки на болоте. От слез женщин прольются реки и моря, грудь матери-земли захлебнется кровью человеческой. Вот что сулит грядущее, пока на земле царствует шайтан. Так говорил святой, собираясь уходить в дальний путь, на высокое небо. Башкиры должны разрушить жилище шайтана, если не хотят себе гибели: он провалится тогда в темные бездны, где прежде, за тысячи веков, обитал, и не посмеет уже в другой раз выглянуть на свет. «Подвиг этот, — говорил святой, — может совершить только смелый ум и чистое сердце, исполненное великой любви»...

На этом месте рассказ хозяина был прерван: у въезжей терьмы остановилась кучка всадников. Первый заметил приезжих Айнас-Шикмали.

— Гости к тебе, князь, — сказал приятель Меджина-Абдрахмана.

— Вижу, — промолвил Хассан-Фаткулла. — Если глаза мне не лгут, так я узнал лицо Сарыма. Ну, мои милые

друзья, конец доскажу после: священный долг хозяина — приветствовать гостей.

Сказав эти слова, князь обратился к своим родственникам, которые прислуживали ему, и гостям, велел принести новую сабу с кумысом и приготовить свежего кушанья.

Приезжие не заставили себя долго ждать.

## VII

— Добро пожаловать! — встретил хозяин кара-кипчакских стариков. — Здравствуй, Сарым-Арыпан! Здравствуй, добрый Ята, — жив еще ты, старина! Здорово, Акмачик! Здорово, Карыба и ты, Датигач!. Благодарение богам: здоровыми и бодрыми вижу всех, любезных моему сердцу!

— Благословение и милость богов с тобою, мудрый князь, Хассан-Фаткулла-бий! — так начал речь Сарым-Арыпан. — Привет с любовью посылает тебе наш князь, Меджин-Абдрахман-бей. Привет и поклон он шлет разумной из жен, добродетельной княгине Бике. Он просит также передать от всего сердца привет и поклон княжне-красавице, дочери Арало-Табынского князя!

Побледнел Галлей-Ахмет, молнией вспыхнули его карие очи.

Радушный хозяин сажает подле себя гостей, потчует их кумысом и торопит прислужников, чтобы скорее несли кушанье. Сидят кара-кипчаки, пьют кумыс, едят вкусное мясо и ведут добрые разговоры. Хорошо насытившись, послы поблагодарили хозяина, и Сарым-Арыпан обратился к нему:

— Если ласковый князь будет милостив, то позволит старикам отдохнуть с дороги, а потом допустит их до себя с княгиною и услышит, по какому делу они приехали от князя Меджина и Кара-Кипчакского рода.

Удивился хозяин.

— По делу от князя и всего рода?! — вымолвил он. — Уж не грозит ли кто башкирам войною?

— Да хранят нас всеильные боги от такого несчастья! — воскликнул хитрый Сарым. — Нет, князь, нет: мы вестники добра и радости.

Кинул пронизательный взгляд на посла Хассан, и улыбка разлилась по его лицу.

— Идите, насладитесь приятным сном, а выслушать я вас успею.

Узнала о приезде гостей княжна, сразу догадалась, с чем они приехали, и сказала Заре, чтобы и подруги, и князья не ждали ее на охоту: она пойдет к матери и останется в ее тереме.

Освежив себя крепким сном, послы явились в терему хозяина, где нашли его вместе с разумною княгиниею Бикою. Поклонились старики хозяевам, отдали княгине привет и поклон от своего князя и сели на медвежьи шкуры. Добрый Ята не утерпел и от себя добавил, что Бика много помолодела в двадцать лет, когда он видел ее в последний раз: не такой здоровой и румяной была тогда княгиня, как теперь! Засмеялась Бика.

— Слышишь, Хассан, что он говорит! А ты старухой меня зовешь!

— Ах, ты, старый, старый! — подхватил князь, глядя на изрытое морщинами лицо и седую бороду гостя. — Я думал, Ята коня от верблюда не отличит, а он что еще разглядел!.. Не верь, жена: я знаю, он старый плут!

Послы смеялись, больше других сам Ята; один Сарым не улыбнулся. Хозяин заметил и сказал:

— За каким же делом вас ко мне прислали?

Сарым приподнял на хозяина сухое и безбородое, с мутножелтыми глазами лицо и смиренно проговорил.

— Мы ждали твоего дозволения, князь.

— Сказывай!

В искусной речи, разукрашенной цветами лести, Сарым передал желание кара-кипчаков и Меджина, который умом, доблестью и богатством превзошел всех князей Башкирии, кроме мудрого Хассана, поставленного богами на недостижимую высоту. Но если Хассан отдаст свою дочь за Меджина, то сын от них будет во всем подобен деду, а богатством далеко превзойдет его.

Долго говорил Сарым. Князь Хассан с княгиниею слушали его внимательно; послы дивились уму и сладкоречию товарища, вполголоса приговаривая: «так! хорошо, больно хорошо ты говоришь!»

— Про любовь князя дочь ваша знает, — говорил Сарым. — Теперь она услышит, что любовью к ней полны и сердца народа. Так велел сказать джеин. Волю его послы исполнили.

Кончил. Князь помолчал, взглянул на княгиню.

— Любезно сердцу родительскому желание Кара-Кипчакского рода, — начал в ответ Хассан, — нам с женою по мысли зять князь Меджин-Абдрахман. Благодарим вашего князя за почет, какого не видывала еще в Башкирии ни одна невеста! Мы скажем дочери, что к ней прислали сватов, а она даст свой ответ.

Сарым-Арыпан заметил:

— Неоцененным сокровищем наградили вас с княгинею боги. Но мы с тобой, князь, старые люди, пожили довольно на свете, знаем, что девичье сердце не всегда в ладах с разумом: горячая кровь нередко одолевает волю рассудка.

— Твое слово от мудрости, Сарым-Арыпан, — промолвил князь. — Мы с женой дадим наш совет дочери; но воли ее ломать не будем. Вы знаете обычай народа: девица вольна в своем сердце.

Три дня живут послы, но княжна не дает ответа. Хозяин ездит с гостями на соколиную охоту, показывает своим стада; косяки, радушно угощает гостей.

Старая княгиня ласкает красавицу-дочь, ведет с нею душевные речи.

— Милая доченька, — говорит, — скажи мне: выбрала ли ты себе мужа или еще нет?

Молчит дочь, склонив лицо к коленям матери.

— Князь Меджин богат, умен, и род его знатен. Жена с ним будет счастлива.

Ни слова, точно не слышит княжна.

— Что же ты молчишь, моя ненаглядная? Я знаю, ты два раза отказывала Меджину, но он, гордый, не обиделся и опять сватается. Мало этого: весь род его желает тебя видеть своею княгинею! Если выйдешь за Меджина, сын твой будет самым богатым и сильным из князей.

Тихо заговорила дочь, и голос ее показался княгине незнакомым.

— Родная!.. Я знаю, что нет богаче князя Меджина, но разве мне богатство его надобно? Я богата своим отцом... Любви я хочу!.. А в глазах Меджина я не видела ее: чужой он мне, и я ему чужая.

Дрогнуло сердце матери, слезы навернулись на ее глазах и медленно покатались по румяным щекам.

— Свет очей моих! — говорила княгиня: — твое сердце с моим в одно говорят. Чую я, — Меджин тебе не жених.

— А ты сказала, что я с ним буду счастлива! — с грустью промолвила княжна.

— Так рассудок мой говорил, — призналась княгиня Бика. — А сердце мое вот что говорит: Нада, сокровище мое! тебя любит Галлей, он не богат, но только с Галлеем ты будешь счастлива.

Молчит дочь.

— Ну уж скажу тебе, доченька, всю правду: мы с отцом только тогда успокоимся, когда ты назовешь своим мужем Галлея-Ахмета... Ведь помним мы, как покраснелись щеки нашей красавицы, и потупила она свои глазоньки, увидевшись на празднике с Галлем. Кто же тебе мешает назвать его своим?..

Безмолвна дочь. Только плотнее еще прижималась она к коленям матери, и сердце в ней чаще стучало.

— Неужели мы обманулись? — повыждав, начала княгиня. — Неправда, значит, что твое сердце лежит на встречу Галлея?..

Вздыхнула дочь и так отвечала:

— Не знаю, мама... Сердце мое, как будто, говорит, что Галлей его избранник. Оно следит за взорами князя и недовольно, когда он бывает ласков с другой... Галлей смел, умен и благороден. Я часто испытывала его на охоте, видела, что ни одному батырю он в силе не уступит, и не видела еще равного ему по отваге. Знаю, что Галлей любит меня, и знаю, почему он не говорит мне о любви: гордость не позволяет ему в словах открыть сердце, но глаза давно мне выдали его... Но видишь ли что, мама, родная моя: есть у меня дума одна, большая дума, и не дает она подойти мне самой к Галлею... Молод Галлей, и отвага в нем юноши, а не мужа.

Развела руками княгиня.

— Мудреные ты слова говоришь, доченька, и сама ты для меня загадка, — проговорила мать. — А что Галлей молод, — так это еще лучше для тебя...

Дочь подняла голову.

— А кто поручится, что он будет со мною счастлив? Галлей беден, и я знаю, что о нем будет говорить Меджин и его богатые приятели: «бурдзянец женился на богатстве Хассана и взял дочь в придачу». Не пожалеет ли тогда Галлей, что не женился он на милой нашей Заре? Ее отец не так богат, как мой!.. Да я истерзаюсь вся, глядя на него... Если бы Галлей был не таким юным!..

Усмехнулась княгиня.

— А ты вспомни, что говорила вчера Зара: чужих слов не нужно слушать. Пускай недобрые люди говорят, что им в голову придет, а ты пропускай мимо ушей. Галлей хотя и молод, но он не из таких, чтобы его дух смутили людская злоба и зависть.

Задумалась дочь.

Еще прошел день. Утром, по обыкновению, собрались перед терьмою хозяина гости. Вышла и сама княгиня, за нею княгини-гости, и прилетели светлицы, с розами на щеках, молодые княжны, кроме хозяйской дочери. Принялись за кушанья и кумыс. Показалась княжна Нада.

В голубом шелковом зюлене, в белой шапочке и в красных, вышитых серебром и шелком, туфлях, она легкой поступью, но не спеша, подошла к собранию. Разговоры стихли, глаза с любопытством поднялись на нее. В груди Галлея захватило дух. Княжна Зара из-за плеча хозяйки-княгини бросала украдкой взоры то на него, то на подругу Наду. Повела черными глазами гордая красавица, поклонилась всем гостям и обратилась к послам с речью:

— Послы князя Меджина-Абдрахмана! — так начала она. — Великая честь через вас оказана мне: ваш князь и народ желают видеть меня своей княгинею. Вот мой ответ: свободная, я сердце свое отдам тому, кто взамен отдаст мне свое...

— О, наш князь любит тебя! — раздался голоса: — сердце его давно к тебе лежит.

— Подождите, — остановил Сарым-Арапан: — княжна еще не все сказала.

— Ваш князь желает себе счастья, я также хочу быть счастливою. Не требую я богатства от мужа, — я ищу только сердца и человека, хотя бы он был самый бедный из всех башкир: я буду его женою! Одних пламенных взглядов и слов для меня мало. Пусть тот, кто хочет сделаться моим мужем, прежде докажет свою любовь: совершит дело, память о котором переходила бы из рода в род и покрыла славою наших потомков. Вот какой человек будет моим мужем.

Сарым-Арапан поспешно ответил:

— Князь Меджин-Абдрахман все сделает, чтобы доказать свою любовь к тебе, княжна! Скажи только, какое дело?

— Кто любит, тому сердце само укажет дело.

Все были поражены словами княжны, и даже хитрый Сарым не нашелся, что ответить. Никто еще не видал такую Наду, какою она теперь стояла: так чудно-прекрасна была она.

Глаза ее смотрели на сияющую даль; они мгновенно вспыхнули, остановившись на мрачной вершине Шайтан-горы.

— Если кто хочет от меня слышать, какого дела я требую, то скажу, когда наши родные степь и горы оденутся снежным покровом.

— Долго ждать, княжна! — сказал Сарым.

— Так пусть князь Меджин или другой кто докажет теперь делом свою любовь. Но знайте, что сердце мое, вместе с рукою, будет отдано тому, кто совершит славное дело.

Нада поклонилась послам и оставила изумленных гостей.

## VIII

За днями летят дни, незаметно убегают недели. Стада с одного пастбища переходят на другое, за ними двигаются аулы: где вчера еще была пустыня, увеселяли ее только пение вольных пташек да крики водяной птицы, — сегодня там раздаются людские голоса, конское ржание и мычание коров.

Два раза снимались с кочевья арало-табынцы с бурдзянцами, и теперь аулы их на десятки верст раскинулись по долине реки Белой. Богата и роскошна долина Белой. Высокие скалистые берега ее, то голубые или белые, то розоватые и лиловые, покрыты по гребням вековыми соснами и березою; местами, где скалистые твердыни раздвинуты могучею рукою богов, открываются затопленные всякими цветами долины, и по ним резво несутся быстрые потоки, сверкают изгибы речек; по сторонам толпятся без числа горы с устремленными вверх пиками, а вдали под беспредельным голубым шатром кротко сияют венды Иремеля, Юрмы и Ямантау, и туманится снежная вершина Ильмерзака.

Княжна Нада попрежнему весела, попрежнему охотится в горах и лесных дебрях. Веселы и радостны лица подруг, князей и батырей, окружающих дочь князя Хассана. Один Галлей-Ахмет печален: грустен взор его карих глаз, и горькая улыбка блуждает по его губам. Тяжелым камнем легли на сердце Галлея слова красавицы... На какое слав-



ное дело не решился бы юноша ради Нады, чтобы только она полюбила его! Ни перед чем он не остановится, бесстрашно кинется в бой один с целой ордой ногайцев. Но боги не посылают случая, а человек сам не выдумает подвига. Давид Галлея камень, плачет в нем сердце от боли, и не мил свет очам. Не замечает печали его Нада, хотя и часто смотрит на юношу. Батырь Даут не одобряет своего друга, советует бросить тоску и поискать себе другую невесту.

— Нада сама не знает, чего она хочет, — говорил батырь. — Правда, по уму и красоте такой не найдешь; но что толку, коли вместо горячего сердца кусок льда у нее в груди? Вон, посмотри на Зару: в глазах у ней так и светится любовь, а ты не заглянешь в них и отстраняешь от себя эту чудесную птичку, которая сама летит на твою грудь.

Не слышит друга Галлей, глух и нем он к словам утешения.

Крики, свист и гиканье разносятся по лесу. Стихли певуны-пташки, хоронится под куст малый зверь и убегает большой. Через кусты и прогалины несется лось, кидается из стороны в сторону и не знает, куда укрыться. Ближе людские голоса, стрелы уже свистят над его головою; заметался зверь, порскнул он в непролазную чащу и мгновенно исчез.

— Айда в облаву...

Рассыпались охотники, обломали кругом чащу. Выжидают, держат наготове луки и прислушиваются: не хрустнет ли где что, не выдаст ли чем себя зверь?.. Лес снова ожил и запел: сладостные звуки сыплются с вершин гордых дубов, высоких сосен и кудрявых берез, льются из веселых кустов, затопленных серебристым сиянием, и наполняют все лесное царство. Заслушалась песен вольных пташек Нада, западают песни в высокую грудь ее, ластятся к сердцу девичьему... Чье-то молодое лицо выступает, чьи-то карие глаза грустно на нее смотрят, и губы шепчут о любви. «Неужели это Галлей?.. Как он печален»...

— Пропала охота!

Точно от сна пробудилась княжна: перед нею Даут-Аксак.

— Убежал лось, — добавил батырь.

— Так едем искать другого зверя! — сказала княжна.

Несчастливый день выпал для охотников: сколько они

ни гонялись за оленями, зубрами и лосями, ни одного не удалось убить.

А когда жар свалил, поднялись тучи комаров и выгнали из леса охотников.

В тенистом месте долины, на берегу ручья, светлого и прозрачного, словно горный хрусталь, расположились они на отдых. Достали съестные припасы, сняли турсуки с лошадей; накинута молодежь на кумыс, шаньги и сыр, смех огласил долину. Но ничей смех не звенел так весело, как смех княжны Зары. Охотники наперерыв хватили чашки с кумысом, чтобы поскорее утолить жажду, но едва губы того или другого прикасались к напитку, как добрая половина выливалась на усы и бороды.

— Ах, вы деточки! — восклицала княжна с веселыми глазками: — все то вы обливаетесь, бедные!..

Княжны покатывались со смеха от проказ с джигитами. Батырь-Даут хохотал, улыбался и Галлей-Ахмет. Нада также смеялась, но порою взор ее делался задумчив.

— Ну, что хорошего в еде! — говорила Зара, — давайте играть!

Вверх по долине, на одном из холмов, стояла красивая черная коза. Нада первая увидела ее. Быстро поднялась княжна, подбежала к своей лошади, проворно вскочила на седло и ударилась к холму. Зара, Даут и человек шесть князей пустились вслед. Коза прыгнула в сторону и понеслась к горам. Вдруг лошадь Нады остановилась.

— Уйдет! уйдет — встревожилась княжна. — Кто поймает мне козочку?

Понеслись лихие наездники, с ними и Зара. Легки ноги красивого зверя, но не убежать ему от охотников: вот уж кони догоняют его; еще несколько скачков, и аркан остановит легкий бег... Но отчего лошади разом подались назад, шарахнулись в сторону и чуть не опрокинули всадников? Под самыми ногами разверзлась пропасть с торчавшими из нее скалами! Коза прыгнула на одну из скал, потом на другую и скоро очутилась на противоположной стороне. Галлей-Ахмет повернул назад своего вороного, поскакал навстречу отставшей княжне с подругами и другими охотниками; не доскакав, круто поворотил, загикал и стрелою полетел вперед. Никто не успел моргнуть, как конь с всадником взвился над пропастью!.. Крики ужаса раздались, княжна Зара онемела... Смотрят: жив и невредим, мчится Галлей за мелькающею вдали черной козочкой!.. Подъехала

Нада, взглянула на прощаль, лицо ее сначала побледнело, потом залилось румянцем.

— Галлей-Ахмет догонит, — проговорила она довольным голосом.

— Да он безумный! — воскликнула Зара.

Джигиты осматривали место, где перелетел Галлей, и дивились, как всадник с конем не опрокинулись и не погибли. Подъехали и остальные запоздавшие охотники. Все удивлялись неустрашимости Галлея.

Долго не возвращался Бурдзянский князь. Солнце склонилось уже к краю неба, косые лучи его обстреливали зеленые луга и долины; возносясь к голубому небу, сверкали вершины гор. Тревога охотников росла; все беспокойно переглядывались между собою. Одна Нада казалась спокойною.

— Едет! едет! — воскликнула Зара.

Да, это Галлей возвращается, но с другой стороны, в объезд. Крики радости, приветствий и похвал встретили князя.

— Молодец! Ты первый джигит. Нет бесстрашнее князя Галлея!

Галлей-Ахмет остановился перед дочерью Арало-Табьнского князя.

Конь его был весь в пене и фыркал. На седле лежала спутанная коза.

— Вот моя охота, — проговорил Галлей: — она твоя, княжна!..

Что-то вспыхнуло в черных глазах красавицы, залило опять румянцем ее щеки, и она потупилась.

— Благодарю, князь! — сказала она и, нагнувшись, поладила красивую козу, всю трепетавшую от испуга.

Возвратились в аул. Весть о поступке Бурдзянского князя в тот же вечер облетела все терьмы. Старый Хассал обнял Галлея, а княгиня Бика, посмотрев на него с материнской нежностью, проговорила:

— Как будет гордиться твоя мать и бурдзянцы!

— Ай, князь! Ну, джигит! — дивились все, слушая рассказ о смелости Галлея.

Теплая летняя ночь прекрасна, тиха. По синему небу блещут звезды, встал из-за горы месяц, сияют венцы Ильмерзака, Яман-тау и Иремеля; кротко мерцает голубая даль. В тишине ночи поют соловьи.

Откинув богатый ковер, сидит в терьме княжна Нада,

глядит на месяц и слушает песни соловьев. На сердце грустно и вместе сладко, к глазам подступили слезы...

Прекрасна ты, моя страна,  
Моя богатая счастливая страна...

Донесся до слуха княжны молодой мужской голос. Вздогнула она, и вся превратилась в слух. Голос пел:

Куда ни взглянешь, —  
Горы и леса.  
Здесь — роскошные долины,  
Реки и ручьи.  
Там разбросаны аулы,  
Их белеют терьмы,  
А кругом везде гуляют  
Сытые стада.  
Боги смотрят с неба  
И любуются страной.  
Благодатная страна  
Святая родина моя!

Высоко поднимается грудь княжны, черные глаза горят; жадно ловит она слова песни и не замечает, что за нею неподвижно стоит бледная Зара.

Чудны звезды на небе,  
Дивен месяц золотой  
Но не в них очей отрада  
Свет души моей!..  
О, скажи мне, месяц ясный,  
Звезды чистые небес,  
Как найти дорогу к милой,  
К солнцу сердца моего?  
Как воспеть мою царицу  
Как прославить мне ее?  
Я не знаю, — научите!

Замер голос. Одни соловьи, не умолкая, поют страстные песни, вливая любовь в сердца тех, кто их слушает в эту прекрасную ночь... Глубоко вздохнула Нада, два слова чуть слышно слетели с ее уст:

— Галли! Галли!..

— Идем, идем к нему!

Нада обернулась и, рыдая, упала в объятия своей подруги.





Утром Галлей-Ахмет уехал. Проезжая аулами, он видел бегущих ему навстречу мальшей, слышал их радостные крики:

— Князь Галлей!.. Джигит, первый батырь...

А отцы, матери и старики, провожая глазами Бурдзянского князя, в один голос о нем говорили:

— Вот муж нашей княжне!

Позади остались аулы богатого рода арало-табынцев. Вдали уже забелелись терьмы бурдзянцев. Лихой конь, завидя родное кочевье, быстрее понесся вперед; но всадник сдерживает верного товарища, заставляет его итти шагом и едет в раздумье...

Что же теперь смущает Галлея? Какая тревога лежит у него на сердце? Разве он не доволен вчерашней удачей, не гордится своим поступком? Любовь свою он доказал на деле. Нет, не веселит юношу успех!.. В румянце и потупленном взоре княжны он заметил смущение, но не радость; в голосе, каким она благодарила его, услышал просьбу о прощении, — она совсем не желала подвергать его опасности. А потом, возвратившись с охоты в аул, она поспешно от него скрылась, не промолвив ему «доброй ночи!» Не любовь, — стыд и раскаяние испытывает княжна: не о таком деле она думала, когда держала речь к послам Меджина... И неужели только за это дело отдаст себя Нада?.. Правду сказал Даут: «не сердце, а лед у нее в груди!» Так он думал вчера, ночью, в песне изливая свое горе и чувства... Отчаяние овладело его душою. Тут он вспомнил о своей матери, о милом брате: давно они уже ждут Галлея!.. «А я... забыл о вас!.. — шептал он. — Завтра же к вам, дорогие! Нечего мне больше ждать!..» Он едет домой, гоня от себя мысль о княжне... Но полпути не проехал, как опять те же думы нахлынули. Не властен в себе Галлей: и в душе его встал образ Нады во всей своей чистой красоте. — не гордой, смелой и холодной, а кроткой, стыдливой и нежной, с задумчивым взором, какою случилось ему раз или два увидеть Наду... «Не воротиться ли? — промелькнуло в его голове. — А мать? — вспомнил он. — Дурной я сын!» И он дает волю коню.

Из аула бурдзянцы увидели своего князя. Высыпали навстречу, бегут с шумными приветствиями, обступили всадника.

— Здравствуй, князь Галлей! Будь здоров! Молодец ты у нас! Батырь! Мы уж все знаем...

Старики теснились к нему: каждый спешил пожать князю руку, и все смотрели на него с гордостью.

— Ай, а-яй, князь! Что только из тебя будет, когда ты в настоящие годы да в силу войдешь! Ведь уж и теперь всех джигитов ты за пояс заткнул. Больно о тебе люди хорошо говорят. Любо нам!

Княгиня Зигда немало пролила радостных слез, обнимая своего Галлея, целовала его в глаза и не спускала взоров с милого лица. Пятнадцатилетний Нариман глядел на брата, как на бога, и от восторга не мог вымолвить слова.

— Дорогой мой Галлей! Ненаглядный! — так восхищалась и говорила мать, торопясь скорее напоить и накормить приезжего.

Поуспокоилась княгиня, села против Галлея и, не спуская глаз, повела речь:

— Скажи, что княжна Нада?

— Я не видел ее сегодня: спешил к тебе.

— Вчера ничего ты с ней не говорил?

Галлей замялся.

Мать заметила смущение сына, стала расспрашивать о Хассане, о княгине Бике.

— Княгиня Бика к тебе собирается; только гости задерживают ее.

— Где ей приехать! Я сама думаю проведать княгиню.

— Так поедem завтра! — подхватил сын.

— Как?.. Разве ты уж хочешь завтра?..

От Галлея не укрылась грусть, словно облачко набежавшая на лицо матери. Он поспешил успокоить ее.

— Нет, родная моя, я побуду с вами.

— Поживи, — сказала княгиня. — Я редко тебя вижу, сын.

— И мне скучно без тебя, Галлей!

Взглянул на брата Галлей, ласково обнял его.

В открытую дверь терьмы заглядывали любопытные женские лица.

— Приехал, князь? Покажись нам! Дай на тебя полюбоваться!

Весел и радостен народ, что приехал князь; счастлив и Галлей-Ахмет. Не то в ауле Кара-Кипчакского рода.

Мрачен и зол Меджин-Абдрахман. Две недели, как воротились послы и передали ему ответ дочери Арало-Табын-



ского князя. Побагровел даже Меджин. По совету Сарыма, князь созвал теперь джеин. Собрались кара-кипчаки из всех аулов. Выслушали Сарыма-Арыпана. Князь спросил, какого они мнения об ответе.

— Мудреная, видно, девка эта княжна! — сказал один из стариков: — загадку большую она загадала!

Засмеялись на собрании.

— Правду говорю, — продолжал старшина: — какое ты дело выдумаешь? Ежели бы война случилась — да хранят нас боги! — так князь Меджин покрыл бы свое имя славою...

— В словах княжны насмешка, — вмешался Сарым-Арыпан.

— А ведь ты угадал! — закричал веселый старшина. — Не хочет себе мужа, — вот и задала всем задачу.

— В Башкирии не одна только дочь Хассана, — подал совет другой старшина: — поищи, найдешь себе жеңу.

Вспыхнул Меджин, не сдержался.

— Так вот вы как за меня стоите!..

Стихнул джеин; глядит на князя.

— Нет, добрый князь, если только я верно понял его слова, — торопился исправить промах Меджина хитрый советник, — хотел сказать, что дочь Хассана нанесла обиду славному роду кара-кипчаков.

— Обиду? — загремел джеин.

— Большую обиду. Князь Меджин чтит свободу народа. Князь женился бы, никому о том не говоря, но он пожелал сперва узнать, будет ли по сердцу народу избранная им жена. Джеин одобрил выбор и отправил к невесте послов.

— Правда! правда!

— Наслышавшись о гордом нраве княжны, — известно, редкая красавица не горда, — мы забежали сперва к Хассану, просили, чтобы он поговорил с дочерью и дал ей совет. Старик обещал... и сдержал слово; ответ княжны джеин слышал!

— Хассан? — раздались с разных сторон молодые голоса, — Хассан против идет? Кара-кипчаки ни от кого обиды не потерпят!

Страсти расходились. К молодым пристал кое-кто из стариков. Кипчаки — огонь народ и самолюбивее всех башкир.

— Говори, князь, что делать? — кричали зазорные голоса.

— Князь исполнитель воли народа, — ответил Меджин: — что мудрость джеина укажет, то я и сделаю.

Первым подал голос Ята, старый и бодрый Ята.

— Обиды никакой я не вижу в ответе княжны, — выговаривал твердо старик: — дочь башкурта вольна в своем сердце.

Весь загар сошел с лица князя, и огни в глазах забежали. Не тронул головой Сарым, и плотнее сжались тонкие губы хитреца.

— Ответ княжны прост и ясен, — продолжал спокойно Ята: — кто из князей совершит славное дело, тот и будет ее мужем. В чем же тут насмешка, где обида князю и роду кара-кипчаков?

— Правда, — добавил строгий Карыба: — мы все слышали, что говорила княжна.

Джеин сразу подался на сторону справедливых и почетнейших людей.

Меджин с трудом владел собою. Но мудрец стоял уж на страже, не спуская желтых глаз с князя.

— Не знаю, кто из нас ошибся, — с видом смирения заговорил Сарым: — я ли сам не проник в смысл ответа или вы не вполне измерили глубину слов княжны, — покажет время. Но что джеин скажет, если дочь Арало-Табынского князя, не дождавшись зимы, выйдет замуж за князя другого рода?

— Не выйдет!

— Ах, добрый Ята! — засмеялся тихо Сарым: — ты сам говорил: девица вольна в своем сердце.

— Вольна была и княжна, но теперь связала себя: от слова своего не отступит.

— А как разовьет паутинку?

— Недостойно дочери Арало-Табынского князя; позор ляжет на ее голову. Не бывало еще случая, чтобы кто из княжеского рода не держал слова. Подождем зимы.

На этом джеин разошелся.

Князь Абдрахман рвет и мечет; он никак не ожидал такого решения.

— Ничего, князь, — потирал руки Сарым: — дурак Ята не испортил дела. Теперь ты знаешь, на кого можно надеяться: пока не оторвешь голову джеину, кара-кипчаки всегда пойдут за дураками, как Ята. Зима недалеко, потерпишь. А времени будет довольно, чтобы приятелей-князей подготовить и ногайцев позвать. Примись за работу теперь же.

Меджин задумался.

— Не разгадал ты мысли девчонки: какое дело она задумала?

— Догадываюсь я, что она одних мыслей с тобою: хочется ей быть царицею башкирского народа... Да что бы она ни задумала, — верх будет твой. Не следует только даром терять времени.

## Х

Долго спала Нада. Давно уже веселый свет наполняет терьму, птичками золотистыми порхает по узорам стен, серебряным кувшинам, ларцам и зеркалу. Постель Зары прибрана, и не видно ее живой хозяйки: она рано встала и убежала гулять. Не покидает ложа Нада, покоится она на пуховиках, под воздушным пологом, разметались по подушке черные косы, алым румянцем пышут щеки, и уста чему-то улыбаются; но крепко сомкнуты стрелы длинных ресниц, сладко спит она, и белая высокая грудь чуть заметно приподнимается. Нарезвилась и набегалась по бархатному ковру луга Зара, нарвала душистых цветов, завернула в кумысную, чтобы освежить себя здоровым напитком, посмеялась с кумысницею-старухою, узнала от Даута об отъезде Галлея и побежала к подруге. Влетела в терьму, хотела крикнуть — и остановилась... Подкравшись к спящей, Зара осторожно приподняла полог и положила на грудь Наде цветы; сама опустилась подле на сафьянную подушку и принялась любоваться красотой подруги.

Запах цветов разбудил красавицу; дрогнули веки, раскрылись густые ресницы, и большие глаза встретили милый взор и цветы.

— Зара! зачем ты разбудила меня?

— Да разве ты еще не выспалась?

— Не знаю, — промолвила Нада, и лицо ее озарилось радостной улыбкою. — Я видела сон, и мне было так хорошо, так хорошо... Цветы прогнали мой божественный сон...

— Галлея видела?

Нада заложила руки за голову и медленно начала:

Видела я того святого мужа, о котором часто рассказывал мне отец... Ты о нем слышала... Свет разлился по терьме, и вот, я вижу, из этого света вышел среброкудрый муж, с лицом святого, и обратился ко мне с приветствием. «Здравствуй, дочь», сказал. «Ты жалеешь народ и мо-

лишь за него; боги услышали твои молитвы: я принес тебе утешение». Я обрадовалась, и сердце в своей радости назвало святого по имени. «Да, я Манкуп. Смотри!..»

— Ах, Нада! — воскликнула подруга.

— Передо мной открылась дивная страна. Блещут везде обширные озера, текут прекрасные реки, пенятся и шумят горные потоки, журчат светлые ручьи. По берегам раскинулись богатые аулы: довольные голоса и песни... По долинам, среди высоких трав и невиданных цветов, гуляют бесчисленные стада. Синеют без конца дремучие леса, возносятся к небу сверкающие венцы гор...

— Да это не сон, а как будто песня Галлея! — прерывает Зара.

— Везде довольство, счастье, — продолжала Нада. — «Здесь не бывает зимы, — говорит мне среброкудрый муж: — одна весна и лето, вечное тепло и солнце. Люди никогда не хворают, не знают, что есть на свете бедность, вражда, зависть и войны; они чисты и незлобивы, живут в полном мире, любви и радости. Здоровыми, бодрыми доживают до глубокой старости; тогда боги призывают их к себе, на небо, возвращают им за добродетельную жизнь молодость и дают бессмертие». Так говорил святой, и сердце мое исполнилось блаженством. «Узнала ли, дочь моя, что это за благословенная страна?» — спросил святой. Я не могла ответить. «Это — Башкирия, — сказал он. — Такою она будет, когда в ней исчезнет власть шайтана». С молением и надеждою обратилась я к святому. — Кто же победит шайтана? — Молодой, звучный голос ответил: «Я!..» Передо мной встал юноша, с смелым взором карих очей, и я узнала бы его, если бы не твои цветы: видение исчезло, и я проснулась.

Почти в страхе слушала Зара. Помолчав, она спросила: — Что же предвещает этот сон?

Небесным восторгом засветились черные глаза Нады и, быстро обратясь лицом к подруге, она так ей ответила:

— Сон мой говорит, что смелый юноша с карими очами сокрушит власть злого духа.

Угадала чутким сердцем Зара, вся затрепетала...

— О, только бы не Галлей! — воскликнула. — Не верь этому сну: он не от добрых богов. Шайтан хитер и могущественен, у него тьма старых и ловких слуг...

Пришли другие княжны, посмеялись, что Нада еще в постели.

День провели за работою. Нада вышивала серебром широкий пояс. Она была покойна и весела; изредка задумывалась, склонясь над работою, и выражение чего-то нового разливалось по ее лицу. Перед вечером нашла грозовая туча, разом все стемнело. Яркая молния разорвала тучу, и прокатился гром, послышался быстро приближающийся шум, и ударил дождь. Нада подошла к двери и отмахнула ковер. Долина, аул, горы — все скрылось из глаз; сквозь косые полосы дождя сыпались и сверкали молнии, гремел безумолку гром, раскатываясь по горам и ущельям.

К ночи дождь унялся. Галлей не вернулся от матери. Другой день прошел, третий наступил; он не показывается. Дивится старый Хассан, недоумевает и княгиня.

— Верно, мать удерживает, — говорила Бика: жалко ей отпустить милого сына.

— Знаю — сказал Хассан. — Но прежде не случилось, чтобы Галлею дольше суток у матери пробыл: утром уедет, а к вечеру обратно летит. Не пробежала ли между детьми серая кошка? — усмехнулся старый князь.

— Не думаю. Правда, со дня отъезда сватов я за ним кое-что приметил... Но последняя охота должна бы разве-селить Галлея.

— Увидим, что скажет зима, — промолвил князь. — Придется, видно, Галлею еще показать свою отвагу.

Вздохнула княгиня:

— Боюсь я, — сказала, — не случилось бы какой беды!.. У Нады какая-то большая дума, но она не выдает ее... Зачем не сказала прямо сватам, что не выйдет за Меджина?..

— Ты слышала от дочери: к Галлею сердце ее лежит, но она хочет возвеличить Галлея перед всеми богатыми женихами. Вот почему и не отказала Меджину, заставила его ждать зимы. И я верю, что победителем будет сын моего друга...

Сидят вместе девушки; Зара с вопросом:

— Ты о чем думаешь?

Нада не слышит, пристально работает.

— Тебе скучно? — не отстает подруга.

Поднимет глаза красавица.

— Скажи, почему долго не едет Галлей?

— Незачем ему торопиться. Он теперь с матерью, с братом; его окружают ласка, любовь...

Нада задумалась.

— Если бы я кого полюбила, — сказала она, — то я бы дня одного не прожила, чтобы не увидеть своего милого.

— Пеняй на себя.

Третий уже день близится к концу, — Галлей не возвращается; вечер подкрадывается, — не видать Бурдзянского князя... Княжна то-и-дело приподнимает ковер терьмы, глядит в ту сторону, где кочуют бурдзянцы, прислушивается... Не видать Галлея, не слышно топота его коня!.. Она видит широкоплечего батыря, идет к нему.

— Даут-Аксак! ты не знаешь, здорова ли княгиня Зигда?

— Здорова, — отвечает он. — Я недавно из их аула...

— Хорошо там гостил?

— Беда, как хорошо! Галлей такой веселый...

— Веселый?

— Я звал его с собой, — не поехал: «мне дома весело», сказал.

Княжна чуть заметно покраснела, но постаралась скрыть смущение и гордой поступью направилась к терьме матери; а Даут пошел к разостланным коврам, где уж дымились приветливые огоньки и разносился приятный запах кушанья. Увидя княжну Зару, кинул ей пару замысловатых слов, но не приостановился. Он шел и чему-то про себя посмеивался. Хитрый батырь!

Вечерняя заря еще не потухла, а по ясной синеве раскинулись и кротко засветились звезды, и в приречных кустах запевают соловьи. Не спит княжна Нада. Мечется она на пуховой постели, жарко и душно ей под легким как паутина пологом. Батырь неправду сказал о своем друге; она не верит ему. Галлея не отпускает мать или задержал джеин. Но отчего же так мучительно бьется сердце, горит что-то в груди и пламенем заливает лицо?.. А тут еще соловьи распелись... Как будто где неподалеку неспешный топот почудился! Быстро приподняла голову княжна, прислушивается, затаила дыхание... Обманулась: это ее сердце так стучит...

— Зара, спишь?

— Сплю, — отвечает с другой постели голосок. — Теперь проснулась.

— Ничего ты не слышишь?

— Слышу, соловьи поют.

Коротка летняя ночь, но не для тех, от кого бежит сон... Да скоро ли пройдет эта длинная, томительная ночь!

— Зара!

Нет ответа. Заснула княжна.  
...Я бежал от милой,  
Я хотел укрыться...

Пел где-то молодой голос.

Вмиг распахнулся полог, и Нада сидит уже в постели...

— Зара, милая! слышишь ли ты?

— Слышу: Галлей поет.

Прекрасна июньская ночь, когда мерцают вверху звезды, и теплый, благоухающий воздух пронизан задумчивым сиянием месяца; погружены в темь аулы, горы обозначаются в полусумраке, реки спрятались... Рокочут соловьи, и где-то разливается тоскующая песня человека.

Галлей-Ахмет сидел на холме, глядел на реку и пел:

О, скажи мне, месяц ясный,

Звезды чистые небес,

Как найти дорогу к милой,

К солнцу сердца моего?

— Галли!.. Галли... — пронеслось в воздухе.

Он подумал, что его зовет речная дева.

— Галли? разве ты не слышишь?

Он вскочил: в нескольких шагах от него стоит Зара.

— Не я, не я, — Нада тебя зовет... Вон она!

Галлей увидел вблизи женщину в белом покрывале; она подняла и простерла вперед руки, но, как бы в изнеможении, снова их опустила. При свете месяца Галлей рассмотрел дорогое лицо и полный любви взгляд.

— Галлей! — чуть слышно выговорила красавица: — я... люблю тебя!

— Нада!

В сторонке тихо о чем-то плакала Зара...

## XI

Чудная весна началась для восемнадцатилетней Нады. Цветы рая расцветали в ее душе: песни неба наполняли сердце. Любовь ее окрылила дух Галлея и разбудила силы ума. Каждое утро приносило им светлую радость: они открывали друг в друге новые совершенства. Их все теперь восхищало. Они резвились и проказничали, как шаловливые дети. Днем они никогда не разлучались: ходили на прогулки, навещали княгиню Зигду с младшим сыном и ездили попрежнему на охоту, но старались всегда очутиться вдвоем. Тогда Нада, остановив своего коня, брала руку Галлея

и, смотря на него своими прекрасными глазами, тихо говорила:

— Какой ты славный, добрый! Как я люблю тебя, Галли!

Вечером, когда все расходились по своим терьмам, она простится с ним, а погода пройдет с Зарою мимо и кликнут Галлея.

— Милый! — скажет Нада и убежит с подругою.

Все засматривались на счастливую пару и любовались, дети встречали их приветливыми улыбками, и народ призывал благословение богов на юную чету, хотя никто не знал, когда будет их свадьба. Знали только князь Хассан с княгинею Бикою: Нада сказала им, что она назовет Галлея своим мужем в праздник сабана.

Аулы перекочевывали на новые места, гости сменялись одни другими: у Нады постоянною гостьею была Зара, а у князя Хассана — брат ее, успевший подружиться с Галлеем, и Даут, которого считали все своим человеком.

Во время одной шумной и веселой охоты, проезжая березовой рощей, охотники выехали на красивую поляну; Нада очень понравилось место, и она сдержала свою лошадь.

— Я устала, — сказала она. — Зара, хочешь отдохнуть?

Зара дала время проехать охотникам, кроме Галлея, и весело ответила:

— Я еще поохочусь, а погода приеду.

Нада и Галлей спрыгнули, привязали коней и опустились на шелковистую густую траву. По сторонам поднимались стены белоствольных кудрявых берез, а сверху глядело на них голубое небо.

— Как я рада, Галли, что мы с тобою одни! — заговорила Нада, устремив нежный взор на счастливого юношу.

— О, дорогая моя!

Княжна склонила к его плечу голову.

— Ты очень любишь меня, Галли?

— Люблю ли? Да разве ты не знаешь, что Галлей без тебя жить не может?

— А если бы я умерла?

— Галлей последовал бы за тобою.

— Я тоже не перенесла бы... Вот ласточки: если одна умрет, другая сама убивается.

Галлей хотел переменить разговор.

— Но зачем нам говорить о смерти, мое сокровище?



Мы оба так молоды, жизнь перед нами только что открывается.

Нада отняла голову и посмотрела ему в лицо.

— Для меня она уж открылась — в любви твоей, Галли! Знаешь ли ты, как я люблю тебя, как я хочу, чтобы ты был счастлив?

Взор юноши вспыхнул.

— Скажи, что мне нужно сделать? Какого подвига требуешь?

Нада покачала головою.

— Я люблю тебя.

— Но ты сказала послам Меджина, что назовешь мужем того, кто совершит...

— Не для себя, Галли, — перебила с живостью княжна, — не для себя!

Он не понимал.

Тень ли от ветки упала или облачко набежало на прекрасное лицо княжны, но взор ее затуманился.

— Открою тебе свое сердце и думы, — заговорила Нада, опустив глаза. — Меня страшит будущее... Ты знаешь, кто делает зло людям, и от кого столько бед грозит Башкирии. Ты слышал про святого мужа, знаешь, что он говорил... Он предсказал ужасную судьбу нашей страны, если не прекратится власть шайтана. Много я думала, Галли, о словах праведника, не спала по долгим зимним ночам и со слезами молила великих богов, чтобы они сжалились над неповинным народом и послали ангела или человека, который изгнал бы из Башкирии злого духа... Искала его среди наших князей, славных джигитов и батырей, но ни в одном из них не узнавала его. Недавно боги указали мне...

Княжна подняла на юношу взор, — слезы и восторг блестя в нем.

— Посланник этот, — добавила она — ты, Галлей!

В немом изумлении и взволнованный, слушал ее князь.

— Ни Меджин, никто другой не посмеют... В тебе, мой Галли, только в одном тебе я нашла смелый ум и чистое сердце: ты и совершишь этот подвиг.

— Нада! — воскликнул юноша. — Я не только ступлю на темя горы шайтана, я кинусь в бой со всеми его злыми слугами! Для тебя...

— Не для меня, Галли, а для народа...

Она рассказала ему про сон, заключив словами, которых Заре не договорила:

— И юноша тот, с смелым взором, был ты, мой Галлей!  
Горячая кровь ключом забила в юноше... Княжна быстро поднялась.

— Давай теперь бегать, Галли! Мне так весело, на душе легко!

## XII

Как один день, как миг, пронеслось лето для счастливых. Пожелтели на деревьях листья, и окончилось приволье кочевков.

Белым покровом оделись горы и степи башкирские, местами лишь, кое-где, выступают темные боры. Куда ни взглянешь — покой и немая красота.

Не один раз посылал князь Меджин к дочери Арало-Табынского князя, чтобы узнать, когда она назначит время для совершения дела, о котором говорила послам. Присылали и другие князья, заезжали многие батыри и джигиты. Медлит княжна, оттягивает срок... Чем дальше идет время, тем нерешительнее становилась Нада. С тех пор как воротились на зимовку, тревога закралась в душу княжны. Любовь ее к Галлею с каждым днем возрастала, милее и дороже делался ей князь. Случалось, уедет он в свой аул, Нада не знает, что с собою делать, куда деваться от тоски. «Что, если шайтан погубит Галлея? — думала она. — Ведь как начался мир, не выискивалось еще ни одного смелого, кто дерзнул бы взойти на страшную гору; никто приблизиться к ней не смеет...» Взглянет она на Шайтан-гору, посмотрит и отведет глаза... «И под снежным покровом хмурится! — думает княжна: — дыхание злого духа темнит белую вершину. О, грозен и страшен шайтан, зорко охраняют слуги жилище своего бога.» Но вернется Галлей, увидит княжна своего милого, встретит смелый взор его очей, — и всякая тревога в душе ее стихнет. «Нет, — говорит себе княжна: — Галлей не погибнет.»

И Нада радуется, любит своим милым, говорит нежные слова и ласкает его...

— Когда же, Нада? Скоро ли?.. — спрашивает Галлей.

— Праздник сабана еще далеко, — отвечает княжна, прикидываясь, что не понимает, о чем спрашивает он.

— Зима не долга. Я жду, когда ты позовешь князей...

— Скоро, мой Галли, близок день твоей славы!

Но идут дни, проходят недели, а княжна не торопится.

Веселее уже глядит солнце, ярче блестит снег, и день прибывает, но человек еще не показывался на вершине Шайтан-горы... Жажда дела не дает покоя юноше, и он просит княжну не откладывать... Но медлит она, какой-то неведомый голос шепчет ей, что погибнет милый, померкнут навеки его очи, и не узнает она блаженства счастливой жены. Тревога сердца растет, страх за Галлея внушает княжне новые мысли: «Галлей доказал свою любовь, — об этом знает весь народ, — а вступить в борьбу с шайтаном безрассудно... Кроме Галлея никто не знает, какое дело я укажу. Можно другое придумать.»

Приезд Сарыма-Арыпана помешал княжне придумать новое дело. От имени своего князя и Кара-Кипчакского рода посол объявил, что если княжна не назначит теперь же времени, то кара-кипчаки за обиду князя пойдут войной.

— Как? — воскликнула в гневе княжна. — Силой хотят меня взять? Война против своих? Кара-кипчаки хотят пролить родную кровь?..

— Княжна не держит слова, — сказал посол: — ты насмеяешься над князем и народом.

Гордость, негодование и гнев заговорили в душе Нады.

— Так знай же, старик, — ответила дочь Арало-Табынского князя: — ни одна капля неповиной крови из-за меня не прольется! Пусть приезжает твой князь, — добавила она с презрением: — славное дело уже ждет его, и башкиры увидят подвиг отважного.

— Через две недели князь прибудет — сказал посол.

Проведали арало-табынды, всколыхнулись аулы князя Хассана.

— Неслыханное дело задумали кара-кипчаки! — говорил народ. — Меджин изменник народу и враг своей земли.

Добродушный батырь Даут-Аксак из себя выходил:

— Да только осмелся Меджин, покажись со своими кара-кипчаками! Я сокрушу его кости и сверну голову!

Мудрый князь Хассан-Фаткулла, сидя перед огнем чувала в своей терьме, так говорил близким сердцу:

— Сбывается предсказание святого Манкупа: прольются слезы женщин, и обогрится земля кровью. Меджин по внушению шайтана первый заносит руку на свободу народа. Давно уж я подозревал его в недобрых замыслах, недаром он искал дружбы с ногайцами... Бедный народ!

Тебе и на мысль никогда не впадет, что твои же князья куют на тебя цепи, а себе готовят погибель.

— Не будет этого, отец! — с жаром сказала дочь. — Не прольется кровь народа, слезы не затуманят глаз ни одной башкирки, и ярмо не коснется сынов Башкирии.

— Теперь для меня все открылось, — продолжал князь Хассан, — и я вижу ясно, чего домогаются Меджин с этою лисою Сарымом... Горе тому, кто поддается лести и слушает одних честолюбцев, а не внимает голосу святой правды и советам друзей народа! Сарым носит только личину святого, а душа его так же грязна и полна нечестия, как у царедворцев и вельмож персидского шаха. Но, пока жив старый Хассан-Фаткулла, врагу не придется торжествовать. Я скажу народу и верным моим друзьям, чего хочет Меджин, и мне поверят; поверят и кара-кипчаки: живы еще среди старейших Ята, Карыба, Акмачик... Как, поднять род на род? завести между своими же смуты и дать чужеземцам, врагам притти и покорить родную страну?

Так говорил седовласый князь, и лицо его, озаренное пламенем чувала, было прекрасно, а голос его звучал торжеством сильного мужа.

— Милостивы ко мне добрые боги, но стар я и отвратить беду могу только на время. Совершай же ты, мой любезный Галлей, то славное дело, какое задумала Нада; женишься на ней и станешь на страже народа от покушений шайтана.

— О, мой Галлей! — говорила Нада, стоя у дверей своей терьмы. — Не голос сердца, не любовь, а злой дух нашептывал мне, чтобы я отказалась от задуманного дела.

### XIII

Бежит и разносится по Башкирии весть, что дочь Арало-Табынского князя выходит замуж за князя или батыря, который одержит верх в состязании. Поскакали на лихих конях князья и джигиты, побежали на лыжах батыри. К концу первой недели в аулах князя Хассана появились приезжие из ближних родов, а в половине второй подоспели и из дальних: все спешили, кто участвовать в состязании, а кто только посмотреть.

Галлей-Ахмет съездил в свой аул, повидался с матерью и братом, сказал им, что скоро увидят его вместе с моло-

дою женою, но скрыл, какое испытание ему готовится: он побоялся опечалить мать и встревожить ее сердце. С благословениями княгиня Зигда отпустила сына, гордость и славу Бурдзянского рода.

Все глаза проглядела Нада, поджидая возвращения своего милого. Завидев на белой степи вороного коня, она вся превратилась в живую радость.

— О, мой Галли! Солнце, жизнь моя!..

Покойна теперь княжна. Опять во сне она видела праведного Манкупа. Он сказал ей, что Галлей-Ахмет — и никто другой — совершит великое дело: шайтан будет изнан, жилище злого духа перестанет пугать людей и превратится в чистое место. Вершина горы запестреет множеством цветов, и над ними поднимутся еще два небесных цветка. Будут они манить к себе взоры прохожих, и со всех концов станут приходить на гору люди, чтобы молиться за своего избавителя. Будут говорить о князе Галлее и его подруге, княжне Наде. Подвигом юноши назовется гора; имена его и княжны перейдут из рода в род... Видела княжна, как святой муж, подняв к небу руки, благословил Галлея. «Так будут благословлять его имя потомки!» — сказал праведник и закрылся темным облаком.

Рассказала княжна свой сон Галлею. Мил сердцу его был рассказ Нады, но еще милее ее лицо и голос.

— Галли! — начала княжна, потупляя взор, — мы не будем дожидаться праздника сабана... Зачем? Совершишь ты славное дело и возьмешь меня... Пройдет год или меньше — не знаю, у нас тогда будет... маленький, другой Галли. — закончила княжна и схоронила свое лицо на груди юноши.

На другой день княжну обрадовала приездом гостя. Неожиданно, откуда взялась, без бешмета вбежала к ней в терьму Зара, кинулась на шею подруги, принялась горячо целовать и душить ее в своих объятиях. Рад был приезду Раслана, брата Зары, Галлей, улыбнулся во все лицо Даут, потрясая руку Булекей-Кудейского князя и приговаривая:

— Раслан, товарищ, здравствуй! Здорова ли сестра, княжна Зара?

— Она поклон тебе прислала, Даут.

— Правду говоришь? — вскричал батырь. — Смеешься? Не посылала она с тобою поклона...

— Если не веришь, спроси ее сам: она в терьме княжны Нады...

Широко открыл серые глаза батырь, долго глядел на обоих приятелей, потом вдруг расхохотался громким хохотом и бросился обнимать князя Раслана.

Не замедлил своим приездом князь Меджин: днем раньше срока прибыл. С ним были Сарым-Арыпан и аульные старшины. Всем гостям отвели помещение, приняли с почетом и предложили вкусного мяса и крепкого меда.

Шум и говор с утра еще наполнили аул; собрались все арало-табынцы. Густая толпа обложила терьмы и затопила широкие промежутки. Без числа мелькали мужские и женские лица, шапки и малахаи, кашбовы и калябаши, олени и лосиные дохи, лисьи, медвежьи и волчьи бешметы. Не одна уже тысяча человек собралась, а по степи, с разных сторон, еще скакали на конях и бежали на лыжах башкиры из соседних родов.

Перед большой терьмой княжны разостланы ковры, наложены подушки; широким полукругом стоят молодые джигиты и батыри, а за ними — тучею — народ. Около полудня показался в теплом бешмете и белой шапке князь Хассан, остановился перед полукругом, сложил на груди руки и поклонился всему народу.

За хозяином показались приезжие князья, аульные старшины; все уселись на подушках. Вокруг разом стихло... Отворилась дверь терьмы и вышла княжна Нада. Тихий говор пронесся, и тысячи глаз устремились на княжну. В бешмете малинового цвета и шитой серебром шапочке она казалась смущенною, но была еще прекраснее, чем всегда. Княжна склонила голову. На глазах женщин дрожали слезы.

— Говори, дочь моя! — слышался среди тишины негромкий, но твердый голос.

Замер народ.

— Сегодня я стою перед вами девидею, а завтра буду женою, — начала тихо княжна. — Кто совершит славное дело, память о котором перейдет в потомство, тот будет моим мужем. Башкиры слышали о святом Манкупе и знают, что предсказывал праведник: многие бедствия, нищета и неволя постигнут нашу страну. Такова злая воля шайтана. Но явится человек, который разрушит царство злого духа, победит врага народа, шайтана, и Башкирия останется свободною и счастливою. Явится муж, который взойдет к жилищу горного духа, наступит ногою на темя шайтана и сойдет победителем. Кто из вас готов совершить этот подвиг?

Гробовое молчание. Лица многих храбрых сделались бе-

лее снега. Только князь Хассан покойно смотрел на свою милую дочь.

— Кто подымет на Шайтан-гору и сойдет с нее, тот назовет меня своей женой.

Никто не мог опомниться: так все были поражены словами княжны.

— Я жду ответа! — проговорила она, обводя светлым взором собрание.

Сарым-Арыпан первый очнулся:

— Ты невозможного требуешь, княжна! Кто же пойдет на верную смерть? Шайтан не только на вершину подняться не дозволит, он и к пяте своей не подпустит: в мгновение ока на месте поразит! Назначь другое дело.

Галлей-Ахмет не спешил ответом, он выжидал...

Потупила взор княжна. Народ с затаенным дыханием ждал.

Встал юный Галлей-Ахмет.

— Я иду, княжна!

Молчание. Потом послышался слабый женский крик, ропот не то изумления, не то ужаса пробежал, — всколыхнулся народ, полетели вверх малахаи и шапки, и со всех сторон загремели голоса:

— Князь Галлей! Бесстрашный!

Все перемешалось, слилось... Князь Меджин хотел было что-то сказать, но Сарым улыбкою предупредил его... До самой ночи не расходился народ, толпы ходили по аулу, гуляли и прославляли бесстрашного Галлея-Ахмета.

С вечера были заколоты сотни баранов, десятки волов, коз, и припасено множество дикой птицы. На утро праздник: после совершения подвига будет свадьба.

— Сарым, что же нам теперь делать? — улучив время, спросил советника князь Меджин.

— Как что, мой добрый князь? Ты женишься на безумной дочери Хассана.

С удивлением посмотрел на хитреца князь.

Бескровные губы старика прошептали:

— Бурдянец погибнет.

Солнечное утро; небо ясное, тянет теплом. Дымится жертвенник в ауле князя Хассана: приносятся жертвы милостивым богам, чтобы они сохранили отважного юношу от козней шайтана и благословили брак его с княжной Надою.

Светлые глазки Зары грустны. Старается она скрыть

печаль, но слезы выдают ее: она боится за жениха своей подруги.

Спокойна Нада, светел ее взор, и говорит она своему милому:

— Великий день настал. Ты идешь на славный подвиг. Со всех сторон стекаются толпы народа в радостной надежде увидеть победу над шайтаном. Сколько теплых молитв теперь возносится за тебя к небу! Каким восторгом забываются тысячи сердец, когда ты воротишься к народу! На тебя все будут глядеть, как на спасителя родной страны, и потомки из века в век будут благословлять твое имя... О, мой Галли! Ты посланник небес! С тобою праведный Манкуп и любовь, вечная любовь твоей Нады!..

Она целует Галлея в уста, обнимает и говорит:

— Иди, не медли.

Старый Хассан и княжна Бика благословляют юношу.

— Да помогут тебе боги, мой сын, — говорит мудрый князь, и слеза катится по его щеке.

Зара собирает все свои силы и говорит:

— Галлей-Ахмет! Я хотела бы, чтобы ты и от меня взял благословение! — она целует его и поспешно скрывается.

Нада еще раз обнимает:

— Иди, посланник неба!

Толпы всадников мчались к Шайтан-горе. Впереди, словно широко раскинувшийся лес, темнеют толпы народа. Галлей едет рядом с Надою, и она не спускает с него глаз. Взор юноши горит любовью, и лицо исполнено отвагой. Уже близко... В полуторе версте от подошвы Шайтан-горы ждут тысячи народа. Галлей соскочил с своего верного товарища, вороного коня, и сдал его батырю; скоро и крепко подвязал легкие лыжи, кинул светлый взор Наде, кивнул всем головой, гикнул и двинулся вперед.

Высока и велика Шайтан-гора. Залегла она своей каменной грудью не на одну версту, а остроконечную вершину дерзко вскинула к небу; круты ребра страшного великана, торчат по ней каменные утесы, выставляются глыбы, точно чудовищные наросты. Но человек никогда к ней не приближался и не видел ее близко. Одета гора снежным покровом, но не сверкает ризою на солнце, как другие горы: точно мертвец лежит в саване; ледяным дыханием веет от Шайтан-горы; невольный трепет пробегает по жилам человека...

Галлей благополучно достиг подошвы, поднимается по



бокам, избегая утесов и скал, искусно огибает препятствия на пути; сам он кажется все меньше и меньше, по мере того, как он взбирается выше: он то пропадает из глаз, то снова появится и опять исчезнет. С любопытством и страхом следят глаза всех за юношей. Лицо Нады спокойно, взор блещет, летит за милым; изредка, когда он скроется, что-то похожее на страх промелькнет в глазах. Меньше и меньше делается Галлей, совсем стал маленький, как годовалый ребенок. Долго следили за смелым юношею... Пропал ненадолго и уже черной точкой показался на самой вершине горы.

Радость озарила лица всех, румянец вспыхнул на щеках Нады, встрепенулась Зара: раздались голоса и понеслись к небу с молитвами.

— Взшел! Ступил на темя злого духа! Благодарение великим богам и слава князю Галлею: победил шайтана!

Тронулась черная точка, промелькнула несколько раз и опять остановилась.

— Место выбирает, где сойти!

Исчезла черная точка, снова мелькнула, стрелою понеслась вниз и вдруг пропала, не долетела до подошвы... Глубокое, мертвое молчание воцарилось... Захватило дыхание у княжны Нады, и побледнела Зара. Ждут — не показывается он... Просияла вершина горы, заискрился весь ее покров: — шайтан побежден, но не появляется радостный победитель.

Даут и Раслан понеслись на лыжах к тому месту, где пропал Галлей; выискались и другие смельчаки, подвязали лыжи и кинулись вслед. Неподвижная, бледная и с потухшим взором Нада едва держалась на седле: как будто жизнь готова была ее оставить, свет уходил из очей. Между тем батырь с молодым князем достигли места и остановились; перед ними — глубокое ущелье, и на дне его лежит бездыханный юноша с окровавленным лицом: он разбился об острие каменного утеса.

— Ушкуль! — вырвался отчаянный вопль из широкой груди батыря.

#### XIV

На вершине горы «Ушкуль» батырь Даут похоронил Галлея-Ахмета. Множество народа провожало славного юношу, много горьких слез было о нем пролито... Никто уже теперь

не боялся горы: своим подвигом Галлей изгнал шайтана, и страх перед жилищем злого духа рассеялся; все увидели, что гора стала чистою и святою; последним злом шайтана была месть Галлею: улетая из своего жилища, он отвел глаза юноше, и тот разбился об утес.

Долго предавалась страшному отчаянию Нада, не бралась за охотничий кинжал, но за нею зорко следила княжна Зара. Потом отчаяние перешло в тихую грусть; она подолгу сидела молча, никого вокруг себя не замечая и ничего не слыша; иногда она делалась необычно разговорчивой, но говорила как бы с собой.

— Не умер Галлей. Бессмертный дух его носится по всей стране, он со мною, с тобою, милая Зара!.. Скажи, ведь ты тоже любила его? Как ты мне за это дорога стала, Зара! Любовь твоя открыла мне любовь Галлея... Теперь я знаю, что он любит меня. Он скоро придет. — ах, зачем долго его не отпускает Зигда? — и возьмет свою Наду... Где же он, мой муж? Куда ты его спрятала? Ну, будет, перестань, милая подруга, шутить! Ты видишь, какая я стала несчастная от любви своей!.. Ах, не то я говорю, я безумная: Галлей погиб за свою Наду, он спас народ от шайтана...

С грустью глядела на бедную подругу Зара, не зная, чем помочь горю. Печально глядели на дочь отец и мать; сокрушались их сердца, и без слез плакали старые очи.

Проснется иногда ночью княжна Нада, сядет на постели и тихо-тихо поет:

Страна моя родная,  
Моя счастливая страна,  
Святая родина моя!..

— Так, ведь он пел? А какой у него голос: грустный, но сладкий и сильный!

О, скажи мне, месяц ясный,  
Звезды чистые небес,  
Как найти дорогу к Галли.  
К Галли, другу моему.

— Зара! Зара!.. идем, идем к нему! Разве ты не слышишь, поет Галлей, меня зовет!

Весна уже слетела на землю. Пришла весть, что появились в стране ногайцы и напали на южные аулы. Забыл старый князь Хассан свое тяжелое горе, созвал джеин, велел арало-табынцам садиться на коней и вместе с батырем

Даутом и князем Расланом полетел на выручку башкир. Скоро прогнал он врагов, захватил двух князей в плен и вернулся обратно в родной аул. Пленные показали, что ногайцы совсем не думали нападать на башкир, но их позвал Кара-Кипчакский князь, Меджин-Абдрахман, собираясь воевать с арало-табынцами и другими родами, велел прибыть на устье реки Ори и дожидаться гоцдов. Они долго ждали, есть было нечего, и напали на ближние башкирские аулы. Выслушал ногайцев князь Хассан и отправил их с двумя аульными старшинами и десятком молодых джигитов к старшинам кара-кипчаков, наказав, чтобы Ята, Карыба-Акмачик и другие выслушали ногайцев и отпустили их с миром в свою страну.

Все хитрости Меджина и Сарыма разбились в прах. Собрался джеин, расспросил ногайских князей; спросили тех, кто ездил в ногайские аулы, все разузнали, и все всплыло наверх.

— Ты, Меджин, дурной князь, — сказали старики. — Ты враг свободы народа и предатель. Возьми, что тебе нужно из твоих богатств и оставь мирных людей. Мы воюем только с теми, кто на нас нападает, и кто грозит нашему народу, а ты хотел начать междоусобную войну, кровью башкир обогреть их же земли... Нет места изменнику среди верного народа. Оставь нас.

Хитрый Сарым, не дождавшись над собою приговора джеина, поспешил заранее убежать.

Весна принесла с собою зеленые травы и цветы, башкиры ушли на летовку. Не снимались с зимовья арало-табынцы, только княжеские терьмы перевезли ближе к горе Ушкуль... Гасла жизнь княжны... Безмолвно сидели у постели больной отец с матерью, Зара и батырь Даут. Посмотрела Нада на сияющую вершину Ушкуля и попросила, чтобы ее свезли на вершину горы. С трудом поднявшись на привычной к горам лошади, Нада опустилась у могилы Галлея и долго оставалась без слов. Перед нею расстились прекрасные долины, сверкали озера, извивались по лугам реки, бежали ручьи и шумели потоки, белели терьмы разбросанных аулов и темными пятнами выступали стада; вставали, сияя вдали, венцы гор, темнели дремучие леса и заливались в прозрачном воздухе вольные пташки.

— Так вот она, та счастливая и благословенная страна, которую мне показывал святой Манкуп! — заговорила Нада с небесной радостью во вспыхнувших очах. — Галлей

совершил подвиг, — и Башкирия теперь счастлива! Нет Шайтан-горы, есть гора Ушкуль: посланник неба, светлый юноша, принес себя в жертву любви и народу. Вырос неземной цветок на вершине Ушкуля, скоро появится и другой... Прости, отец... Мать, родная, не плачь обо мне: я счастлива, меня зовет муж. Зара, подруга милая! Я любила тебя! Даут, верный друг Галлея, бери Зару... Отец не забудь брата Галли... Зигда умрет с печали... Я молю ее простить меня... Возьми Наримана — он будет тебе сыном... Боги, как прекрасен мир!.. Как люди все добры и хороши!.. Галли, возьми же меня, подними на небо; оттуда мы вечно будем смотреть на землю и любоваться милой Башкирией.

Княжна говорила много, и с жаром. Наконец, последние силы ей изменили; она тихо склонилась на могильный холм и заснула...

Больше не проснулась Нада.

Вырос другой небесный цветок на вершине Ушкуля. Тысячи народа приходят сюда поплакать и помолиться за юную чету; благословляют башкиры имя Галлея и Нады...

Замолк курайчи. Понурился, молча сидели башкиры. Среди молчания и тишины слышно, как струится и плещется о берега речушка, да около норок, облитые лучами заходящего солнца, пересвистываются о чем-то между собою желтовато-серые суслики, вставши на задних лапках.

Первый заговорил хозяин коша, обратившись к певцу «Ушкуля».

— Рахмет-Абдулла! ты говорил, что шайтан провалится сквозь землю и не станет делать больше зла людям. А какой же, скажи, теперь у нас шайтан гуляет?

— А это другой, — проговорил курайчи: — прежний жил у наших предков, язычников, и Галлей прогнал злого духа, а нынешний — у нас, магометан, гуляет; за всякой новой верой, какую народ принимает, гонится свой шайтан, и где она расцветет, там и шайтан укоренится.

— Так, значит, нам, магометанам, надобно ждать нового Галлея-Ахмета.

— По делу выходит так, кунак.

Призадумались башкиры.

— Славное время было, хорошо жили наши дедушки! — грустно заговорили они погода. — Если бы и теперь... да

нет, батыри перевелись, и новый Галлей на землю не явится...

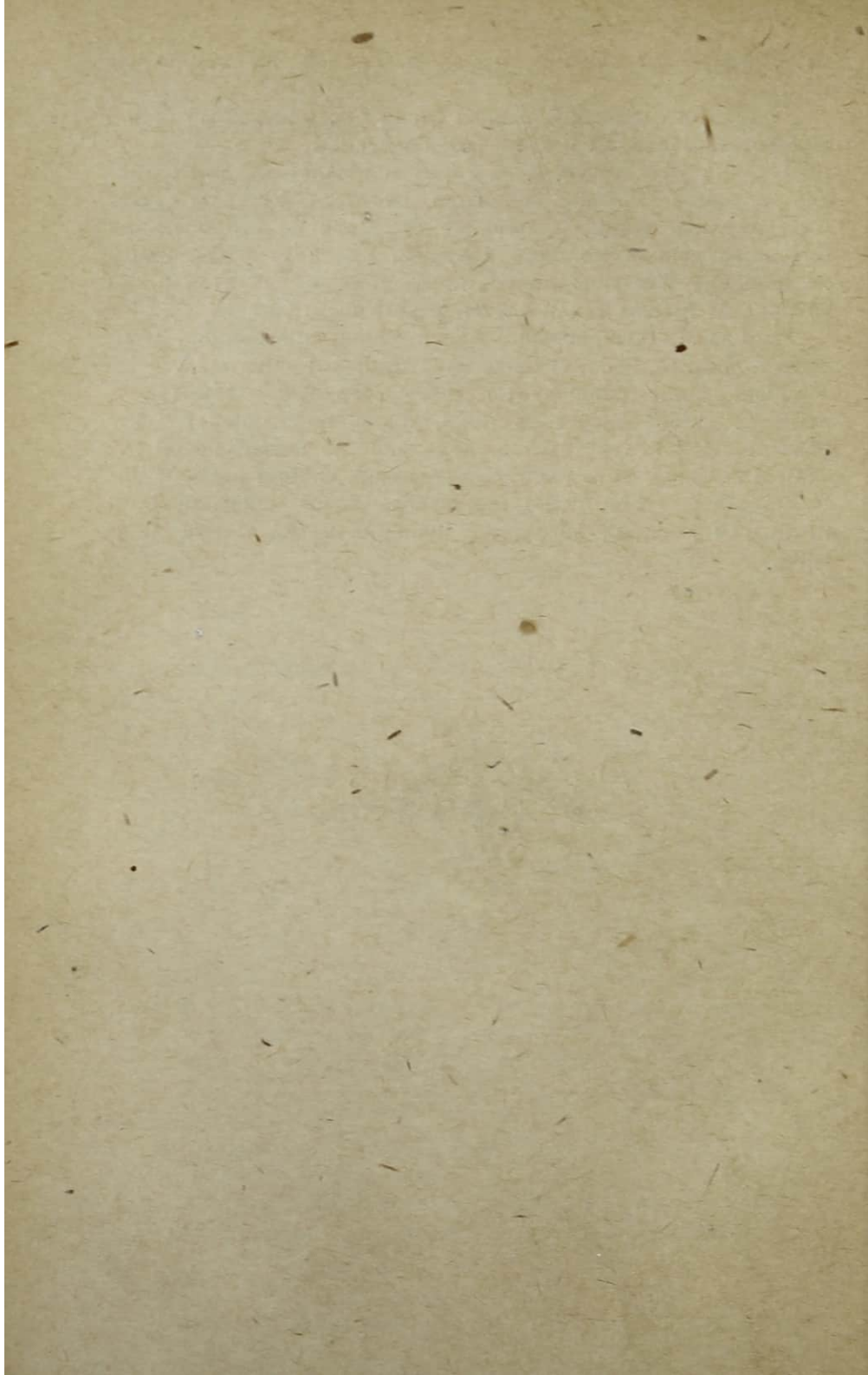
С такими словами башкиры стали расходиться по своим бедным жималейкам и досчатым балаганам.

Солнце уже закатилось. Горит и пылает вдали трехглавая вершина Таганая и кротко светится Ушкуль. Тихо раздвинулись ветки, и, пугливо озираясь по сторонам, из орешника вышла молодая девушка. Глаза ее устремились на вершину Ушкуля; долго и неподвижно она стояла, по загорелым щекам текли слезы, и уста шептали:

— Галли, прекрасный юноша. Нада, красавица... Сойдите, сойдите с неба, спасите нас, бедных и забытых...

Ночь. Спит давно аул; в дрему погружена долина; жалобно и слабо лепечет речушка, уныло пощелкивает в кустах соловей... Чувствуется, дух какой-то невыразимой печали и великой, хотя глубоко затаенной, скорби распростерся по земле... Но чудно как всегда ясное, синее небо, и прекрасен хоровод звезд, не знающих тоски и мук людских...





# ТАЙНА РЕКИ





**В**ЕСЕННИЙ разлив остановился. Прошли благодатные дожди, прогремели первые грозы. На горах, в глубоких ущельях лежат еще потемневшие снега; но в воздухе повеяло теплом, ласкою. Напоенная дождями и пригретая солнцем, земля вздохнула всей своей широкой грудью; радостный трепет жизни пронесся, молитвенный шопот послышался...

Многоводная Кама заметно начала входить в свои берега. По луговой стороне, в ложбинах и долах, еще блещут воды, но везде уж чернеется потная земля; по реке местами проглянули верхушки островов; селения и горы отодвинулись. Теперь движение по Каме в полном разгаре. Вверх и вниз с шумом несутся легкие пароходы, пыхтят и грохочут буксирные, таща за собою десятки громадных барж; с верховьев плывут, разцвеченные флагами, многочисленные суда, нагруженные уральским железом, деревянными балками, дровами и кореньем; нескончаемыми вереницами изгибаются плоты со свечающимися на них, точно свечами, новенькими бревенчатыми домиками и досчатыми казенками. От свистков и уханий, шума и грохота, от несмолкаемых людских голосов, песни и гармоники, от криков носящихся стаями чаек и налетевшей из теплых краев болотной птицы — день и ночь стон стоит на реке; а в синем поднебесье, над изумрудными всходами озимей, с утра до вечера звенят веселые песни жаворонков. Река живет полной жизнью и торопится жить.

Но промелькнут две, много три недели, Кама войдет совсем в берега, там и сям запестреют маячные столбы и вынырнут из воды красные и белые конусы, баканы, — эти вехи на речной дороге, — и движение стихнет, жизнь замрет. За день пробегут в урочное время срочные пароходы, пропыхтит изредка буксир, проползет запоздалый плот, — и только, и так до самого конца навигации. Обезлюдует, осиротеет могучая река; затаит она свою печаль, вся исполнится тишины. Только всплески большой рыбы,



жалобные крики чаек да пугающие свистки пароходов время от времени нарушают речную пустыню.

Между тем, по недавно залитой водами долине разливаются теперь другие, зеленые волны, день ото дня все шире и шире, сливаясь в сплошные луга; прибрежные кусты, частый лозняк и острова одеваются свежей листвою; безлесный, гигантскою стеною тянущийся на многие сотни верст, нагорный берег с красно-глинистыми боками и осыпями постепенно смягчает суровые тоны, покрываясь тощею травкою, и над изумрудными озимями звонче заливаются жаворонки.

## 1

Половина мая пролетела. Время далеко за полдень. Двумя широкими рукавами Кама несет свои темные воды, обнимая длинный зеленеющий остров, стрелкой вдавшийся супротив пункта баканщиков. Нагорный берег уступами, точно исполинскими шагами, тяжело сходит к реке. На приподнятой части его ступни поставлен маяк; белый столб и крест, с черными и красными спиралями; багровые и синие стеклянные шары украшают маяк. Около него сложены в большую кучу черные якоря. Между подошвою берега и краем воды покато извивается каменистая дорога, местами разорванная вешними потоками и сверлящими подземными родниками. Выше, на площадке первого уступа, приткнулась мизерная избенка, кое-как сложенная из тонких бревешек, с одним створчатым оконцем. К ней прильнул дворик, сплетенный из молодого ивняка; квадратная дыра служит ему вместо двери. Это — казенное строение, в котором живут баканщики. За двориком виднеется маленький огородец с грядками. У изгороди разгуливает петух с курами; прыгает и резвится белый с черными пятнами котенок. Подле избенки молодой парень в синей пестрядиной рубашке и таких же штанах, заправленных за короткие голенища кожаных сапог, отчищает фонари и промывает в них стекла. Неподалеку, на солнце, выставлены два бакана, выкрашенные масляно краскою: один белою, а другой красною.

С площадки открывается на десятки верст речная долина.

Слева, тотчас за Камою, желтеются пески с пробившеюся кое-где молодою порослью и стелются луга; торчит черная труба лесопилки; сверкает на солнце озеро, и робко,

словно украдкою, выглядывают из-за купы деревьев два поселка. От озера и до Красного яра горизонт заслонен темною гривою казенного леса. Прямо — Красный яр, которым оканчивается лес. Направо, по отлогости, раскинулись и ушли невесть куда роскошные зелени ржи; из-за нее вдали поднялась сельская колокольня. Еще правее, вниз по течению, сквозь легкую дымку, пронизанную будто бы золотой пылью, на перерез Камы выдвинулся горный высокий берег другой реки с целью загородить ей путь; развернулась вятская котловина с теми же песками, лугами и нивами и глянула бледно-голубая даль... Беспредельная ширь и простор без конца! А над всем, что в состоянии окинуть глаз, распростерлось высокое безмятежное небо, откуда сыпались снопы теплых лучей.

Таков южный уголок Камы, в котором приютилась избенка с ее жильцами-баканщиками... Но — странно! — свежий человек, попав сюда как-нибудь случайно, испытывает ничем необъяснимое чувство грусти и впечатление величавой пустыни. Чем дальше он всматривается в эти немые красоты природы, чем шире раздвигается обнявший его простор, тем тоскливее становится у него на душе и сильнее впечатление пустыни... Делается ему кого-то страшно жаль, хочется кому-то помочь; он чувствует себя бессильным, одиноким; на сердце закипают слезы, и, в сознании собственной своей беспомощности, он подымает глаза к высокому небу, безмятежному и прекрасному; но оно бесстрастно и холодно встречает обращенные к нему мольбы и слезы.

Неизвестно, что копошилось в широкой груди парня, который, бросив чистку фонарей, подошел теперь к краю площадки и остановился. Коренастый, среднего роста, темноволосый, с круглым лицом, он неподвижно стоял на одном месте и долго куда-то смотрел. Раздавшийся позади голос оторвал парня от бездельничанья.

— Аль казенный пароход бежит? — и за этим вопросом из оконца выставилась светлорусая голова и лицо с курчавой бородкой.

— Нет. Так гляжу, — отозвался парень. — Дивно хорошо.... Ежели бы человеку да ход был даден!..

Бородка усмехнулась.

— А я после ухи знатно соснул. Теперь, пожалуй, чайку не мешало бы попить. Как полагаешь, Павлуша?

— Что ж? Я самовар живо разведу.

Павел шагнул к дворику, но приостановился: по скату

избяной кровли карабкался котенок и жалобно мяукал, показывая свой розовый язычок.

— Вишь, баловник куда забрался! Залезть-то сумел, а сойти не знает как.

Он достал «баловника» и отпустил на землю. Войдя во дворик, Павел схватил деревянное ведро и ударился вниз по тропинке, ведущей на ключ и берег. Котенок побежал было за ним, но приостановился, поглядел вслед ему и воротился назад. Минут через пять парень уже разводил на площадке большой медный самовар.

Вышел на волю другой баканщик, русоволосый, одетый точно так же, как и его товарищ, но вместо сапог на ногах были лапти. С продолговатым красивым лицом, прямым носом и голубыми глазами, он на целую голову оказался выше Павла; на вид ему можно было дать лет тридцать. Неторопливо он прошел к баканам, потрогал пальцем каждый и проговорил:

— Краска не пристаёт. Завтра и те докрасим.

Павел, стоя на корточках, раздувал в трубе во все свои здоровые легкие.

— Ладно... Скоро закипит, — пробормотал он себе под нос. — Василий Семеныч! — повернул он лицо к русоволосому: — не разрисовать ли нам сегодня и последние-то?

Василий Семенович посмотрел на солнышко и неспешно ответил:

— Не успеют высохнуть. Лучше до утра отложим.

— До утра, так до утра, — согласился парень. — Сейчас будет готов! — прибавил он, заслышав, что самовар шумит. — На воле аль в сторожке станем пить?

— Где желаешь...

— По-моему, на воздухе превосходнее..

И, не дожидаясь ответа, Павел нырнул во дворик. Вытащил стол и скамейку, поставил их против оконца; принес две чашки с чайником, плитку кирпичного чаю и сахар, завернутые в толстую бумагу. Делал он все проворно, с видимым удовольствием, и летал словно на крыльях, только мягкие волосы на голове тряслись.

Старший баканщик в это время осмотрел огород, полил грядки, отшутнул петуха с курами и, когда самовар поспел, явился своевременно к столу. Усевшись на лавочку, пришитую гвоздями к наружной стене жилья, он отломил кусочек от темнокоричневой плитки, заварил и поставил чайник на конфорку. Павел еще раз сбегал за короваем и солью, на-

резал хлеба и присел на скамейку. Василий Семенович налил чашки и снова поставил чайник на самовар. Перекрестившись, взяли по толстому ломтю и принялись чаевничать. Первые три чашки, одна за другою, были выпиты без передышки и молча, так что на лбу у обоих выступила испарина. За четвертою завязался разговор.

— После чаю съездим за Красный яр, — начал старший бакащик: — сделаем промер и заметим места... Гляди, — на-днях не прикатил бы лоцман: надо до него окончить.

— Да хоть сегодня приезжай, — подхватил младший: — осталось только два окрасить, а то у нас все готово..

— Пока не приехал, — продолжал старший, — так я к домам думаю сходить, проведать, что там делается. Когда баканы поставим, не удастся побывать.

— Известно. Безотлучно должны находиться на пункте.

— Ну, завтра я и схожу: с женой повидаюсь, на ребяташек своих погляжу и в бане попарюсь, а в воскресенье к тебе вернусь.

— Ладно. Да ты поди сегодня, я один справлюсь. Будь спокоен, Василий Семеныч!

— Нет, время терпит.

Василий Семенович говорил неторопливо, каждое слово у него выходило обдуманно, речь текла плавно, и голос звучал приятно; все движения отличались ровностью и спокойствием; взгляд голубых глаз был вдумчивый, проникновенный, словно он хотел видеть насквозь человека, с которым говорил или на которого смотрел; а когда улыбался, то лицо его молодело и делалось красивее. Павел, наоборот, представлял собою противоположность товарищу: говорил он, как рубил; слова выпаливались, и в голосе не слышалось никакой гибкости; движения были порывисты, даже грубоваты, и лицо редко когда оживлялось улыбкой. Но от его коренастой фигуры веяло мощью и энергией; круглое лицо его с мягким носом и большие серые глаза, всегда смотревшие прямо, открыто на собеседника, свидетельствовали о том, что в молодом силаче немало заложено добродушия и что на него можно положиться. Ему шел двадцать второй год, но он был холост и о женитьбе не помышлял. Василий Семенович едва умел разбирать печатное, а Павел окончил земскую школу, вышел из нее с отличным свидетельством и любил почитать «книжку». Первый слушал бакащиком пятое лето, последний только второе.

Старший получал в месяц пятнадцать рублей, а младший двенадцать. Кроме жалованья от казны, они имели частные доходы: так, получали от пассажиров за лодку, самовар или уху. Правда, доходы эти не превышали в лето трех — пяти рублей, но совершенно покрывали расходы на чай, к которому оба баканщика питали слабость. Павел уважал «старшего», как он называл Василия Семеновича, а последний считал его за хорошего и усердного парня. Оба жили между собою дружно.

— Каков-то нынче урожай будет? — начав пятую чашку и задумчиво посмотрев за Каму, заговорил Василий Семенович. — На уфимской стороне вон как загустилась рожь-то матушка, а у нас не такая, много похуже будет: ничего, хороши всходы, а против тех куда же! Разный грунт земли: у башкирцев чернозем, а у нас глина с песочком.

— Недурны и у нас всходы, только не везде одинаковы: на ровных местах важны, а по горам редки.

— Да, чем-то господь мужичков порадует, когда к уборке хлебушка приступят, — промолвил Василий Семенович. — а по всходам не угадаешь. В голодный год какие озими взошли, а летом колос посох и на солому даже не сняли.

— Помилуй бог!

Помолчали.

— Не спросил я тебя. — обратился псгодя к Павлу старший баканщик: — может, надобно и тебе дома побывать?

— Пожалуй не худо бы... Да когда?

— Воротимся с яра и отправляйся: тебе путь недалёкий.

— Какой путь! Я на ботничке в час оборочу.

— Ночуй дома, если хочешь.

— А как жерлицы?..

— Я осмотрю и опять их поставлю. Ежели рыба какая попада, на ужин себе зажарю.

— Так ладно, — сказал парень и накрыл блюдечко.

— Пей!

— Доволен. Больше не стану. Я и так весь мокрый..

— Ну, я еще одну выпью.

Хотя баканщики нынешней весною недавно явились на пункт, но каждого из них почему-то тянуло к домам..

От коровая осталась одна горбушка. Павел отдал ее котенку.

— На, ешь! Только смотри у меня: лови мышей, а то кормить не стану. Дармоедов я не уважаю!

Самовар и посуду убрали. Баканщики накинули армяки, прислонили к дыре плетёный ставень и оставили помещение на волю божию, крепко уверенные, что расхищения никакого не может произойти. Спустившись мимо ключа, они повернули налево, где виднелись большая лодка с ботником и стоял маяк.

— Шест в лодке? — спросил Василий Семенович.

— Есть, — ответил по-речному Павел.

Не успел он отвязать лодку, как книзу воложки, правого рукава Камы, загудел свисток; за ним последовали еще два коротких свистка.

— К нам! — проговорил Василий Семенович. — Верно пассажир с Якимовского... Не даром ты в село прокатишься: полфунта сахару купишь. Отваливай!

Из-за крутого мыса вырезался белый нос парохода. Баканщики двинули лодку. Через несколько минут пароход находился уже саженьях в десяти.

— Ой, парень! — промолвил старший: — на весь фунт бог нам с тобой посылает. Николай Петрович на «Витязе»... — и с последним словом он взял «курс» вдоль парохода, и в одно мгновение лодка очутилась у кормовой части; капитан дал в машину «стоп», «Витязь» разом остановился. С борта упала лесенка, по ней спустился в лодку мужчина в суконной бекеше и шапке, а вслед за ним полетели тулуп и подушка.

— Готово! — крикнул матрос.

Баканщики только успели отпихнуться, как «Витязь» уж пошел, вода по сторонам его заклокотала, и от кормы повалила огромная всенившаяся коса.

— Так, так! — ворочая рулем, прокричал старший баканщик младшему, под сильными ударами весел которого лодка быстро уносилась к берегу. — Еще!..

Лодку подняло, опустило и снова подняло...

— Качай! не страшно, ушли!.. — говорил старший. — Доброго здоровья, Николай Петрович!

— Приятель? Старый знакомый! — ответил пассажир, стоя в лодке и пошатываясь от качки. — Как поживаете, Василий Семенович?

— Живем помаленьку. Вы как здравствуете?

— Вашими молитвами, как шестами подпираемся.

— Откуда бог принес?

— Да уж и не знаю, как тебе сказать, где только не носила меня нелегкая! Сам чорт концов не отыщет, — шутил веселый пассажир.

— Все по лесной части, Николай Петрович!

— Все по лесной, Василий Семеныч! И сейчас к лесечкам пробираюсь. Будь добр, доставь меня к лесопилке. а оттуда я к ним дорогу уж найду.

— А в сторожке чайку не желаете покушать?

— Некогда. В другой раз... Если от тех, лесных, по добру да поздорову вырвусь, так через недельку ожидайте: беспременно на баканах ухи похлебаю и чайку напьюсь... Утихло, можно и ехать. Троньте-ка, молодчики!

Шутник был не молод, лет под пятьдесят, но сшит крепко: руки большие, мускулистые; лицо бронзовое, здоровое, от глазных впадин по шею поросшее черными волосами; глаза карие, живые; губы толстые; но самой замечательной частью этого лица был нос: форму он имел превосходной груши, а цвет спелой сливы. Полторы версты, которые пришлось сделать до лесопилки, Николай Петрович без умолку говорил, пересыпая речь шутками, и в то же время расспрашивал, что его самого интересовало. Он служил приказчиком у одного капиталиста, составившего себе громкую известность в краю разведением бесчисленного множества кабаков, установлением дешевых цен на хлеб, привозимый в город мужиками, и другими благородными коммерческими предприятиями. Высадившись у лесопилки на берег, Николай Петрович накинул на плечи тулуп, захватил подмышку подушку и наградил баканщиков за труды двугривенным.

— Прощайте, ребятушки! — сказал шутник. — Дай нам бог через недельку вместе ушицы похлебать!.. Постарайтесь запастись стерлядками, да пожирнее какие выберите.

— Будем ожидать. Благодарим покорно на пожаловании, Николай Петрович.

— Не за что!

Лодка отвалила и направилась по течению к Красному яру.

— Если бы почаще к нам такие пассажиры заглядывали, — калачики бы у нас к чаю были. Уж и балагур этот Николай Петрович, но человек доброжелательный.

— Плутист, надо полагать, — заметил Пазел.

Василий Семенович усмехнулся:

— Вот хозяину его ход большой даден.

— Ход!.. Разве такой ход человеку надо?.. С этаким-то ходом душа человека прямо в ад пойдет!

— Нет, Павлуша, не пойдет его душа в ад: сам у бога не умолит, наймет за себя молиться.

Часа три баканщики провозились за яром.

На западе горела вечерняя заря. Горы и лес обливались красноватым цветом; по засыпавшей реке чернелись рыбацьи лодки. Вниз по воложке стрелою летел ботник: это Павел спешил в свое село, которое спряталось за выступом берега, в четырех верстах от баканов.

## II

Вместе с солнцем поднялся баканщик Василий Семенович. На дворике громко кудахтала курица, докладывая тем хозяину, что пора ему вынуть свеженькое яичко и выпустить ее с подругами и петухом на волю. Баканщик обернул ноги онучами, надел лапти, шагнул к дверке и, согнувшись дугой, переступил через высокий порог. При его появлении куры дружно все побежали к выходу, сопровождаемые своим властелином, гордо переступавшим с ноги на ногу. Оставив плетеный закрой, хозяин выпустил домашнюю птицу на волю; потом умылся из глиняного рукомойника, висевшего на витом мочальном обрывке; вытер лицо и руки полотенцем; шагнул обратно через порог и встал перед иконою.

Ровно шесть аршин в длину и ширину занимала внутренность сторожки. Прямо, у стены, против двери, примостились нары, с вытертым жидким войлоком, прикрытым наполовину нагольным овчинным тулупом; в изголовьях лежали две подушки в пестрядинных наволоках, набитых льняными оческами. Над нарами, в углу у потолка, виднелся образ спасителя. В остальных углах, на земляном полу, размещались: маленькая, сбитая из глины, печка, самовар и лубяная коробка. Перед оконцем стол и подле него скамейка.

На стенной полке виднелась чайная посуда вместе с горшком, плошкой и сковородкою. У оконного косяка прибито зеркальце в оловянной оправе.

Помолившись богу, Василий Семенович принялся за дело.



Прежде всего он позаботился о домашней птице, вынес ей чашку отрубей; не забыл также кинуть хлеба котенку; потом вынес из дворика баканы и приступил к окрашиванию.

Не более как через полчаса он услышал знакомый голос:

— Бог в помощь! Здравствуй, Василий Семеныч!

Перед баканщиком стоял его товарищ с большим мешком за плечами.

— Бог спасет, Павел Иваныч! Что ты больно рано?..

— Да разве? Ну я сейчас только мешок свалю.

Павел исчез, а через минуту снова появился с железным ведерком и мазилкой в руке.

— Что дома? — любопытствовал старшой.

— Все благополучно. Батюшка с братишкой собираются пар вывозить. Матушка лепешек, короваев мне в мешок положила... Сахару купил.

— А что у тебя в мешке?

— Муки три пудика из дворов захватил.

— Своя у вас или покупная?

— Мы давно уж покупную едим. Ладно, что не дорога: на базаре в Лекареве третьеводни по четвертаку покупали. Сказывают, на пятак еще спустят цену.

— Вот и изворачивайся, как знаешь: перед святой муку у нас по сорока копеек пуд брали, а теперь на пятиалтынный спустили. Неурожай — беда, да и урожай-то крестьянину не на пользу. Одно хорошо — сам не голодает и семья сыта...

Разговор продолжался, но не мешал работе.

— Староста из города новость принес, — сообщил Павел: — на Ику тридцать башкиров потонули.

— Тридцать?!

— С зейна<sup>1</sup> возвращались, да, видно припоздали, к домам очень торопились. На паром народа тучей навалило, а плотик гнилой, не выдержал: до середины реки не дополз, развалился... Кто умел плавать, выплыли, а тридцать на дно пошли. Вторую неделю ловят с урядником, но еще не всех нашли.

— Надо полагать, в омута затянуло, либо в кустах застряли... Долго не всплывут.

— Один башкиренок потонул, молоденький, музыкантом

<sup>1</sup> Зейн, иначе джеин — собрание, народный праздник у башкир и других магометан.

у них был, на скрипке играл. Его скоро нашли, но, уж мертвого: лежит, обнявши скрипку, и смычок в руке держит. бедняга.

Василий Семенович, отступя на шаг, полюбовался делом своего малярного искусства.

— Должно, опасался, чтоб водяной не отчал,—добавил он с улыбкой, оставшись, видимо, довольным собою: — на чем бы после башкиренок-то стал играть?

— Что ты?! — всхлопнул глазами парень. — Чай, на том свете не играют...

— По нашему закону не полагается, а по ихнему дозволено. Татары сказывают, весело им будет на том свете... А ты, паренек, не очень усердствуй, — прибавил старшой, взглянув на «рисованье» товарища: — густо-то не клади, а веди по грунтовке кисточкой ровненько.

Павел смутился.

— Твоя правда, — сознался он: — ляпков наделал... Поспешил.

— То-то поспешил! — обмакнув в краску большую кисть, промолвил Василий Семенович. — Да ничего, дело поправимое, — прибавил он, желая ободрить паренька. — Не следует никогда спешить. Куда? Зачем? Я тебе недавно замечал: горяч ты очень, надо быть немножко полегкосердней! Тогда дело пойдет как следует, и жить тебе будет легче... А насчет скрипача ты не беспокойся, — воротился наставник к прерванной речи: — башкиренку не житье, а масленица на том свете. Для татар у Магомета рай изготовлен. В раю они ходят друг к дружке в гости, потягивают кумыс и чай пьют, — цветочный, а не кирпичный. Музыканты их увеселяют: курайщики на дудках играют, а скрипачи на скрипках... Отыграют, что следует по Магометьеву положению, за кумыс и чай сядут. Баранины, махана досыта наедятся. После того пойдут в сад разгуляться, а навстречу старикам и музыкантам гурьи высыплют...

— Какие гурьи?

— По-нашему — молодые девки, здоровые да собою смазливые, а по-татарскому — гурьи, в образе как бы русалок, но с волосами не травяными, а настоящими. Зачнут играть, целоваться и Магомета величать...

— Ну, выдумашь!

— Истинную правду сказываю: за что купил, за то и продаю. А что у татар, что у башкир — одна вера или закон. Так я полагаю, что потопший башкиренок в раю свою

должность исполняет, на скрипке теперь развесело попиливает.

Ввиду близкого свидания с домашними, старшой находился в хорошем настроении и много говорил. За этими разговорами баканы были «разрисованы», их поставили просыхать, чтобы потом еще раз окрасить, а сами мастера направились в избушку перекусить. Вымывши предварительно руки, уселись за стол; Павел выложил из мешка большой коровой и две штуки лепешек, величиною с добрую сковороду.

— Вот сахар, а это — твоим малышам! — показал он связку баранок.

Лицо старшого просияло.

— Спасибо тебе, что ребяток моих не забыл!.. Много ли денег-то тебе уплатить?

— А видишь ли: от другривенного у меня две копейки сдачи осталась, так я фунтик мяконьких и купил.

— На семитку не купишь.

— Ну, разорит, что ли, меня пятак-то? Покрайности, домой с гостинцем придешь.

— Радости, веселья у ребяток сколько будет!..

С реки что-то рявкнуло, словно медведь. Прислушались. Старшой в оконце заглянул.

— Курбатовский с баржей валит... В рупор крикнули... Лодка от него отстала. Вишь, как ее закачало!

Оба с напряженным любопытством смотрели на реку.

— Тронулись... К нашей стороне правят... Двое в лодке. Кто бы это?

Хотя лодка была в расстоянии больше чем верста, однако Павел узнал лица пловцов.

— Мосеичев Иван с работником! Они на реке снасти готовят и хижину ладят: на стрелке рыбный промысел опять за ними остался.

— Беспременно к нам правятся.

— Так не перенять ли? Я живо на ботничке отмахая.

— Коли сами едут, так незачем перенять: должно, свиданьице с нами желают иметь. Пока они пристанут да взойдут на гору, мы хлеб доедим и с лепешками управимся.

— Еще как! С какими-то они вестями! Не вышло бы для тебя задержки?..

— Узнаем, когда придут, — спокойно промолвил старшой. — Достань-ка яичек с полки, от вчерашнего обеда у нас остались вареные.

Павел спросил о жерлицах.

— С четырех снял, а на остальных никакой рыбешки не попало: сорвала. В садок опустил, там оне гуляют.

— Ужо вечерком загляну. А завтра пораньше встану да туда покачу: на зорьке ловко хватает.

— Удобное ты место выбрал, тихое, но соседство не выгодно: близко лесопилка.

— Она мне не мешает: лесопилка на том берегу, а я на этом.

— Приказчик всю рыбу к себе переманивает: по пуду и больше в день ловит. Сидит на мостках с удочкой, кида-ет это приманку и, знай, бесперечь с крючка снимает.

— Спросить бы его, чем он прикармливает?

— Не скажет... Да вот что: когда я от жерлиц сюда ворочался, так позади, где у родника кусты, соловушко будто пощелкивал, но не шибко, а так, как бы голос про-бовал.

— Неужели соловей?!

— По щелканью должен быть он, а может, и другая какая пташка. По нашей стороне соловьи редко летают, — больше двадцати годов я здесь их не слыхивал, — а вот по Волге, особливо в Жигулях, столько их весною поет, что бежишь на пароходе восемьдесят с лишком верст и только слышишь, как они распевают: щелкают, свистят, на разные голоса выкликают, всякие колена выдeldывают. Заслуша-ешься!

— Ни разу не видывал, что за соловей такой, и никог-да его не слыхивал.

— Взглянуть не на что: так махонькая, пером темная или серенькая птичка, а послушать приведи бог всякому доброму человеку... Одно мне сомнительно: у родничка его ли я слышал? Не по ним наша сторона — сурова и жестка очень, а они любят где помягче и потеплее... Впрочем, ска-зывали, в Сарапуле по две весны жил соловей, а по мест-ности Сарапуль еще жестче: он на полуночь ушел, а мы ближе к полудню... Так, передавали, весь город выходил соловья слушать... Да последний год про него что-то уж нечуть.

— Так может сарапульский-то к нам и залетел?

От ключа послышался мужской голос:

— О-го-го-ой! Эй! Баканщики!

Павел сделал движение.

— Сиди — остановил его старшой. — Подойдут... Вер-

но с какой своей надобностью, а не по одному нашему делу.

— Ого-го-ой! Да куда вы запропастились?

Павел не утерпел, высунулся в оконце:

— В избушке, утренничаем!

— Хорошее дело. У вас закуска на столе, а у меня с собой выпивка.

Вслед за тем чрез открытую дверку, наклоняясь, переступил молодой парень с едва приметной рыженькой бородежкой и выпрямился, хватая головою почти до самого потолка.

— Доброго здоровья, господа баканщики!

— Здравствуй, Иван Мосеич!

Вошедший подал свою большую руку старшему, а потом младшему баканщику и полез в карман.

— Получите нераспечатанную двойной очистки, — сказал он и поставил перед хозяевами бутылку, внутри которой белелась тонкая трубочка. — С Курбатовского кинули.

— Покорно благодарю за доставление.

• Павел нашел гвоздь и, при помощи его искрошив всю пробку, вытряхнул трубочку.

— Читай! — велел старшой.

Гость присел на скамейку и принялся делать вертушку.

Павел развернул трубку, оказавшуюся полулистом исписанной крупно бумаги, сложенной в четверку, и громко начал:

«Старшему баканщику 8-го участка. На пункте. Предписание. Так как погода стоит жаркая, и испарение в воздухе должно начаться, а в скором времени ожидать надо и того больше, по случаю чего вода должна пойти на убыль, и в горизонте ее произойдет значительное понижение, отчего обязательно должны обозначиться мели, то я сим предписываю вам: 1) немедленно произвести на всем вышеозначенном участке промер, везде поставить значки и с 20-го числа сего месяца начать установку баканов...»

— Приостановись! Нснче у нас какое число?

— Восемнадцатое.

— Отваливай!

Павел не сразу нашел место.

— ...«а главное»... Нет, я возьму повыше: «и с 20-го числа сего месяца начать установку баканов, а главное и прежде всего основать на тех самых точках, какие я осмотрел и указал вам при себе лично, а именно: во-первых у

Красного яра — три; во-вторых, на стрелке, по разделению воды на коренную и воложку, с обеих сторон, на каждой по одному; в-третьих, на самой стрелке один, и в-четвертых, окончить производством не позже 27 мая, а фонарей не ставить и огней в оных не зажигать, — еще рано. Сам я для осмотра и дальнейших к будущему распоряжений прибуду 28-го. Город С... 189., 16-го числа. Казенный лоцман А. Вавилов».

— Кудревато сочинил, — промолвил Иван Моисеевич. — Надлеж кружево, в неделю не расплетешь!..

— Постой, Мосеичев! Внизу есть приплюсочка, Василий Семеныч. Слушай. «Привезу еще стенные часы, а то без них вам нехорошо: пункт, а часов нету».

Старший баканщик остался совершенно доволен содержанием бумаги.

— Спасибо Алексею Максимовичу: утешил он меня часами! Хоша у нас часы и поют, да по ночам их просыпашь, а днем они при курицах находятся.

Иван Моисеевич сделал вертушку, перегнул ее крючком и попросил огонька.

— Ты, Павлуша, коробок-от мне отдай: позабыл я из дому спичек захватить, а курить хочется... Василий Семеныч, не желаешь затянуться?

— Не потребляем. Кури на здоровье, коли тебе в аппетит... Экой злой у тебя табачище-то!

Иван Моисеевич отмахнул рукою дым и самодовольно заметил:

— Табак легкий, первый сорт: пять копеек в лавке за четверку плачу... Да еще я вас попрошу, одолжите мне на час топора... Свой дома я оставил.

— Возьми. Во дворе его найдешь.

— Слышали, приказчик с лесопилки увольняется?

— Разве уж ее прикрывают?

— Зиму тогда проработала, а как голодовка прекратилась — надобность в ней и миновала!

— Надобность в ней всегда есть, Иван Мосеич: народ с хлебом управится, на лесопилке бы работал, а то разбредутся невесть куда.

— Известно, уйдут на сторону пропитание себе доставать... Однако мне пора на промысел! — прибавил Моисеев, заплюнул вертушку и лениво встал.

— Счастливого пути, Иван Мосеич! Нам тоже пора, Павел Иваныч! Не поставит ли сегодня два бакончика?

— Когда же ты ко дворам-то? Не близко: шестнадцать верст...

Промысловой, не трогаясь с места, переминался и точно выжидал чего.

— Поспею, — ответил старшой, — времени с нас довольно.. Суббота — легкий день, с него мы и начнем... Чайку только не удастся мне с тобой попить.

— Не запасливы ли вы сахаром? — дождался случая Моисеев.

— Чай-то у меня имеется, а про сахар я позабыл: из дома не взял. Одолжите кусков пять-шесть! Я завтра отдам.

По губам Василия Семеновича скользнула чуть заметная улыбка:

— К нам на промысел заезжайте! — пряча сахар в карман, пригласил забывчивый молодец. — Снасти устроим, — крупную рыбу будем ловить. Очень любопытно посмотреть... Прощайте!

Ушел.

— Говорил я, что не даром едет, — сказал Василий Семенович. — Так и вышло: топор ему понадобился... Никогда Мосеичев без корысти ничего для другого не сделает... Ну, да господь с ним! Снаряжайся!

— Я готов, — ответил Павел и метнулся во дворик, где были сложены баканы. — Из какой кучки брать: красной или белой?

— Один белый, другой красный выбери.

— Солнце на безоблачном небе поднималось все выше и выше. Прелестное утро уступало место жаркому, но такому же прелестному дню. Вокруг все зеленело и расцветивалось; вода сверкала где золотой, где серебряной рябью; лес за Камой, покрывшийся нежной синевою, глядел приветливо; отсвечивали далекие вершины гор, и кротко сияла прозрачная даль.

Около острова две мужские фигуры, бродя по пояс в воде, устанавливали бакан. Немного погодя, на левой стороне воложки, у самой стрелки, вынырнула из воды ярко-красная остроконечная шляпка. Спустя час времени, на правой стороне коренной показалась белая головка и весело закивала, как будто говоря: «плывите в добрый час, у меня здесь безопасно!»

Баканщики возвратились мокрыми, но сейчас же взялись за мазанье и окончили последнюю окраску. Василий

Семенович вымылся и переоделся, тщательно сложил суконный кафтан, перегнул его и захлестнул тесемкой, а к другому концу привязал сапоги; перекинув через плечо, взял в руку узелок с баранками и сказал своему товарищу:

— Теперь я пойду. Прощай, Павел Иванович!

— С богом, Василий Семеныч! Кланяйся от меня своей хозяйке.

Павел проводил до огорода старшего, поглядел, как тот взбирался по уступам на верх горы, взобрался и пропал из вида.

### III

Тишина. В сумраке весенней ночи спит Кама и ее долина. Кругом все неясно, неопределенно и сливается. Река кажется безбрежною, полною сказочных чудес и тайн. Ближние горы ночью еще выше поднялись и стоят неподвижно какими-то чудовищами; одни вершины их, вскинувшись к самому небу, мягко вырисовываются своими изгибами, шепчась о чем-то со светлыми звездочками. Громадные тени движутся по реке, прячутся в темных ущельях и логох и толпятся у подножия гор, тихо колыхаясь и наводя ужасные сны на спящего в лодке рыбака...

Но вот, среди невозмутимой тишины раздался прелестный звук; за ним — другой, третий...

Река словно бы тихо вздрогнула, побережье насторожилось...

Спит в избушке Павел Иванович. Оставшись один, завалился он с вечера и сразу заснул. Спал он, как убитый. Неведомые, неслышанные никогда звуки коснулись его слуха и нарушили богатырский сон. Парень широко открыл глаза: стены и потолок слегка побледнели, в отпотевшее оконце заглядывает рассвет, и с реки льются эти незнакомые чудные звуки.

Он вскочил с нар.

— Что за диво дивное? — проговорил малый вслух и распахнул оконце.

Струей сырого воздуха ударило ему в лицо и окатило голову.

Восток серебрился, звезды мерцали слабо, Кама и лес выделились. Прислушавшись внимательно, парень вскричал:

— Да неужто это соловей?!



Наскоро обувшись и одевшись, он схватил картуз и кинулся на волю. Прямо с уступа сбежал вниз, отвязал ботинок, сел и, взмахнув веслами, поплыл вверх. Не жалея рук и легких, он изо всех сил работал веслами, а навстречу ему неслась и гремела соловьиная песня. По мере приближения к своей рыбалке Павел замедлял движение ботника, опасаясь всплесками воды испугать певцов: ему казалось, что вот где-то, «вот тут», близко, поют и поют целые десятки, а не один.

Саженья в десяти — пятнадцати, как раз в том месте, где из ущелья бьет родник и клубится над ним туман, из кустов лилась и широко разносилась по долине дивная песня... Последние ночные тени куда-то торопливо убегали, звезды одна за другой гасли, небо светлело больше, и восток алел. Проснувшаяся река, луговой берег и лес с немым, но как будто бы радостным изумлением слушали певца, а великаны-горы на каждый звук откликались сотнями голосов.

Павел сидел в ботнике, подавшись грудью, с положенными на колени руками, и, затаив дыхание, боялся шевельнуться. Только изредка парень шептал:

— Что делает... Что он делает!.. Вот легче взял... Томно выводит... Опять поднял... Ну! Уму непостижимо!

Оранжевые, фиолетовые и багряные волны хлынули и покатались вдоль реки, лес и берега зарумянились, небесный свод раздвинулся и даль прояснилась. Пышнее разгорался и рдел восток, страстнее гремела соловьиная песня.

— Ах!.. Что делает... — слышен шопот на ботнике.

Вершины гор вспыхнули и позолотились; одно мгновение — и брызнули ослепительные лучи, — выплыло солнце. Еще раз высоко поднялся голос певца, рассыпался дробью и замер в сладкой истоме.

— Ах, ты, господи! — очнулся молодой баканщик и вздохнул.

Из кустов выпорхнула маленькая птичка, мелькнула над их зелеными верхушками и тотчас же скрылась.

— Неужто это соловушек-то? — удивился парень.

Он подождал, не запоет ли опять; но певец замолк. Вместо него в кустах посвистывала какая-то пичужка, да над полями весело заливались жаворонки. Убедившись окончательно, что соловушка успокоился, баканщик подвинул к себе ведро, зачерпнул воды и вылез из ботника. По берегу были расставлены толстые удильники: это —

жерлицы. Владелец подошел к одной, взял за тонкую бечевку, тихо стал вытягивать ее и потом разом дернул: у самых ног его, сгибая хвост и поводя красными поплавками, бился и трепетал на земле хороший окунь.

— О, да большенький!

Кинув в ведро добычу, рыболов намотал на рогульку бечевку, насадил «живца» на крючок и снова спустил жерлицу в глубокое место. Еще посчастливилось: с одной снял лещика, а с другой шестивершковую стерлядку. Три остались нетронутыми, одной на месте не оказалось.

— Вишь ты, — развел руками баканщик: — жерлицу уволокла. Должно, большая рыбина схватила.

Поставив и укрепив все удильники, парень сел в ботник и закинул удочку. Его круглое лицо время от времени озарялось улыбкою, и в больших глазах светилась радость. Рыба у него клевала хорошо, но попадалась одна мелюзга. Это нисколько, однако, не охладило его охоты, и он не бросал рыбачить, поглядывая по сторонам и улыбаясь. От воды отделялся легкий пар и несло ободряющей сыростью. В сиянии утра кружились над рекой чайки, блестя серебряными крыльями и с быстротою молнии выхватывая добычу. На противоположном берегу, вблизи лесопилки, с мостиков удил приказчик; сверху, мимо выдававшейся к реке скалы, плыла лодка: седой рыбак, стоя на коленях, выбирал сети, а мальчуган сидел на веслах. Скоро лодка приблизилась к ботнику.

— Здравствуй, дедушка Егор!

Вытряхнув из сети на дно лодки рыбу, старик повернул на голос седую голову.

— А, никак с баканов! — отозвался рыбак. — Здорово, родимый... Поклевывает ли у тебя, паренек?

— Хватает здорово! — похвалился паренек. — А ты что больно далеко заехал?

— Да где же ловить-то? На стрелке Мосеичева промысел: не пускают! Робята его прытко бранятся... Ну, а слышал ли ты певуна-то залетного?

— Слышал, дедушка!

— Непривиданный соловушка! — продолжал старик. — Восьмой десяток живу, а ни разу еще такого не слыхивал... Редко, ведь, к нам они прилетают; да и прилетит какой слабоголосый, а этот... Господи, боже мой, что за певун чудесный!.. Гарасимушка! — обратился дед к загорелому, в рваной шубенке мальчику: — пристань к бережку-то, я

малость поотдохну... Какие тебе на жерлички-то попали? — заглядывая в ботник, полюбопытствовал рыбак. — Э, желтуха! Ничего, хорошая стерлядочка... Да тебе бы, парнюженька, взять немного подальше — вон! — повыше Горекань: там есть больно способное местечко для твоих снастей.

Высокий и сухой, с морщинистым лицом, в мокрой холщевой рубаше и штанах, рыбак стоял на дне лодки и показывал жилистой рукою на каменную скалу.

— Ладно мне и тут, — сказал баканщик. — Да что это у вас за Горекань? Откуда он взялся?

Старик, присев на скамейку, не вдруг ответил:

— Испокон века он тут. Прадеды наши рассказывали, что в этом самом месте кудесники водились, а вверху, на Шелом-горе, ихний князь проживательство имел. Кудесники эти на камне жертвы своим богам приносили.

— Какие жертвы?

— Всякие... Да ты бывал ли когда на камне-то?

— Не приходилось.

— А я неоднократно лазил, — похвалился мальчуган, вытаскивая из-за пазухи краюшку хлеба. — Только с вершинки-то глядеть на воду боязно: глыбко, вода черная!

— Ты уж где у меня не бывал! — любовно промолвил дед. — С берега легко подняться, — добавил он, — покато идет на камень. А на самом высоком месте, что над омутом висит, площадка вот эканькая сделана, — рыбак отмерил руками пространство, занимаемое площадкою, — и желобочек от нея к воде проведен. На площадке кудесники жертвы закалывали, а по желобку кровь стекала...

— Как у черемис керемети, — живо сообразил Павел: — гуся, утку или жеребенка.

Старик значительно на него взглянул.

— Да, гуся али жеребенка... Они таких жеребят резали, что и слово-то вымолвить страшно!..

— Ой! — испугался здоровый малый. — Неуж чело века?!

— То-то вот, парнюженька!.. Кудесники — язычник народ, — для них что утка, что человек — все едино, ничего им не стоит загубить душу человеческую.

— Не потому ли Горекань-то прозывается?

— Ну об этом ты спроси у Камы-матушки: она скажет, а я не ведаю.

Такой ответ озадачил догадливого парня.

— Кама много знает, — в раздумье начал старик. — Помнит она, какая здесь в старину была дичь, — одни дремучие леса по ней стояли, а леса те зверем разным да птицей всякой были переполнены. И сама она, могучая да многоводная, рыбой кишмя кишела. Не забыла, как появились здесь русские люди, — от Москвы да господ своих бежали, — стали они жить в изобилие, на всем просторе и вольной волюшке... Видела родимая, как после зачали строить медные, железные и другие заводы... Да мало ли каких дивов и диковинок она видела на своем веку!.. Да, вишь, молчит она, ни о чем никому не рассказывает — наредкость, когда тайну какую выдаст. Не любит она этого... про дела-то да печали людские рассказывать.

— Да разве у реки есть тайны какие?

— Тайны-то? А вот ты спроси: отчего Кама теперь тихая да светлая, а то нахмурится и потемнеет, али вдруг щетиной встанет и почнет лютовать, словно на кого распрогневается и обозлится? Ну-ка, разгадай! Спроси еще: куда в ней девались раки? Два лета их не видим...

— Сказывают, мор на раков...

— Мор!.. Сотни годов ловили их, девать некуда было, а ноне мор... Да откуда он взялся?

— Да не от нефтяночки ли?

Рыбак покачал головой.

— Нет, парнюженька, дело это Камы, а мы своим умом до этого не дойдем...

Загадочные речи седовласого рыбака произвели свое чарующее действие: какая-то невидимая резвунья так дернула за крючок, что хозяин ботника чуть не выпустил из рук своей удочки.

— Хорошо поклевывает, — усмехнулся дед.

— Сорвала!.. Видно, щука большая схватила.

— Мешаем тебе... Ну-ка, Гарасимушка, отпихнемся да и тронемся к своему месту.

— Беседуйте! — удерживал баканщик. — Занятно бы послушать... Я люблю разные истории.

— После как-нибудь потолкуем, — сказал рыбак, упираясь веслом в берег, чтоб отвалить. — Тут у нас не только одна река, а всякая гора, каждый лог свои тайны хранят... Ину пору, когда ночи темные, они обозначаются: огоньками, свечками горят да бегают... Оттого, знать, и соловьи не живут: боятся они этих тайн... Прощай! Оставайся со христом! Тронь, Гаранюшка!

Загорелый мальчуган ударил веслами, и лодка поплыла наискось реки. Старик сидел на корме прямо, и белая голова его подымалась высоко; он загребал лопаточкой, служившей ему также и рулем, и помогал внуку. Удильщик проводил лодку глазами.

— Мудреный старик! — проговорил он про себя. — На что он намекает — поди, догадайся!.. А он умный человек, первейшим рыбаком по здешней местности почитается.

Павел посмотрел на Горе-камень... Ничего, все такой же, каким и был, только, словно, явственнее он обозначился.

— Чай, все сказки рассказывает, — отвернувшись, проговорил парень. — А кто знает, может и быть!.. — добавил он и поймал на лету с удочки плотицу.

Солнце поднялось довольно высоко, когда молодой баканщик вернулся на «пункт». Навстречу ему бросился котенок, испуская слезливый писк, взметнулись с говором куры, торопясь по-своему заявить хозяину, что они позаждались его.

— Проголодались! — ответил на приветствия хозяин. — Сейчас всех убаготворю.

По реке донесся благовест колокола. Павел снял картуз.

— У нас!.. — проговорил он. — К обедне зовут, — и перекрестился. — Экое диво: редко к нам на баканы звон доходит, а сегодня явственно слышать.

В характере Павла, между прочим, выдавались особенно две черты: оставаясь один, что бы он ни делал, всегда говорил вслух или, наоборот, погружался в глубокую задумчивость. Он говорил, давая корму домашней птице и своему баловнику, говорил, поливая грядки, говорил на рыбной ловле, с баканами и т. д. Даже предаваясь любимому своему занятию — чтению книжек, он часто рассуждал и говорил вслух. Библиотека его хранилась в лубяной коробке: за несколько месяцев «Четь-Минеи», подержанный учебник «Всеобщей географии» и тоненькая «Хрестоматия». Первые он купил на базаре у ходобщика, а две последние ему подарил за ненадобностью гимназист, которого три года тому назад он перевозил с одной пристани за Каму.

Управившись по хозяйству, чисто вымывшись и помолвившись богу, молодой парень для праздника нарядился в красную рубашку, надел суконные шаровары и новые сапоги, расчесал перед зеркальцем свои мягкие темные

волосы и вышел на площадку таким молодцом и свежим, что признательный за угощение петух, вытянувшись во фронт, громко крикнул на своем языке:

— С праздником вашу милость, Павел Иванович!

Против избенки, ближе к краю площадки, на столе приятно пошумливал вычищенный самовар, за которым теперь сидел Павел Иванович. Он кушал чай с лепешками, не без удовольствия поглядывал на баканы, качавшие ему с реки своими шляпками, на синеватый лес. Красный яр, густые зелена хлеба и прекрасную даль, залитую молодым светом утреннего солнца. Выпив несколько чашек, проворно управившись с двумя лепешками и налюбовавшись вдоволь красотами природы, он развернул лежавшую перед ним книгу и углубился в чтение. Хотя содержание ее и было ему знакомо, он даже знал почти всю наизусть, тем не менее он всякий раз перечитывал ее с новым интересом. Его занимали страны света, где какой народ живет, чем промышляет и т. д.; но больше всего его интересовали названия морей, рек, островов; с каким-то особенным наслаждением произносит он: «Атлантический океан! Рейн, Рона...» Или: «Куба, Ямайка, Порторико!..»

— Хорошие слова, — хвалил он всякий раз эти названия. — Есть и в России: Северная Двина, Печора, Лена... Города опять такие: во Франции — Париж, Лион, в Англии — Лондон, а у нас Петербург, Москва, Ферган, Маргелан, Владивосток!.. Последний тысяч за семь верст будет, при устье реки Амура, главный военный порт на Великом океане... Много нонче туда переселенцев проехало... Что только за обширнейшая страна Россия, невпример больше всей Европы! Да, обширна, а жить человеку тесно... Какая бы тому причина была?

Задумался над этим вопросом Павел Иванович; но решение его оказалось довольно трудным. Не найдя в своей умной голове ничего подходящего, обратил он свои взоры на сторожку, от нее перевел на сытого, крепко спавшего у плетня котенка, устремил на реку, где покачивались баканы, крепко привязанные за якорные лапы, и разразился таким восклицанием:

— Эх, кабы ход был даден!..

Отобедав вслед за чаем, Павел Иванович отправился на высокую гору, откуда еще шире открывался горизонт и виднелись самые отдаленные селения. Взгляд его приковал крест ближней сельской колокольни: перед ним вы-

ступило родное село. Парню живо представилась его семья. Как вчера обрадовалась ему мать! Ласково с ним поговорил и отец, любовно заглядывал ему в лицо и Ваня братишка... Трудно без него семье, особенно когда наступит страда! Но ничего не поделаешь: придет осень, хлеба не успеют обмолотить, а уж потребуют подати, — «у нас их шибко выколачивают»... Надо дров на зиму заготовить, по дому кое-что справиться и самим год прожить, а хлеба своего до пасхи нехватает... Поневоле идешь искать заработка... «Вот, из разных губерний все на новые места идут; из нашего села семей десяток уехали: хорошо устроились, отписывали к домам... Не захотят только родители старину покинуть, а те забрал бы я их всех и махнул туда; может, пожил бы мы там, бог благословил всем — хлебом и скотиной, тогда бы и в разных местах побывал, на все нагляделся!.. Через четыре-пять годов брат в солдаты уйдет, ну, и проколотишься здесь всю жизнь, ничего хорошего не увидишь и не узнаешь!..»

Так думал Павел Иванович, посиживая на горе и не отрывая глаз от родного села. Глядел, думал и вдруг затянул:

Не белы-то снега в поле забелелись...

Э-э-э-ах да-а забелелись!..

#### IV

Между тем как любитель географии, забравшись ближе к небесам, предавался разным думам и изливал свою душу в песнях, сиротливая избенка прислушивалась к трем новым голосам, которые свидетельствовали о присутствии гостей. Два голоса принадлежали особам женского пола и один — особе неизвестного пола, так как голос ее не поддавался точному определению, хотя не было никакого сомнения, что голос этот принадлежал ребенку. Действительно, две женщины — одна молодая и с ребенком, одетая по-городскому, а другая пожилая, в costume странницы — заняли место на лавочке и разговаривали. От наблюдательности одноглазой хижини не ускользнуло также, что Мосейчев работник сложил около молодой на траву две подушки, старый кожаный саквояж, узел и большой шерстяной платок.

— Вещи тут, — проговорил работник. — Деньги за перевоз хозяин получит.

— Далеко ли сударыня изволите ехать? — спрашивала пожилая, в костюме странницы.

— Не очень далеко... — отвечала молодая: — вниз по Каме мне нужно... Да чего ты хочешь? Куда тянешься? — последние слова относились уже к ребенку.

— Мальчик или девочка? — осведомилась пожилая.

— Девочка.

— Годочек-то ей минул?

— Нет, одиннадцать месяцев.

— А еще-то у вас есть деточки?

— Всего одна.

— Что же другие-то помирали, или в супружестве вы не очень давно?

— Недавно.

Молодая женщина говорила неохотно. Она была среднего роста, покрыта цветным шелковым платком и в черном драповом бурнусе. В лице ее, несколько продолговатом, с широким носом, опавшими щеками, замечалось впечатление какой-то растерянности, и большие карие глаза из-под черных бровей смотрели грустно. Но когда эти глаза обращались на ребенка, то мгновенно на свежие губы ее слетала улыбка, и лицо тогда делалось чрезвычайно милостивым. Чем-то женственным, мягким веяло от всего существа этой тихой женщины.

Другая, в костюме странницы, была женщина сухая, высокого роста и с лицом византийского письма: большое с чертами крупными и жесткими, пергаментного цвета, украшенное зеленовато-серыми глазами, оно глядело смело и решительно, словно вызывало на бой.

Такого рода особе ничего не стоило понять молодую женщину, с которою встретила здесь только в первый раз. Заметив, что собеседница скупа на слова, и что одними вопросами на откровенный разговор ее не вызовешь, она тотчас же прекратила всякие вопросы и принялась рассказывать о себе.

Начала странница с того, что была в Казани, куда ходила на поклонение местной чудотворной иконе; отсюда мимоходом завернула в деревню к своему племяннику, который дал ей, бобылке, угол и кормит ее; теперь пробирается на «Святой колодец». Бывала она и у Сергия преподобного, и в Киево-Печорской лавре, и во многих святых ме-



стах; не приводилось только побывать в святом граде Иерусалиме, о чем душа ее много печалится и тоскует. Но рассказывала паломница без всяких воздыханий, певучести и заунывности в голосе, чем отличаются настоящие странницы; наоборот, она говорила совершенно просто и нисколько не заботилась о том, чтобы вызвать слезы умиления на глазах слушательницы.

— Так вы как ходите, — робко спросила молодая женщина, выслушавши рассказ паломницы: — по обещанию или по доброй воле?..

— Нет, сударыня, — прервала странница, — никакого обещания я не давала, а привыкла ходить. Смолоду ходила и гуляла — молодость свою тешила, а как на пятой десяток стукнуло, возымела охоту ко святым местам...

В это время, спустившись из-под облачных стран, во всей красе праздничного наряда предстал молодой бакащик. Он снял картуз и поклонился обеим женщинам.

— Здравствуй, Павел Иванович! — встретила его боготомка. — Вот, я опять к вам зашла.

— Просим милости!

— Не знаете, скоро ли пароход сверху будет? — спросила молодая женщина.

— О, долго еще вам придется его ждать, Арина Степановна. Самовар, поди, надо для вас справить?

— Экий догадливый, — похвалила странница.

— Если мы успеем до парохода...

— Пять раз накушаетесь! — удостоверил Павел Иванович и кинулся во дворик.

Пока он бегал по воду на ключ и хлопотал около самовара, подошел Иван Моисеевич.

— Сколько вам за труды? — спросила молодая женщина.

— Что пожалуете... Мы не перевозчики, другим делом занимаемся, из одного уважения вас переправили.

— Сейчас я вам заплачу...

Но тут произошло маленькое затруднение: кошелек с деньгами находился в кармане платья, а обе руки Арины Степановны были заняты.

— Позвольте, я подержу вашу дочку!

— Не беспокойтесь... Она к чужим не любит.

Дальнейшие попытки оказались безуспешны: ребенок прядал, тянулся и каждую минуту мог выскользнуть из материнских рук.

— Делать нечего... Подержите минутку! Одеальце-то...  
Вот так..

Громкий плач, вскидывание ручонками и сердитое болтание ножками ознаменовали переход ребенка на чужие руки.

— Не плачь, Сонечка, не плачь! — улыбаясь девочке и поспешно доставая кошелек, говорила мать. — Вот! — подала она Моисеевичу двугривенный. — Ну, моя плакунья!..

Но промысловый человек остался недоволен.

— Маловато пожаловали, Арина Степановна! Еще надо бы двугривенный...

Арина Степановна не замедлила вручить ему другую монетку.

— Вы сами не назначили, сколько вам следует, а бакашички с меня никогда больше пятнадцати копеек не берут...

Моисеевич, не видя Павла, счел нужным обидеться.

— С кем сравнили! — начал он заносчиво. — Бакашичкам по гривеннику можно брать, они народ свободный, а я человек занятой, от дела своего оторвался, промысел для вас оставил... А ежели без меня опущение какое случится? Чьи интересы тогда должны страдать? Это тоже следует понимать... Кажется, вам должно быть известно, так как супруг ваш доверенным в хорошей экономии служит.

По всей вероятности, назидание продолжалось бы долго, если бы не вступилась паломница.

— Ты ведь получил, чего ждал, так не трепли даром язык. Проваливай!

Из двери выглянуло лицо Павла Ивановича.

Столь внезапное нападение озадачило Ивана Моисеевича; но, узнав лицо паломницы, он оправился.

— Я за свои права стою. Притом же не к тебе, а к госпоже Акимовой слова мои относились...

— Попробовал бы ты еще меня, странную женщину, словом обидеть или обобрать, так я тебе показала бы права. Знаю я вашего брата, немало тоже таким-то скалдырникам, как ты, носы утирала!

За плетнем кто-то фыркнул.

— Чего переминаешься? — не давала опомниться промысловому человеку странница, очевидно, намереваясь еще раз показать на опыте, как она утирала скалдырникам носы.

— Оставьте, — попросила госпожа Акимова.

— Никак этого нельзя, сударыня! — воспротивилась

храбрая женщина. — Если всякому обирале спущать, так от них житья на свете не будет... А и дурак же ты набитый! — поворачиваясь к Мосеичеву, продолжала она: — я его отчитываю, а он стоит! Другой на его месте давно бы убежал со стыда, а он чего-то дожидается! Экие глаза бесстыжие!

Ня слова больше не говоря, Иван Мосеичев нехотя отошел и лениво отправился во-свояси.

— Мосеичев! — крикнул бакащик. — Что же ты топор не принес?

— Позабыл, — не останавливаясь, ответил промысловый парень. — Невелика, чай, важность, что день-два лишних у меня пролежит!

— Эка ты голова, чудак! Нам самим топор нужен.

— Занесу, будет случай.

Бакащик не стал терять времени и побежал к женщинам.

— Я стол для вас накрою вот тут, в сторонке, а то солнышко больно печет.

— Вот умница-то, так умница! — промолвила богомолка. — Догадливый! Ну, как его не похвалишь?.. Для меня-то лишний чайничек найдется?

— Что вы, — перебила Арина Степановна: — прошу со мною откусать... У меня в сумке подорожники, курица жареная... Сонечка, да о чем ты плачешь? Покусать, что ли, желаешь?

— Коли так, бог вас спасет, сударыня! — поблагодарила паломница. — От приятной беседы и угощения я никогда не отказываюсь.

Молодая мать кормила грудью ребенка и тихо его укачивала.

— Павел Иванович, — обратилась она к хлопотавшему парню: — сумку-то мою потрудитесь на стол положить.

— Позвольте, я помогу, — поднялась странница.

— Так вы и чайницу, и съестные припасы из сумки выньте... Мне самой нельзя распорядиться, пока дочка не заснет... Да она уже глазки закрыла... Сейчас я уложу ее... Павел Иваныч, бросьте вон туда подушку.

Через несколько минут обе женщины сидели за самоваром. Арина Степановна предложила чаю и бакащику. Тот чашку принял, но отошел с нею поодаль и присел у окна.

— Со свиданием, Арина Степановна, — беря налитое блюдечко, обратилась странница. — Будьте здоровы!

— Кушайте!.. Вот пирожки с говядиной, творожнички...

Кушайте! Извините, не узнала вашего имени и отчества.

— Ильинишна! — отрезала богомолка. — По имени Марья, а зовите просто Ильинишна.

— Хотела вас спросить: в Казани бывши, вы не слышали ничего о прошлогодней болезни?

— О планиде-то? Как же, слышала: ожидают ее опять; но чтоб народ помирал, так господь еще миловал. Вот лето наступит, тогда окажет себя.

— Очень мы опасаемся ее. В прошлом году кругом много людей умирали, из нашей экономики человек пятнадцать жизни лишились... Доктора велют везде прыскать, в пище соблюдать и сырую воду не пить.

Ильинишна энергически тряхнула головой.

— Ничего против планиды доктора не поделают... Вот я про себя вам расскажу, сударыня... Молоденькая я еще была, жила у господ в услужении. Также вот эта планида низошла. Испугались очень. Народ валом валит, а в усадьбе нашей все благополучно... Слава богу. Понадобилось в город ехать за покупками; никто не решается, — боятся люди. Поехала я. Господа можжевельником окурили меня, дегтем вымазали. «Смотри, Марья», наказали: — ничего там не ешь и не пей!... Приехала я в Рыбинск — Ярославской губернии урожденная я, — закупила, что нужно, и пошла по трактирам, начала все есть и пить... Грешница ведь я: — с молодю любила и вино пить, и погулять — барчук наш все-му меня обучил. Три дня я пробыла: народ в городе мрет, то-и-знай несут покойников, а я невредима. Вернулась. Здорова!.. Поскорости планида и в наш дом заглянула: молодой барин захворал, крепко она его прихватила. Родные, господа, подойти к больному не смеют, трясутся от страха, а я — ничего, одна при нем была и отходила: выздоровел барчук. Из дворни троих вырвала. Кому, сударыня, предназначено, тот умрет, а я жива осталась. Уж если низошла планида, или как по-другому холерой или чумой называют, так она выберет, кого ей надобно, а доктора ничего против нее не властны сделать. Поди, потягайся с богом-то!

— Известно, от божьего гнева ничем не уберешься... Никак уж проснулась?

Арина Степановна встала к ребенку. — Вот завсегда она у меня так, — беря улыбающуюся девочку на руки, говорила мать. — Минутки не даст в покое побыть, чайку с ней никогда не напьешься.

— Позвольте-ка дитю, — подвернулся бакащик, — посадите ее на свою шаль, а я утеху ей достану, — и поманил к себе «баловника». — Может, займется она...

Ребенок обрадовался, увидя котенка, и дал матери посадить себя на разостланный платок; Павел Иванович, легиши на живот, поднес к ручонкам девочки «утеху».

— Погладь киску, погладь! — говорил он. — А ты лежи смирно, не хитри!

Богомолка полюбовалась группюю и, участливо посмотрев на лицо молодой женщины, каким-то особенным голосом проговорила:

— Достается же вам от малютки, Арина Степановна!

— Да таки есть, — ответила та, лицо ее осветилось улыбкой и она доверчиво взглянула на собеседницу. — Но зато веселее с нею, а то в экономии от тоски умереть можно... Целый день в покоях сидишь одна, слова почти не с кем сказать, и глядишь на горы да на небо. Работники и работницы — из крещенов<sup>1</sup>, — по-русски что говорят, слова одного у них не поймешь. Сонечка одна и утешает.

— А супруг ваш?

— Он при занятиях весь день. К ночи управится, придет ко мне усталый, измученный... Да он у меня не совсем здоров. — Арина Степановна подавила вздох.

— Чем же он у вас болен?

— На желудок все жалуется... Да славу богу, теперь словно полегче ему немного. А первый-то год, как я за него вышла, не знала, что и делать: того и ждала, что он помрет.

— Сколько же лет вы замужем?

— Скоро два исполнится.

— Так вы не за хворого ли и вышли?

Арина Степановна потупилась.

— Нечаянно это случилось, — начала она, подняв зарумянившееся лицо. — Родителей у меня давно в живых нет, один только дедушка. Сами мы из мещанского сословия... Приехали мы с ним в Нижний... Бывали вы там?

— Как же! На Волге!

— Нижний-Новгород находится при слиянии Оки с Волгою, — определил положение города любитель географии. — Он замечателен своею ярмаркою, первостепенною во всей Европе.

<sup>1</sup> Крещёнами называют всех без различия язычников и магометан, перешедших в православие.

— Точно так... Приехали мы, — с Михаилом Андреичем и встретились; ему тоже по делам случай выпал там быть. Понравились мы друг другу. Сделал он предложение. Дедушка говорит: «Хороший он человек, я давно его знаю, но хворь в нем какая-то есть. Гляди, тебе с ним век жить...» Сама вижу, что жених здоровья слабого: но оттого словно бы мне еще больше его жалко сделалось. Молодой — ему всего двадцать четыре года тогда минуло, — один, без родных... Может со мною он поздоровеет; веселее у него на душе будет. Твори господи волю свою, подумала, и сказала о своем решении дедушке... Из Нижнего мы уж повенчанными в экономию приехали. Дедушка меня наградил... Первое время муж точно поправился, на боли не жаловался, а месяца так через три с ним хуже стало.

— Отчего же бы с ним такое, сударыня?

Молодая женщина вздохнула.

— Сиротой он круглым после родителей остался. Сызмалетства по чужим людям жил, много горя и нужды изведаль... На свою настоящую должность он поступил не очень давно... Вот прежнее-то в нем и отозвалось.

— Как не отозваться! Горе да нужда кого не изломают.

— Если бы он не такой заботливый был, то и болезнь меньше бы его беспокоила. А он дня без заботы не проживет: хозяина-то интересы надо соблюсти, да и рабочих чтобы не обидеть, а это очень трудно... Жалостливый он у меня, добрый: сам из крестьянской семьи, так понимает, что значит для рабочего лишняя копейка.

— Ну, так вы не беспокойтесь много, сударыня, — с убедительностью подхватила Ильинична. — Перед богом добродетель вашего супруга втуне не останется: он пошлет ему здоровья.

Щеки Арины Степановны еще больше покраснелись, и она с какой-то грустью и одушевленно продолжала:

— Кумысом лечится. Вторую неделю всего пьет, но говорит, что лучше ему. Может и не лучше, но меня желает успокоить. Впрочем, лицо свежее стало, и боли позатихли, а то по полу так и катается!..

Павел Иванович усердно занимал девочку. Он заставлял котенка прыгать через руку, ставил на задние лапки служить и подталкивал его к ногам девочки.

— Посыпь ему пирожка, Сонечка! — говорил парень. — А вот мы заставим его новую штуку показать.

Арина Степановна, поощряемая сочувствием Ильиничны, все больше раскрывалась и говорила:

— Есть у меня и другое горе, Марья Ильинична, сестра больна... К ней-то теперь я и еду.

— Вот напасти! Чем она недомогает?

— Сердцем она нездорова. Доктор говорит, что это после родов с нею сделалось. По началу никто на замечание не брал; разрешилась она благополучно, а год спустя припадки открылись. Доктор велел привезти: «Акушерке надо осмотреть ее», сказал мужу сестрицы... Но не от того, полагаю, с нею припадки. Когда она в девушках была, тогда еще с нею приключилось...

— Не влюблены ли в кого они были? — прервала Ильинична. — От этого, особливо негодный какой по сердцу придется, с молоденькими девушками бывает, сударыня.

Румянец гуще залил щеки Арины Степановны.

— Не знаю... Может быть... Да вы не подумайте чего-нибудь серьезного... — с жаром и энергией добавила молодая женщина. — Нет, она честною девушкой вышла замуж!..

— Что вы, сударыня! Разве я этого не понимаю... Поправилась ли тогда сестрица-то?

— Старушка одна вылечила, но ее нет уж на свете: померла она. Вышла сестра замуж, — вдового судьба ей послала — два года здоровою была, а на третий и заболела.

— Старое-то отрыгнулось!

— Найдет когда припадок на сестру, — лежит без всякого движения, как мертвая, и только ей все представляется.

— Что же ей, голубушке белой, представляется?

— Больше дедушка покойный, его видит, зовет ее к себе: «Приходи к нам поскорее», говорит, «мы для тебя и место приготовили». Очувствуется, придет в себя и заговорит: — Какой он хороший, весь в золотых локонах, и лицо у него пресветлое. — Мы переглянемся, спросим: да кого ты видишь, Надюша? — А вы разве не видите его? — ответит. — Ангел здесь! — Где ты его видишь? — А вот он у правого моего плеча стоит. За душою прилетел... Умру я скоро. — Замолкнет, лицом в правую сторону оборотится... — Повремени, — жалостно взмолится, и на глазах крупные слезы выступят: — дай хоть немного малых деточек мне вырастить... Вымоли ты у бога милость, не ради меня, грешницы, а ради их безвинных душенок.

— Владычица небесная!.. А молодая сестричка?  
— На два года меня постарше — двадцати трех лет..  
Ее очень жалко, а пуще деток-то...

Надоело ли Сонечке играть с котенком или, обернувшись, она увидела катившиеся по щекам матери слезы, только неожиданно заплакала и начала капризничать.

— Ко мне, доченька? — утирая платком лицо и улыбаясь обратилась к ребенку Арина Степановна. — Сейчас возьму тебя.

Девочка утихла. С радостью кинулась она на шею матери и весело засмеялась.

— Не пора ли мне, Павел Иванович? — вспомнила молодая женщина о пароходе. — Не пропустить бы как...

— Кушайте на здоровье! — с необычайной живостью ответил бакащик. — Да я, пожалуй, взбегу на гору: оттуда дым видать издалека.

Павел убежал. Быстроту ног и крепость легких на этот раз он показал еще небывалые: точно по ровной дороге, а не крутым уступам, взбирался на гору.

Лицо Арины Степановны приняло прежнее выражение: она разом как-то стихла, и мысли ее куда-то далеко унеслись. Странница больше ни о чем ее не спрашивала, говорила сама и старалась утешить молодую женщину: оказалось, что у этой суровой женщины, видевшей на своем веку разные виды, нашлось и искреннее чувство, и душевное слово.

— Если господь приведет, и мы с вами опять встретимся, я перескажу вам всю мою жизнь. Насмеетесь-то вволю и на сердце будет спокойнее, когда узнаете, из каких только бед и напастей меня господь не выносил. А почему так? Бодрость духа всегда имела, и потому от меня не отступала благодать.

— Да вы ко мне с богомолья зайдите. Я буду вам рада. Отсюда до нас всего верст десять...

Запыхавшийся Павел известил, что пароход не ближе как через полчаса подойдет:

— Вдали дымок чуть-чуть еще видать... До нас по кривулям верст семнадцать ему бежать... Вы кушайте спокойно. Я скажу, когда на лодку собираться.

Арина Степановна, укачивая на груди дочку, тихо говорила:

— Может бог и помилует сестру... Ведь если помрет, деток останется трое, маленькие, погодки... Как им без ма-



тери-то будет? Вот их, деток-то, может господь пожалеет...

— Будьте спокойны, сударыня! Он не отнимет у них маменьки...

— Сонечка-то видно уснула? — полюбопытствовал Павел Иванович и улыбнулся.

Мать кивнула головою.

— Так я потихоньку да не торопясь все соберу и уложу вам.

## V

Вечером пришел Василий Семенович. Приятели обменялись между собою новостями и рано легли спать, чтобы утром вместе с солнцем приняться за работу. Старший как повалился на войлок, так и заснул; но младший долго не смыкал глаз. Все, что за день он видел и слышал, мешало ему заснуть: рассказ жены доверенного стоял в ушах, кудесники и тайны, о которых говорил дед, пение соловья и — он едва не захохотал — «проборка» странницею Моисеичева...

— Ловко!.. Знатно пробрала, — шептал он, глядя на темные стены и потолок. — Доверенный хворает... Какой он хороший человек! Никто из рабочих на него не жалуется... А жена-то у него тихая, доброй души... Крепко она о сестре тужит... Детки у той малые... Вот и поди: живут при недостатках, а горя полон дом... Соничка... играла со мною... Ильинишна-то... справедливый она человек. И смела, — любому мужику не уступит. Моисеичева-то, Моисеичева как убрала!.. А ведь придется самому за тспором съездить...

До полуночи шептал и думал парень; наконец, сон и его взял.

Четыре дня с утра до ночи работали баканщики на реке. Погода стояла ясная, теплая, совершенно летняя, дни были жаркие, только ночи свежие, — на Каме редко бывают теплые ночи. Вода начала заметно убывать. По обоим рукавам Камы, в разных местах, замелькали красные и белые шляпки, поправленные и подкрашенные на пункте маячные столбы, словом — все исполнено по предписанию, даже больше: пожалуйте, господин казенный лоцман! На нашем пункте все готово, Алексей Максимович.

Баканщики разделили участок: младший взял самую дальнюю часть, от Красного яра и ниже по коренной, а старший ближнюю, стрелку и воложку. Павел Иванович,

окончивши установку последнего бакана, с большим удовольствием прокатился на ботничке по своим владениям; проезжая между выстроившимися рядами своих подданных, он довольно улыбался и милостиво кивал им головою.

— Стойте, дурачки, стойте! — поощрял он, кидая благосклонные взоры направо и налево. — Держитесь крепче за якорь и никакая буря ничего вам не сделает... Вот погодите маленько, я вас звездами изукрашу: каждую ночь буду вам на головке разноцветные фонари ставить, и всякий пароход издалека вас будет видеть.

На пятый день погода изменилась. Еще накануне вечером Василий Семенович, посмотрев на закат, сказал товарищу:

— Непременно ветреная погода начнется. Вишь, как все небо пышет! Хорошо, что мы управились загодя.

С ночи подул «низовой» и встревожил покой реки. Павел Иванович, пользуясь отдыхом, рано вскочил и отправился на рыбалку, побуждаемый не столько жадностью к добыче, сколько любовью к охоте и желанием послушать соловушка, которого за работою не приходилось ему больше слышать.

Несмотря на волнение реки, он поставил парусок и быстро помчался до рыбалки; но в обратный путь ему пришлось-таки поработать: река «всщетибилась», и волны сердито хлестали по бокам старого ботника, затрудняя ему ход и подбрасывая как щепку. Но здоровому малому такие пустяки были нишчем: то ли он выдвигал и с такою ли мелюзгою справлялся! Рыбаки торопились поскорее выбрать сети, башкиры-крещены таскали доски с рыбалки приказчика, Моисеичевы убирали только что опущенные сети.

К полудню река совсем разыгралась: встречу воды катились бурые волны, сверкая на солнце бледножелтыми и косматыми гривами, набегали яростно одна на другую, вздымались аршина на два кверху, бешено неслись вдоль и ширь и разбивались о берега, покрывая их белою пеною. Ветер рвал и свистел.

Баканщики, поглядывая из оконца на волю, ничего доброго от такой погоды не ожидали.

— Ежели к ночи не утихнет, так уж наверно трое суток проозорует, — говорил Василий Семенович. — Да гляди, настоящая буря подымется.

— Удивленье, — заметил Павел: — солнышко светит, и

на горах спокойно, а там ветер, и река бушует... Смотри, как наши-то форсуны пляшут!.. Не оторвало бы?

— Не оторвет.

— А то не смахать ли нам? Поглядели бы?..

— Ну, я не поеду, да и тебе не посоветую... Помнишь, в прошлом лете тебя опрокинуло? Ладно, что случилось недалеко от стрелки, доплыл ты до нее да ухватился за кусты, а то ни за грош сгинул бы...

— Ну, тогда, чай, поновости еще было, — не сноровил и перекувырнуло, а теперь седая чертовка меня не надует.

— Разговаривай. Ты не степняк, а природный поречанин: характер Камы с детства знаешь и бури видывал.

Ночью ветер забрался и на уступы гор, стучался и пел в оконце, назойливо врывался сквозь дырявые пазы в избенку, гудел в печной трубе и пробовал устойчивость плетеного дворика.

Следующий весь день ревела уж настоящая буря. Взбешенные волны кидались одна на другую, отчаянно между собою боролись и выпускали, как будто от невыносимой боли, мучительные стенания; над разъяренной рекой вздымались песчаного цвета столбы, а горизонт закрывался такого же цвета разорванными занавесками: это вихрилась и стояла водяная пыль, смешавшаяся с поднятыми ветром песками. Извилистые края берегов сплошь окаймлялись белою бахромою, словно первым льдом в осенние заморозки. Окрестность, горы, лес, поля и далекие селения замутились и потонули.

Проходившие мимо пароходы, запаздывавшие на полусутки, тяжело двигались и покачивались из стороны в сторону, поминутно вздрагивая своим массивным корпусом. Ветер неистово визжал, свистел и метался, не зная куда и зачем... Что-то невыразимо тоскливое было в этой картине. что-то похоронное чудилось в этом гомоне расвирепевшей бури на Каме! И тем сильнее охватывало чувство тоски, что вверху попрежнему синело безмятежное небо и весело сияло солнце...

— Как бы нас и с хороминкой к утру не снесло в Каму, — шутил Василий Семенович. — Как ты полагаешь?

— Так что? Чай, услышим, как понесет, — успеем выскочить.

— То-то! Не проспай, парень...

— Не опасайся: тебя разбуджу.

Василий Семенович заговорил другим тоном.

— Что с нашими полями делается! Колос выбежал, тонкий стоит... Пожалуй, всю рожь теперь смотает.

— А может на горах и нет ветра?

— Как не быть. Погляди: уфимская сторона пеленой желтой подернулась, ветер и там потешается.

— Дождь пройдет, так ничего, колосок опять выпрямится.

— Дождей-то вот давненько нет, Павел Иванович!.. А греет шибко, земля-матушка закоростела.

— Чего земля! Воду-то как день ото дня высасывает, сколько отмелей появилось...

— Недаром Вавилов писал, что испарения произойдут и горизонт воды понизится. Тоже с чегонибудь берут начальники, не наобум пишут. Все у них там предусмотрено и предугадано.

— Ну, ошибаются тоже... По началу весны говорили, что нынче вода простоит до июля, а и в мае она пошла на убыль.

— Благодарю угодников божиих: ежели бы до июля большая вода простояла, так нам с половины мая на баках не быть и жалованья не получать. Шутка сказать: в эту навигацию мы за полтора месяца жалованье получим!

— Подожди, Василий Семенович: что скажет осень? Может в сентябре заморозки наступят, тогда и сойдет на прошлогоднее.

Василий Семенович подумал.

— Бог знает. Но по моим приметам, до покрова движение не прекратится... А что, Павел, ты хоть бы книжку дочитал: время-то и скоротали!

Павел устремился к своей коробке.

— Тебе из чего почитать-то: из географии, жития, или...

— Читай из жития.

Парень достал книжку, ударил по ней рукою и присел к окошку.

— Какое тебе житие почитать?

— Какое попадет, то и читай.

Василий Семенович прилег на нары.

Павел развернул на житии Ефрема Сирина. Перекрестился и начал. Читал он толково и внятно; на некоторых местах приостанавливался и думал. Василий Семенович, повернув лицо в сторону чтеца, слушал внимательно, делая лишь по временам замечания вроде следующих: «Как угодники господни жили!» или: «Конечно в пустыне легче сла-

сти душу»... Чтение продолжалось безостановочно, до самого конца жития. Василий Семенович разка три легонько вздохнул.

— Конец?

— Да. За ним новое житие...

— Прочитай такое, где про пустыню больные.

Павел Иванович отыскал и прочел житие другого пустынножителя.

— Хорошо! — одобрил слушатель. — Как в старину спасались! Бросали город, дом, богатство, а сами в пустыню удалялись. Хорошо!

— Поди теперь редко такие люди встречаются, — заметил Павел.

— Может где и водятся подвижники... Но трудно... В старину все было просто и безвозбранно: пожелал приобрести царство небесное, взял, оставил местожительство и поселился в лесу или где в пещере, — молись там ежедневно и еженощно, никто не помешает!

— Кто захочет, так и теперь, чай, уйдет в пустыню...

— В пустыню? Никак не возможно. Перво-на-перво, ежели придет тебе благое желание спастись, ты должен из волости пачпорт взять, а то с дороги к спасению тебя обернут и на манер беглого пригонят. Во-вторых, ежели и пачпорт выправишь, ты должен на свое пропитание и уплату повинностей заработать, а пачпорт свой возобновить, то есть, другой выправить... Толкуют, скоро их книжками заменят, но от этого к пути спасения души ты облегчения никакого не получишь, да пожалуй и пропитание человеку труднее будет достать. Ну, и третье, нигде теперь пустыни ты не отыщешь, потому земля кому-нибудь да принадлежит, и с нее оброки всякие идут. Попробуй ты, засядь спастись хоть в Чагандинских пещерах, что супротив устья Белой, на берегу нашей Камы; место там дикое, никому ненужное и негодное, — один только камень-песчаник, и пещеры самые те пустеют, а залезь ты в них и обоснуйся на положении старца-пустынника, — тебя на другой же, много на третий день чагандинские мужики из святого убежища выволокут и на полведра водки за фатеру стребуют, а сверх того за необычное местожительство к уряднику или прямо к становому предоставят. Вот ты и уготовляй себе, как знаешь, путь к царству небесному.

— Что ж, кто захочет, претерпит: святые-то или мученики разве малс страдали!

Василий Семенович посмотрел на серьезное лицо приятеля и улыбнулся.

— Вот ты читаешь, Павлуша, понимаешь все, и умом тебя родители не оскорбили, а не берешь того в расчет, что угодники или мученики терпели от язычников, за что и венцы светлые на головы получали, а спастись они могли, где им было угодно, а пищу имели себе от бога или добрых людей. А ты подумай-ка: как тебя, такого здорового да хорошего парня, чагандинские мужики из пещеры выволокут, а из стана с рассыльными под караулом как побродяжку в родное село пригонят... Да от одной срамоты в Каму вниз головой кинешься и не только не уготовишь царствия небесного, а прямо низвергнешься в ад крошечный.

Серьезное выражение не сходило с лица молодого бакащика.

— По-твоему, Василий Семенович, выходит, что мы отступили от правил угодников господних, живем теперь не по-божьему, не по-христиански?

— Ну, ты далеко больно уехал, — ответил старшой. — Жить по-христиански нам велит сам господь, и многие так живут... все от человека зависит!..

— погоди! Я что-то в разум не возьму... Жить по-божьему можно, а спастись запрещено?

— Спасайся в миру или, примерно, в монастыре и других местах, где законом показано.

— А в пустыне невозможно?

— Я говорил: выволокут и в стан!..

— Чудно!

Эту ночь бакащики провели тревожно. Шутка Василия Семеновича чуть не обратилась в горькую правду. На реке шел какой-то грохот, порою доносился треск и адские вздохи, частый и пугающий рев паровых свистков, разрываемых налетами буйного ветра.

— А ведь это паровоз трещит! — слышалось в ходившей ходуном избенке. — Долго ли до греха, отломает что или повредит... А то и столкнуться могут.

— Буря здоровая!

По ветхой крыше точно злые духи летали с визгом и хохотом, приподнимали стропила и, заглядывая в оконце, злобно чему-то смеялись; сторожка вся тряслась, как в лютой лихорадке, и в ней свободно разгуливал ветер. Во дворике испуганно переговаривались куры и несвоевременно, бестолково кричал петух.

— Словно бы маленько у нас свежо в горнице?

— Эка, сколько жару в тебе, парень! Холод стоит, как осенью. Ко мне под тулуп инды забрался.

— Мне по лицу попахивает, да ничего — легче воздух. Помолчали.

— Что-то и соловушка уж нечуть!

— За эким гулом да треском разве услышишь. Да вряд ли он в такую бурю поет.

Снова что-то с визгом ударило в крышу и закружилось по ней.

— Котенок-то твой где?

— Спит. Около меня свернулся... Василий Семеныч!

— Что?

— Ты давеча говорил насчет испарений. Как ты полагаешь, почему начальники все знают?

— По высоким наукам доходят. Их в Москве, в Питере обучают, такие для господ там школы заведены.

— А нас почему высоким наукам не обучают?

Молчание.

— Нет, скажи! Почему?

— Потому что мы крестьяне, и денег у нас не имеется. Поезжай-ка туда, во что дорога обойдется? Там надо пить-есть и одеться как следует.

— Так здесь, по селам бы такие училища заводили.

— Должно быть, мы с тобой еще недостойны...

Павел обернулся к старшому.

— Вот старик Егор мне про кудесников сказывал. На Горе-камне они жертвы принесли... Что за кудесники? У меня и в книжках они есть...

— Не знаю. Может не чужь ли: она здесь в старые годы проживала... А то под Елабугой есть городище, — башня от него осталась, — так тоже, рассказывают, там кудесники эти проживали и брали с судохозяев деньги: кто им платил, того суда благополучно мимо городища проходили, а кто пожалеет денег, того караваны в мелкие щелки разбивались: волшебство кудесники напускали. А кто ж их знает! По одним сказам — кудесники, а по другим, что тут монах с дочерью жил и чорт собирался на ней жениться, да петух помешал.

— Как так?

— Чорту приглянулась дебушка, а отец за него выдать не пожелал: родство не понравилось. Чорт пристаёт: «Отдай, а то напакою тебе». Монах умный был: «Построй»,

говорит, «в одну ночь до заутрени церковь, — отдам за тебя свою дочь, а не построишь — проваливай дальше». Условие промежду себя сделали, на бумаге кровью написали. Ну, с вечера чорт и взялся за работу: таких камней натаскал, что уму непостижимо, — на полусотне подвод один камень не сvezешь, а он, чорт-то, не одну тысячу, может, их припер... Да видно очень уж торопился, много по дороге обронил — вся гора под городищем, где пароходная пристань, камнями завалена. Приготовил материал и церковь стал класть. Бут под фундамент выкопал, живой рукой стены вывел и начал свод уж делать... В это время, откуда ни возмись, петух запел. Чорт так со свода в тартарары и кувырнулся... После этого он к монаху уж ни разу не подъявлялся: стыдно ему очень было.

— А правду ли говорят, что чудь сама закопала себя в землю?

— Рассказывают. Со всеми своими богатствами и скотом похоронились.

Страшный треск раздался над головами баканщиков, завывало и захлопало, точно леший в ладони, и тяжело ударились вблизи о землю.

— Ой! Что это, Семеныч?

— Полагаю, с крыши тесну сорвало...

— Не случилось бы чего, смотри, у нас на реке?

— Навряд. А ежели бакан или два и оторвутся, так мы в том не причинны, власть божья... Ты вот про что толкуй: хлеб на полях смотается... Беда!

За дверью говор кур не унимается, петух несколько раз начинал, было, петь, но конфузился и только хрипел...

— И птица беспокойна, — произнес Василий Семенович, — Ну, да будем лучше спать.

— Дело.

На другой день глазам хозяев представилась такая картина: плетеный дворик повалило, крышу с него снесло и отбросило к огородцу; на хижине не оказалось двух тесн, валавшихся теперь неподалеку на земле. Кама все так же, как и накануне, бушевала и трепала косматыми гривами, играя бревнами и деревянными осколками, неизвестно откуда появившимися; белая кайма берегов сделалась шире, и вся окрестность была завешена тонкою желтоватою сеткою.

— Плотик чей-то разбил, — указывал на бревна старший баканщик. — Вон обломки ныряют, — верно, от барки или другой посуды. Без несчастья не обошлось...



— А наши молодчики здоровы, — сказал младший. — Похлестывает их ловко, а все на своих местах... Полагать надо, благополучно и за Красным яром.

Днем баканщики поправили крышу на сторожке и заново восстановили дворик. Буря на реке не утихла до вечера, хотя на горах и около избенки перед вечером поугомонилась.

Ночью прошел обильный дождь, на рассвете пел соловей, река спокойно несла воды, и кругом стояла невозмутимая тишина.

Баканщики спали крепким сном и проспали бы вероятно до раннего обеда, если бы эта тишина не заставила их проснуться.

Прелестное утро глядело в оконце их жилища, лес блестел зеленью, снопы мягких золотых лучей сыпались на реку и землю.

— Вот так погодка! — почти в один голос воскликнули оба приятеля.

— Я сейчас же за Красный яр, — оживленно проговорил младший: — смахаю и к чаю назад оберну.

— Лучше бы после чаю... А, впрочем, как знаешь.

Минут через десять старшой видел, как темный ботничек выдался и скользнул по глади реки и понесся к Красному яру.

Проводив товарища до поворота коренной, Василий Семенович повернулся и скрылся в сторожку.

С небольшим час проездил младший баканщик. Самовар ждал его на столе, перед открытым оконцем.

— Все, слава богу, здоровы, господин старшой! — отрапортовал парень. — Стоят на своих местах и кланяться вашей милости приказали.

Вслед за этой речью Павел Иванович вынул из кармана бутылку и показал старшому.

— Откуда ты взял?

— На Красном яру... Расскажу после, а теперь поглядим, что в ней содержится.

В бутылке из-под шампанского что-то краснелось.

— Не счастье ли нам бог послал? Не хотел и разбивать на яру, цельную тебе привез... Как бы нам оттуда достать ее?

— Да! разбей. Чего жалеть стекла...

Павел ударил горлышком о печку и вынул красную трубочку...

— Простая красная бумага! — разочаровался в находке парень. А я, ведь, как увидел, подумал: не сотенная ли бумажка?..

— А ты погляди: не завернуто ли чего в ней?

Павел развернул: большого формата визитная карточка!

— Ну, читай.

Павел смотрел на карточку и молчал.

— Что ж ты не читаешь?

— Я читаю... Вот. okazия-то!

— Да что?

— По середине написано: «Николай». С левого боку, в углу: «Поздравляю! Для вас — хорошего счастья», год и число обозначены под этими словами... А с правой стороны, тоже в углу: «для себя — молитв и покоя... Прощайте!» Тот же год выставлен и месяц, а число двойное... Что за диво дивное?

— Какое же число и год выставлены?

— Год нынешний. Число слева, где поздравляет, 29 мая, а справа, где прощается, 29—30 мая. Вот задача-то мудреная?

Василий Семенович, подумав немного, разрешил так:

— Из написанного выходит, что какой-то Николай закончил свою жизнь.

Павел остолбенел.

## VI

Старший баканщик тем же спокойным тоном продолжал:

— Ужо скажем, чтобы рыбаки поглядывали; не всплывет ли...

Павел, наконец, очнулся.

— Да неужто он... сам сделал?! — было первым словом парня...

— Не написал бы, ежели бы не сам... Только тут есть маленькая загадочка: имя свое поставил, а отчества и фамилии не обозначил.

— Постой-ка, я взгляну: не пропустил ли?.. Нет, одно имя: «Николай»!..

Павел прочел. В глазах старшего что-то вспыхнуло.

— Прочитай-ка еще вслух.

— Какое нынче число?

— Число?.. Двадцать седьмое...

— А на карточке стоит двадцать девятое, и другое — то же с тридцатым.

— Ах, брат!.. А я не сообразил, память инды у меня стшибло, как ты сказал... Ну?

— Иной оборот дело принимает.

Павел весь радостно встрепенулся.

— Так он жив? Да? Верно? Говори, Семеньч!

— По числам выходит, что он только собирается, но еще не порешил...

— Так не объявить ли уряднику?

— Подойдет Вавилов, представим ему карточку... Что он посоветует. Может человек этот еще отдумает, не исполнит своего намерения... На Красном яру, говоришь, бутылку-то нашел?

— Там, в песке лежит под сосеншкой, что с берега то круче сползла... Издалека я завидел: солнышко-то в стекло ударяет, и бумага краснеется... Как, было, я обрадовался!..

— Бурей выкинуло!

— Ну-тка, скажи, что за оказия экая?.. Кого-то он поздравляет и прощается...

— Бог один знает, — раздумчиво ответил Василий Семенович. — Постигнуть трудно... На Каме, сколько я ни живу, первый такой случай.

— Сдается мне, Семеньч, что Николай этот не из простых...

Опять блеснуло в глазах старшего.

— Ты мою мысль отгадал, — сказал он: — я только что сам об этом подумал. Почему ты полагаешь, что он не из простых?

— Слова его доказывают. Напишем ли мы с тобой или хотя сам казенный лодман, как у него написано? «Для вас — полного счастья. Для себя — молитв и покоя». Словно немного, а думать над ними много надо.

— Да, в них тайна сокрыта.

Парень вздрогнул.

— Тайна? — вспомнился ему рассказ седого рыбака.

Василий Семенович налил чашку и сказал:

— Подождем, — время свое окажет... А теперь о другом поговорим. Завтра Вавилов прибежит. Надобно приготовиться: знаешь, он любит почет, и чтобы угощение про него было. Вина из деревни я прихватил, а вот как насчет рыбы?

— В садке у меня одних стерлядок пяток да окуней с лещиками восемь штук гуляет. По два фунтика есть рыбка! Сегодня опять поставлю жерлицы, а на зорьке завтра выну: после дождя рыба больно хватает!

— Достанет и того, что в садке, на целую артель!.. Пшеничным хлебом не мешало бы запастись.

— Так что! я попрошу кого из рыбаков: поедут в село и к завтраму доставят... А не выходит у меня из головы Николай... — и не договорил.

— К чему прислушиваешься? — спросил Василий Семенович.

— Да ровно бы зовут...

— Ничуть...

Но в эту минуту от реки явственно донеслось.

«Ло-о-одку! Ба-аконщики, ло-одку-у!»

— Нас кличут, — проговорил старшой. — Верно. Николай Петрович... Голос-то, словно бы, его...

Павел высунулся в оконце и, приставив кулак ко рту, громко протрубил:

— Есть! Подаем!

Вылетев без фуражки на волю, он еще раз крикнул: «Подаем!» и прямо с уступа сбежал вниз.

Василий Семенович, допив чашку, вынес самовар во дворик, долил его, прибавил углей и вышел на площадку.

Солнце поднялось высоко и стояло как раз над лесопилкою, показывая баканщикам, что теперь времени десять часов. По уступам сверкали дождевые слезы. Теплым, но еще влажным и здоровым воздухом охватило Василия Семеновича. Перед ним, вся светлая и широкая, расстилалась многоводная Кама среди берегов, ярко блестящих свежей листвой, сочной травой и цветами; по воде чернелись рыбацьи лодки; грациозно покачивали красными и белыми шляпками баканы; от трехдневной бури не осталось почти никакого следа, только у окраин, кое-где, виднелись белые хлопья, да на стрелке лежали бревна, доски и деревянные обломки, выловленные промышленниками Мосечевыми. Под беспредельным синим шатром тихо сияли вершины гор, отчетливо выступали разбросанные селения, тонкой восковой свечкой светилась между полями колокольня, и вся даль, ясная, чудная даль смотрела кротко и задумчиво!.. Вверху радостно и на все лады звенели невидимые певцы.

Баканщик глубоко и протяжно вздохнул.

— А посмотралась таки рожь-то матушка!..

Он не заметил, как со стороны ключа, мимо огорода, проходила женщина в одежде странницы с котомкою, не слышал ее шагов и задумчиво глядел на Красный яр.

— Здравствуйте, Василий Семеныч!

Баканщик оглянулся и увидел большое лицо с серыми глазами.

— Марья Ильинишна!.. Доброго здоровья... А мы с товарищем вспоминали о вас, говорили, не прошла ли с богомолья где стороною...

— Пройду ли я мимо вас, — отвечала богомолка, поспешно направляясь к лавочке у оконца: — всегда к добрым людям на перепутье заверну.

Она вынула из котомочки завернутую в тонкую бумажку просфору и подала баканщику.

— За твоё здоровье с супругою и Павлом Иванычем в соборе подавала.

— Бог спасет, Марья Ильинишна! — поблагодарил баканщик. — Попомнила нас... Пойдем в хату, самовар на дворе кипит.

— Ну, как же мне вас не помнить-то! Завсегда вы странную женщину привечаете, чаем поите и хлебом-солью потчуете, — говорила Марья Ильинишна, следуя за хозяином в сторожку. — Еще здравствуй, — прибавила она, помолвившись сперва на образ. — Все ли здоровы, как Матрена Анисимовна и детки поживают?

— Все здравствуют. Недавно с ними виделся.

— Знаю. Намеднись, как приходила, слышала от твоего подрушного. Да где он?

— За пассажиром укатил. С того берега кто-то переправляется.

— Я разденусь, а то в рясе-то неш томно. Слава богу, коли все здоровы... Арина Степановна не проезжала обратно?

— Да нет еще, долго она в этот раз гостит.

— Что-то сестрица ее, жива ли, голубушка?..

— Неизвестно. К нам, ведь, на баканы редко и когда-когда весть какая дойдет.

— Жалко мне очень Арину Степановну: и супруг-то у нее хворый, да и сестрица в такой болезни... Арина-то Степановна звала меня к себе... Побывала бы я у них, да, вишь, самой-то нет.

— Иди смело: подождешь ее в экономии. Муж хороший человек, примет тебя.

— Как-то совестно. Встретились здесь в первый раз, познакомились, а уж в гости лезу. Вот если бы мы вдругорядь повстречались...

В черном поношенном коленкоровом платье, богомолка сидела рядом с Василием Семеновичем. Она принялась ему рассказывать о посещении «Святого колодца», о встречах с разными людьми в городе и о местных новостях. Баканщик собирался уже сообщить, в свою очередь, о загадочной находке; но за плетнем послышались голоса и густой смех.

— Так и есть, он, — проговорил с улыбкою Василий Семенович: — по голосу и смеху за версту его узнаешь.

Голоса и смех приближались, но никто еще не показывался.

— Экое горло-то у него здоровое! — сказала богомолка. — Никак подошли.

В открытую дверку уставился пышный нос с парюю живых глаз, и фигура в бекеше и шапке прошмыгнула в хату. Вслед за нею Павел втащил тулуп и подушку.

— Господин старшой... Ба, ба, ба!! Кого я вижу? Здорово, Семеныч! Здравствуй, мирская печальница!

Странница встала и поклонилась.

— Просим милости, Николай Петрович! — встретил старшой. — Знакомы? — повел он глазами на богомолку.

— Кто ее не знает? — засмеялся приказчик, кладя на стол толстый сверток. — Откуда бредешь, святая душа на костылях?

— По милости господней, ноги пока меня еще носят, — отвечала богомолка. — Да я никому костылей не пожелаю, хотя некоторые люди по своей добродетели давно бы их заслуживали.

— Не сердись, благочестивая женщина — грех! А за молитвы твои неусыпные, какие за нас, грешных, возсылаешь к угодникам господним, я китайской травкой тебя угощу.

— Вот это настоящая речь, — отозвалась святая душа: — умные ваши словеса всегда и слушать приятно... Сами будете хозяйничать или мне препоручите?

— Распоряжайся. Вон — сверток с припасами. Да заваривай на всех.

— Напрасно изволите упреждать: я свое дело знаю.

Приказчик снял бекеш и повесил на гвоздь, позаботясь предварительно вынуть из казмана небольшую стеклянную фляжку, перевитую медной проволокой. Потом расчесал пе-

ред зеркальцем волосы, бороду и усы и присел на скамейку рядом с Марьей Ильиничною. Последняя оглядела вытертый лоснившийся на лацканах и рукавах сюртук приказчика, из которого владелец значительно уже вырос, и дала такой совет:

— Пора бы вам, сударь, переменить сюртучок-от, а этот пожертвовали бы здешним хозяевам: на огороде у них всякая овощь растет, а чучелки-то не поставлено.

— Ах ты, язва-баба! Я двадцати годов еще не ношу его, а она — на чучелу пожертвовать!

— Пожалуйте, Николай Петрович, чай кушать! — пригласила Ильинична. — Василий Семеныч, Павел Иваныч! примите чашки.

— Благодарствуйте, — промолвил Василий Семенович: — мы, признаться, перед вами только попили...

— Не стесняйтесь! — перебила Ильинична. — Не каждый день, поди, вы этакий чай пьете, каким Николай Петрович нас угощает.

Хозяева не заупрямились. Павел взял чашку и удалился в угол, где стояла его коробка; а Василий Семенович остался на своем излюбленном месте, на нарах. По обыкновению, перекрестились, поздравили друг друга с приятным свиданием и занялись усердно чаепитием. Тишина и молчание, водворившиеся на время в сторожке, были прерваны вопросом Николая Петровича.

— Что нового? Не проезжало ли водяное начальство? Не получали ли каких распоряжений?

Старшой удовлетворил любопытного приезжего.

— Предписание насчет постановки баканов имели, а на завтрашнее число казенный лоцман обещался прибыть.

— То-то, я гляжу, раздветили везде реку. А лоцман — что делам?

— Для проверки, исполнено ли в точности предписание, и для новых распоряжений, но каких именно — неизвестно.

— Еще нет ли чего?

Василий Семенович пронизательно взглянул на приказчика.

— Да разве вы что слышали?

— Что? Ничего не слышал.

— Ну, так я вам сейчас доложу. Известьице одно нам буря принесла...

Богомолка насторожилась. Приказчик отставил блюдце и быстро поднял лицо.

— Баржи, что ли, затонули или пароходы наши поломало? — с живостью спросил он. — Не пугай!

— Успокойтесь, Николай Петрович. Вот, прочитайте-ка эту штуку и скажите, какого вы будете мнения.

Приказчик впился глазами в карточку и громко прочитал.

— Вот оно что! — протянул он, обводя всех поочередно взглядом. — Да тут самоубийством пахнет...

Страница перекрестилась.

— Спаси и помилуй нас, царица небесная!

— Небывалый случай... Не кассир ли уж какой или наш брат, приказчик, хозяйские деньги потерял, так с отчаянья покончил... Но почему он полностью не хотел подписаться?.. Николай!.. Мало ли на свете Николаев, и я вот Николай...

— На числа обратите внимание!

Карие глаза забегали по карточке.

— Та, та, та! Да он и числа вперед махнул.. Не стоит голову ломать: просто шутка.

Павел Иванович усомнился.

— Такими делами не станут шутить!

— Не станут? Да ты что еще понимаешь? Молодо, зелено...

Но старшой принял сторону товарища:

— Не похоже, словно бы, на шутку, Николай Петрович... И место, где бутылку нашли...

— Где?

Баканщик рассказал, что слышал от Павла.

— Ну, ясное дело! — окончательно утвердился в своем мнении приказчик: — какой-нибудь проказник с парохода кинул.

— Ой, не проказника это дело! — вступилась Марья Ильинична. — Слов хороших, чувствительных он не напишет...

— Вот, вот! — подхватил младший баканщик. — Мы с Васильем Семеновичем то же самое говорили.

Достозамечательный нос повернулся в сторону парня, потом старшого и остановился на богомолке.

— Ну, коли так, говори ты, святая душа, что знаешь, — сдался приказчик. — Может, ей что свыше поведано... Открой!

Святая душа не заставила себя ждать и открыла.

— Любовь в этом несчастье замешалась.



— Вот тебе на! Это еще что за штука?

— Либо со стороны женской особы измена, либо эта особа не хочет отвечать на любовь мужчины...

Оглушительный хохот встретил слова богомолки и раскатился по всей хижине.

— Ха, ха, ха! — грохотал приказчик, ухватившись за бока. — Хо, хо, хо!.. Уморит, ей-богу, уморит!.. Какую пую отлила! Ха, ха, ха!..

— Эк его разбирает! — глядя на приказчика, говорила Марья Ильинична. — Удержись, сударь! Не ровен час — с натуги еще что приключится.

Не сразу, однако, унялся приказчик.

— На твоей душе грех ляжет, Ильинишна, если с твоих слов да болезнь со мной сделается, — проговорил он, несколько успокоившись. — Слыханное ли дело, чтобы через любовь человек жизни себя лишал? Топятыся, стреляются через любовь только в романах, а на Каме из-за подобной глупости люди не станут себя губить.

— Справедливо изволил сказать, — ответила богомолка: — по Каме, особливо в купечестве, подобных случаев не бывает, потому как ваши дуроломы чувств благородных не имеют. Но среди людей образованных, воспитанных, из-за любви много несчастий происходит.

— Глупости! Один пустой разговор, — крепко стоял на своем Николай Петрович. — Человек потеряет большую сумму хозяйских денег или господин промотает свое имение, так, пожалуй, наложит на себя руки. А то, от любви?! Ха, ха, ха!..

— Если нежные чувства сверх ваших понятий, — разливая чай, продолжала Ильинична, — то прекратим речь про любовь. А позвольте вас спросить: тоска с человеком бывает?

— Как не бывать! Наеешься тугонько, под ложечкой и засосет.

— Оставь брюшную тоску, — не про нее говорю... Человек совершенно здоров, живет в полне свое удовольствие, завсегда весел, — и неожиданно тоска на него найдет... Начнет беспокоиться, и ничто тогда ему не мило на свете...

— Да, понимаю! Говори, что сказать-то хочешь?

Баканщики молча и внимательно слушали, выжидая, чем окончится этот разговор.

— Как вы полагаете, могут тоску на человека злые люди напустить?

— Вишь, куда лупнула! Это уж другая статья... Ты сводишь речь на порчу...

Василий Семенович, услышав про порчу, нашел уместным сказать несколько слов о знакомом предмете.

— У нас, по деревням, часто портят. От черемисов ли — ворожьи у них водятся — это идет, или наши, свои дошлые люди напускают, только много разного по народу ходит: и тоску наведут, и килу посадят, и, в легкий час промежду нас молвить, нечисть, бесов в человека вгоняют. Больше, однако, в молодых бабах и девках погань эта поселяется, а в мужиках редко.

— Ты мою руку держишь! — горячился Николай Петрович. — Я против навождения или порчи не спорю. Самого меня пока бог миловал, но на других видал. Да ведь, она, язва-то эта, не в ту точку метит!

— В порчу веришь, — продолжала «язва». — Очень хорошо. Слышите, господа хозяева? Запомните хорошенько. Теперь мне уж недалеко до своей точки.

Общее любопытство овладело слушателями. Уже глаза всех уставились на лицо византийской живописи, когда одно совершенно непредвиденное обстоятельство помешало Марье Ильиничне сразу приблизиться к «точке» и отвлекло внимание заинтересовавшихся лиц, а Павлу Ивановичу дало случай отличиться по части основательных знаний из всеобщей географии.

Дело в том, что приказчик вздумал опустить в свою чашку два куска сахара, схватился за фляжку, отвинтил металлическую крышку и подлил в горячий чай светлой жидкости. Приятный запах распространился по всей хате.

— Душист, — улыбнулся Василий Семенович. — Настоящий, должно быть, ямайский ром?

— Самый высокий сорт — ананасный.

— Из Америки, — ввернул Павел Иванович. — Ямайка — один из островов, принадлежащих республике Северо-Американских штатов.

Лицо и нос Николая Петровича выразили крайнее изумление.

— Да ты откуда это знаешь?

— Знаю. — ответил парень.

— Книжка у него такая есть, — пояснил старшой: — в ней описаны все государства и страны, какие находятся на земле.

— Каков шуткарь! Не ожидал, чтобы на баканах такие ученые люди водились.

— Умница! — похвалила богомолка.

— Ну, а ты, «умница», не задерживай! — обратился Николай Петрович к страннице.

— Не я причинна, — сам ананасным сбил меня с пути...

Отстранив несправедливость сделанного ей упрека, Марья Ильинична приняла строгий вид и серьезно заключила:

— В записке, которую вы читали, все правильно: никакой шутки или обмана в ней нет. Человек действительно на погибель свою идет. Любовь ли была причиной его тоски или злая порча — разбирайте сами, как хотите.

— В эту-то самую точку метила? — засмеялся приказчик, но смех его был натянут. — Немного же нового сказала.

Баканщики разделяли мнение богомолки.

— Молитвы родителей, если они у Николая живы, может, еще спасут его, переборет он тоску свою несусветимую и отложит грешную мысль. Помогите ему в том, владыка все-милостивый!

## VII

В сторонке от хижины Павел разводил огонь. Марья Ильинична, подоткнув платье и засучив рукава, чистила рыбу; работа у нее в руках кипела. Павел с любопытством следил за всеми движениями этой высокой, пожилой и сухой женщины, удивляясь ловкости и тщательности, с какими она разрезала на куски стерлядь и укладывала в котелок; но эти качества, сами по себе очень ценные, еще больше возвысились в глазах парня при мысли, какая это Ильинишна правдивая и смелая. «Бобылка, горемыка, угла своего не имеет, а никого не боится, всем прямо в лицо говорит правду и умная; на вид суровая, даже сердитая, а сердце в ней доброе, жалливое... А, видно, сама много горя перенесла... Крепостная была, за господами», слышал он, «плохо людям жилось. Тиранили, мучили помещики своих крестьян, а те все должны были переносить: ни в ком защиты себе не находили... И жили люди, терпели... Я ни за что бы не выдержал!.. И она, Ильинишна эта, тоже всего наисприималась, переносила с малых лет... Пожалуй, не вытерпела

бы, если бы скоро не освободили: семнадцать годов ей минуло, когда от господ отошли... Не замужем девка... Почему она не вышла? Неуж ее не взяли? Не может этого быть»...

— Павел Иваныч! — позвала парня Ильинишна: — бери котелок-от...

В хижине приказчик беседовал с Василием Семеновичем. На столе, кроме вымытой, но не убранной еще чайной посуды, были разложены колбаса, балык и хлеб; лежала фляга, но не прежняя, а другая, весьма почтенных размеров, и застенчиво выглядывали две рюмки. Выслушав о плохом состоянии деревни, Николай Петрович сделал в уме надлежащие выводы и предложил хозяину:

— Не время ли нам пропустить? Котелок поставлен на огонь.

Баканщик взглянул на флягу, помолчал и нерешительно ответил:

— Не знаю, право, пить ли мне? Я, ведь, питух-то плохой!

— Ну, вот еще разговаривай!.. Не птенцы мы с тобой малые... Бранить никто не станет.

Довод этот поколебал нерешительность хозяина.

— Бери!

Василий Семенович, за исключением храмовых праздников, ни дома, ни на баканах не пил. Отказывал себе он в этом удовольствии по двум причинам: смолоду не питал к вину расположения и, зная хорошо цену трудовой копейки, отличался бережливостью.

Но, когда наворачивался случай, подобный настоящему, он не бегал от угощения, хотя всякий раз как будто немного чего-то конфузился.

— Ну, ради приятного свидания, рюмочку выпью! — уступил он настояниям приказчика. — За ваше здоровье! С благополучным окончанием ваших дел!

— Кушай на доброе здоровье.

Приказчик опрокинул рюмку, взял толстый ломоть твердой как дерево колбасы и принялся раздирать ее крепкими зубами.

Василий Семенович вытер усы и бороду, закусил хлебом и проговорил:

— Ничего вы о своей поездке не сказали, Николай Петрович. С успехом съездили?

— Похвалиться не могу, Василий Семеныч, — отвечал

приказчик: — изъездил земли много, побывал и в губернском городе, а дело только с одним лешачком сладил.

— Что так?

— Упираются, цены несообразные ломают. Пронюхали, что башкирцев ограничат, земли и леса от них отойдут, ну господа землевладельцы, у коих еще остались именья, цену и возвысили... На мое счастье, один барин, с которым я поладил, нуждался в деньгах и хотел уж, по примеру прочих владельцев, заложить в дворянский банк, а я как раз и навестился.

Марья Ильинична вошла прибрать чайную посуду.

— Много купили? — спросил бакащик.

— Пустяки: с небольшим шестьсот десятин... Но лесок недурной, ровенький: вам на избушку было бы из чего выбрать.

— Известно, плохого вы не купите.

— Удивительно! — вслушалась Марья Ильинична: — сколько миллионов у этого Великанова, а все ему мало, все он не сыт и везде соколиков своих рассыласт, чтоб цапали да хватали!

— Ход велик, нельзя, значит, ограничить себя, — улыбнулся Василий Семенович.

— А помрет, — с собою ничего не возьмет, — добавила богомолка, поворачиваясь к двери.

— Ну, святая душа, до этого ему еще далеко! — весело отозвался приказчик. — Не уходи, послушай, спасения ради... Никому не воспрещено: наживайся, богатей!.. Только редкому человеку бог счастье такое посылает. Надо иметь особенный ум, чтоб капиталы наживать. Охотников на миллионы много, но дарования нет, не умеют огромными делами ворочать и сидят, как раки на мели. Сколько у нас в городе было коммерсантов богатых, от родителей еще в наследство капиталы большие получили. И что же? На каких-нибудь десяти-пятнадцати годах совсем ослабели, еле еле теперь тянутся — так их перевернуло!.. А наш хозяин, знай, в гору прет, все по дороге ломает и шире размахивает.

— Какая бы тому причина, Николай Петрович, что другие богачи умаляются, а ваш больше силы забирает? — любопытствовал Василий Семенович.

— Богатырь! Ум громадный, гений! — попав в свою стихию, все больше расходился великановский приказчик. — Прочие ведут дела, как отцы и деды их вели, по земле

ползком ползут, а наш предприимчив, дальновзорок и проницателен... Орел! под небесами парит и оттуда землю озирает, — усмотрел добычу, упал колом, схватил и поволок; не успеешь моргнуть, — он уж снова парит, новую добычу едит — и опять схватил... Ну-ка, за орла-богатыря выльем!

— Не довольно ли, Николай Петрович?

— Не опасайся! С рюмки не охмелеешь...

Гений хозяина воодушевил приказчика, и он с увлечением продолжал:

— Возьмем чайную торговлю. Прочие выписывают чай через комиссионеров, получают из третьих рук, платят за все лишнее, а наш собственную контору в Китае открыл, землю там под плантации снимает и чай может продавать ниже той цены, по какой другим самим обходится. Так вместо того чтобы им выписывать и лишнее беспокойство нести, стали все у нас в городе оптом закупать. Конечно, хозяин как увидел, что торговцы сношения с комиссионерами прекратили, на ящик рублей десять — двадцать, глядя по достоинству, накинул... Может, тем это и огорчительно, но поделаться ничего уж нельзя: не покупай. — коммерция приостановится. Нет, уж не вырвешься!

— А ежели те сами заведут конторы или через надежных людей опять станут выписывать?

— Тогда наш окончательно их низвергнет. Слов нет, господин Великанов добр; о добродетели его, может, всей России известно, но насколько он добр, настолько же в своем характере тверд. «А, вам мало от меня пользы, ненасытная ваша утроба», скажет, «хотите загребать большие барыши, так я вам покажу». И так он супротивника оседлает, так взмунштучит и примется накалывать, что только впору вымолвить: «помилуй!» Ну, поослобонит, если добрый стих найдет, даст вздышку, а то — никакой пощады, один прах от человека останется.

По всей вероятности, не один только хозяйский гений вдохновлял Николая Петровича, но и другой, невидимый, более веселый и игривый, потому что тон рассказа о подвигах богатыря становился несколько неясным: благоговеет ли приказчик перед своим идолом или же признает, что не мешало бы тому быть понисходительнее к обыкновенным смертным?..

— Все же, Николай Петрович, как ни силен ваш хозяин, а по кабацкой части ему ножку подставили, — ввернул за-

ковычку Василий Семенович: — новый-то заводчик дешевле продает и вино у него настоящее, не то что великановское.

Николай Петрович пустил: «фф-ю-ю!» и разразился своим раскатистым густым смехом.

— Ха, ха, ха! Да где ты, Семеныч, живешь, за какими морями, лесами и горами, что ничего не знаешь? Разве ты не слышал, что Ремешков при последнем издыхании?

Баканщик посмотрел на веселого собеседника.

— Значит, орел-то ваш... осилил?... — спросил он.

— Говорю тебе, — час-два всего веку осталось Ремешкову, — весело продолжал Николай Петрович. — Не тому надо удивляться, что Ремешков кончается, а тому, как он два года мог с нашим-конкуренцию выдержать? Не мало, не мало — до ста тысяч наш убытка понес, но это для него все равно, что нам копейку нищему подать. «Еще двух сот не пожалею, а его уничтожу», сказал. И точно: на храмовых праздниках спустил полтора рубля на ведро, православные на великановское опять и накинулись. Дешево! Где ж какому-нибудь Ремешкову выстоять? Правда, наше вино по вкусу и очистке много уступит ремешковскому, — сам я никогда своего в рот не беру, претит! — да разве мужичок христов станет это разбирать? Ему бы только подешевле, а какой дряни ему ни отпусти, — он с удовольствием выпьет.

— Это точно, мужичок не выскателен, — согласился баканщик. — Теперь, по вашим словам, так выходит: как Ремешков свой завод прикроет, опять везде пойдет вино господина Великанова?

— Беспременно. В год все убытки вернет, — тысяч триста чистой пользы приобретет.

— Подымет цену?

— А то как же? Разве он простит, что вино у врага его покупали? «Меня вы не жалели», скажет, «так и я вам милости никакой не окажу». Прикажет по восьми или десяти рублей продавать — и станут покупать, ничего не поделаешь.

— Позвольте. Может выискаться другой Ремешков...

— Другой? Пикнуть не даст... Задушит!

Последнее слово это было произнесено почти шопотом, но так убедительно, что баканщик почувствовал всю несокрушимую силу его и не нашелся уж ничего сказать.

— Сила! Самсон-богатырь, финансист! — приходил в

восторг рассказчик. — Вот бы кому, по-настоящему, министром быть. Хотя образования скромного, но как бы он Россию осчастливил! Куда до него ученым министрам!

Показалась снова Марья Ильинична. Она доложила, что скоро подаст уху, и достала чистый столешник.

— Не прикасайся! — остановил приказчик, увидев, что та хочет кое-что прибрать.

— Не тревожьтесь! Я на подоконник переставлю, а накрою стол, — опять на свое место поставлю.

Василий Семенович полюбопытствовал, какие цены в городе на хлеб.

— Раньше по восемнадцати копеек покупали. Но мне уже сведение дано, что теперь наш хозяин назначил таксу по пятнадцати.

— А прочие почему покупают?

— Все равно, если не дешевле.

— В селе прошлый базар по двадцать три отдавали.

— В селе! Там мелочная торговля, пуд-два купят, наш один миллионы пудов покупает.

— Не один же Великанов покупает. Поди, другие скупщики есть?

— Какой ты чудак, Семеныч! а еще столько годов по Волге и Каме в лодманах ходил. Самых простых вещей не понимаешь, надо тебе все разжевывать да прямо в рот класть. Другие-то скупщики куда девают хлеб? Великанову. Положим, ты купец, закупаешь у мужиков хлеб. Купил ты по двадцать копеек, деньги затратил, а капитал требует оборота. Ты везешь к нашему хозяину. «Почем?» Сказываешь. «Что же ты, почтенный, разве не сообразовался с таксой, какая мною была установлена? Не надобен мне твой хлеб». А тебе деньги нужны! Просишь, молишь, чтобы купил. «Хорошо», скажет, «я приму, по две копейки против таксы с пуда скошу».

— А я, на месте купца, повыждал бы: подъедут из других губерний покупатели.

— Тогда ты один прах. Хозяин проведает — не показывайся к нему на глаза. «Как, меня не уважил? — загремит. — Прогнать его со двора, негодяя!» Но ежели ты его уважаешь, то есть, ему одному продаешь, так уважительность твою оценит: мало того что за труды твои против таксы он копейку на пуд прикинет, но если у тебя когда не хватит на покупку большой партии хлеба, он ссудит деньгами, сколько тебе требуется... Добер, даже слишком до-



бер наш хозяин; только оказывай всегда ему уважение — и будешь счастлив до конца своей жизни.

Василий Семенович призадумался.

— В народе толкуют, что цены бог строит, ан на деле-то выходит, осиновский купец Великанов их устанавливает, — сказал погодя бакащик. — Мужичку-то больно утешительно, Николай Петрович. Из-за чего трудиться, убиваться за кормилицею-землею?.. Пятнадцать копеек пуд...

— Дешево? Не везите, берегите про себя. Арканом насильно вас никто не тащит...

— Никак этого невозможно сделать. Вот, наступит осень, благослови господи! обмолотим рожь, — первым делом подати востребуют, поскорости рекрутов потребуется снарядить, дров на зиму закупить и прочее по хозяйству справиться, — и поторопишься скорее продать хлеб!.. Давно ли еще от голода освободились; думали, урожай бог пошлет, поправимся хоть маленько, а уродился хлебушка, — продавай его почти задаром!..

Большая мускулистая рука протянулась к фляге. Налив обе рюмки, приказчик молча подвинул одну собеседнику.

— Довольно, Николай Петрович...

— Выкушай! У Сираха или кого там, не помню, давно читал, написано: человеку, в горести находящемуся, дай вина. Ты, вижу я, скорбишь духом — пей, утешение от вина человеку. Возьми колбаски!

Хлопнул сам, закусил балычком и обратил волосатое лицо к утешенному.

— Ты вот о голоде упомянул, — начал он. — А кто от голодной смерти мужичка спас, кто о нем порадел и пропитание ему предоставил? Великанов! Как же вы этого не цените? Вечно молиться за него обязаны, а вы ропщете!..

— Чувствительно благодарны ему, — отвечал бакащик, — попомнят мужички благодеяние Великанова: голодным по рублю с полтиною отпускал хлеб, а в возврат от них по четвертачку принял.

— Да ты, я вижу, понятия не имеешь о курсе? Как же вы, господа крестьяне, ничего не смысла в делах коммерции, так очень просто рассуждаете?.. Ведь когда была голодовка, хлеб стоял в цене высоко, а на другой год цена упала... Если бы хозяин обратно по полтора рубля принял, так над ним свой брат, коммерсант, посмеялся бы... Вы не христова братия, чтоб вам милостью подавать, коренные хлебопашцы, землю имеете, от нее кормитесь. Вот если бы

к нему нищие обратились, тогда другой разговор... Сколь много он любит эту христову братию, все даже не надивятся! Мало, что всегда подает, когда у него на улице попросят, три раза в году общий дележ производит: сколь много народа к дому ни привалило, хоть всю улицу запрудили бы, ни один человек с пустыми руками не уйдет: каждый гривенник получит. Опять, сколько он жертвует на украшение храмов господних, на колокола и на всякие богоугодные заведения! Уму непостижимо!

Появление святой души со стерляжьей ухой прервало дальнейшее течение речи.

— А, несет! Славно пахнет, — с удовольствием проговорил Николай Петрович. — Недурна рыбешка, — добавил, заглянув в блюдо: — именно такая, какой я желал. Хорошо бы для вкуса мадерцы... Жаль, нет!.. Да не испортит, если ананасного капельки две-три подпущу?.. А теперь, перед ущицею, для аппетита обязательно по одной выпить.

— Мне не беспокойтесь наливать, — предупредил Василий Семенович.

— Не мешай под руку. Ну-ка, перед хлебом-солью!

— Обед наш впереди. Ослобоните.

— Последнюю. Больше не будет. Проси — не дам.

Как было отказать?

Нос приказчика склонился над блюдом, и хозяин его всецело отдался уничтожению жирной янтарной ухи. В каких-нибудь минут пять блюдо было дочиста опорожнено, и услужливая Ильинична полетела за новой порцией, оставшейся в котелке.

Николай Петрович сделал передышку.

— Вот ты с невыгодной стороны отрываешься о Великанове, — заговорил он, чтобы наполнить промежуток времени в ожидании второго блюда ухи. — Дней пять тому назад случилось мне заглянуть в Килимово, где чахоточные и разные больные кумыс пьют: баринок один там из Казани пользуется. Повидался с ним, потолковал и о деле, — дачку лесную он продает; потом нынешнего урожая коснулись. «Всходы превосходные», — говорит. — «Одно меня огорчает, что такие же, как у меня, всходы и у мужиков». — Так богу угодно, — говорю: — урожай на всех посылает. «Зачем, — толкует, — у мужиков будет урожай? Если бы на их полях хлеб не уродился, они пришли бы ко мне покупать... Я бы с них деньги хорошие получил, я бы им дал себя почувствовать!» Дурачок, видно, баринок, по-

думал я, хотя гимназию окончил. Однако нет, вижу, не круглый дурак, а только чрезмерно жаден и безжалостен. Наш хозяин если себя и не забывает, то хошь нищих по гривеннику оделяет, странных напоит, накормит, заведения благочестивые поддерживает, а этот птенец безпухий копейки никому не подаст, умирай с голода — корки черствого хлеба не бросит... Если бы ему великановский талант да капиталы, так увидел бы ты, какой из него благодетель выработался. Благородный вьюнош, помещик, гимназию окончил и теперь, сказывал, высшим наукам где-то в университете, что ли, обучается, а как себя незнакомому человеку с первого раза отрекомендовал?.. Да разве наш хозяин пожелает, чтобы у крестьян хлеб не родился? За великий стыд для себя почел бы подобные слова высказывать... А вы благодетелем своим недовольны!.. Так-то, вот, приятель! — похлопал дружески по плечу баканщика Николай Петрович и чему-то вдруг сам засмеялся.

Василий Семенович собирался было молвить два-три слова, но, посмотрев на смеющиеся глаза и расцветший подобно роскошному пунцовому пиону нос веселого человека, сам только рассмеялся тихо и махнул рукой. Он понимал приказчика...

Покончивши со второй порцией, хотя далеко не с прежней живостью, шутник встал должное богу и попросил хозяина подвинуться.

— Может, отдохнуть до парохода желаете?

— Не знаю, — ответил тот, усевшись удобно на нарах. — Посижу немного... Поговорим.

По выражению носа любителя стерляжьей ухи, Василий Семенович догадался, что тот чего-то не досказал.

— Слышал ты про купца Потапова? — спросил баканщика Николай Петрович. — Он, впрочем, нынче уж потомственный почетный гражданин и орден на грудь получил... Прииски у него золотые, леса...

— Слышать-то слышал, но личности его не знаю.

— Богач тоже страшный. Не старый еще, моих годов будет, но высокий и свежий мужчина. Женится.

— Не поздненько ли?

— Он не в первый уж раз. Десять лет вдовел, а теперь вторично надумал вступить в брак. Барышню лет девятнадцати, образованную и красавицу, за себя берет...

— Молоденька, кажется, ему будет!

— Ты слушай. Молода — это ничего, он сам хоть и в:

годах, но наружность имеет очень представительную. Когда я в губернском городе был, у нотариуса запродажную запись на покупку свою делал, там только и разговаривали, что об этом браке. Невеста, кроме того что первая красавица и воспитана очень хорошо, вдобавок генеральская дочь!

— Вот как! Генеральская дочка и за купца выходит?

— Да, братец, вот как нынче купцы действуют, в какое родство заезжают! Потому — они сила, в руках их капиталы, и все перед ними преклоняются... Но публика не этим занята: барышне, говорят, другой нравится, человек молодой и образования высокого.

В глазах бакащика вспыхнул огонек, но мгновенно потух.

— Почему же та не за него выходит?

— Бедный! А папаша барышни, хотя и генерал, имущества свои все прожил и капитала у него никакого не осталось — прогорел дотла! Семейство же большое, детям надо, по ихнему положению, дать приличное образование и в люди вывести. Потребовалась поддержка. Вот, как помолвку сделали, Потапов в тот же день на невесту пятьсот тысяч в банк положил, а умрет — всего движимого и недвижимого супруга будет полной наследницей, потсму все имение его благоприобретенное, родственников же всего один племянник.

— Против своего желанья, значит, барышня-то за него выходит?

— Нет, сама изъявила согласие. Принуждение у благородных не водится: не захотела бы, не пошла.

— Не пожалела ли родителя и семейство?..

— Такой слух идет. На-днях, — точно не помню число, — назначена свадьба. Дом свой жених заново переделал: роскошь, великолепие — превосходные, говорят!.. Однако ко сну будто бы позывает.

Николай Петрович аппетитно зевнул и положил в голову свою подушку.

— Почивайте, мы вас не побеспокоим: на воле стобедаем.

— Зачем? Разве вы помешаете моему сну? Обедайте, говорите, кричите — ничего не услышу.

Через минуту он уже спал крепким сном.

Василий Семенович отлично знал, что потревожить сон приказчика разговорами довольно трудно, тем не менее

обед баканщиков в обществе святой души устроился на открытом воздухе.

— О чем без нас толковали? — полюбопытствовал Павел Иванович.

— О многом он рассказывал, — сдержанно ответил старшой.

— Отрывочками-то я слышал. Хозяина своего восхвалял. Плутист мужик!

— Есть немножко: нельзя — должность такую занимает... Но разговоры его нельзя прямо брать: говорит одно, а на мыслях держит другое. Осторожность соблюдает, опасается, чтобы слова его до хозяина не дошли.

— Грохотун и говорун он большой руки, но злобы или вреда я в нем не предполагаю, — высказала свое мнение Ильинична. — А без плутовства ихнему брату невозможно служить. Сюртучок-то, ведь, страм взглянуть! Ничего, не стесняется. Знает, что хозяину это приятно: «какой добросовестный человек мой личарда, — подумает, — двадцать годов в одном сюртучишке ходит, на такого можно положиться и доверие ему оказывать».

Часа через два Николай Петрович встал, а богомолка собралась в путь.

— Не побываешь неш у Арины-то Степановны? — осведомился старый баканщик.

— Да нет уж, долго, может она у сестры пробудет... Увидите, поклонитесь ей от меня низенько.

— Про жену Андреевского доверенного что ли речь идет? — спросил Николай Петрович.

— Точно так.

— Лошади за нею высланы, на лесопилке кучер дожидается. Подожди, святая душа!

— В другой раз... Мужички уж парить начинают. Надо мне племяшу своему помочь. Отстрадают добрые люди, я тогда нарочно схожу.

Приказчик вынул кошелек и достал серебряную монетку.

— Получи-ка с меня долг!

— Вы мне не должны.

— Ну, ну! Трудилась, хлопотала... Обязана, что ли, ты на меня работать?

— Вы меня чаем напоили... На этом я вам благодарна, а хлопоты мои были не корыстные, а от одного усердия...

— Да бери же!

— Не возьму, — и, низко поклонившись хозяевам и приказчику, странница вскинула на спину котомку.

— Подожди! У племянника ребятишки есть?

— Как же, троечка.

— Пройдешь, по дороге где пряничков им купишь.

Поблагодарив на гостинце, Марья Ильинична еще раз всем поклонилась и направила стопы по тропиночке, извивавшейся по уступам горы. Приказчик и бакащики посматрели ей вслед.

— Легкая на ноги женщина, — сказал Василий Семенович: — как шагает!

— Птица небесная! — проговорил Николай Петрович и повернул нос к реке. — Не долго, полагаю, ждать мне парохода?

— Вниз вам бежать?

— Заверну в Осиновку, покажусь хозяину и в Царево-Кокшайск покачу...

— Ежели не запоздает, через полчаса должен пробежать.

Взор Николая Петровича остановился на лесопилке.

— Порешили, — кивнул в ту сторону головою. — Строили, деньги убивали, а зиму одну поработала — и закрыли. Для чего, спрашивается, она без всякого дела будет торчать?

— Что же, места у нас здесь пустынные, — сказал Василий Семенович: — все же как будто селением смотрит, строенье с трубой высокой и контора при нем. Ничего, пускской красуется — земли казенной немного занимает.

Странница между тем достигла вершины горы, приостановилась отдохнуть и подняла руки.

— Вон уж где! — показал младший бакащик.

— Да никак лететь хочет? — засмеялся приказчик. — Птица небесная!.. Или вот элеватор в Уфе застроили, — повернул Николай Петрович. — Выстроили, довели уж до самого карниза — и бросили, так без крова и оставили, — пускай гниет... А денег в постройку без мала миллион ухлопали... Великанов так не поступил бы!..

## VIII

Важный день настал в служебной жизни приятелей. Бакащики приготовились к приему своего начальника и с ут-

ра ожидали его прибытия. Предварительно они прокатились по участку с целью осведомиться о состоянии «молодчиков». Завернули к Красному яру. Песчано-глинистый, точно обожженный, берег, покрытый наверху сосновым лесом, стеною опускался вниз; река подмызала основание, а внешние потоки разрушали его по частям и вместе с лесом уносили водою; по крутой осыпи кое-где виднелись наклонившиеся молодые сосенки, цеплявшиеся корнями за землю, готовые каждую минуту оторваться и повалиться в воду; одна из них лежала, уткнувшись верхушкою своею в реку.

— Вот, под нею нашел, — сказал Павел: — гляди, и место знатко, где бутылка лежала.

— Действительно, бурей ее выкинуло!

На стрелке острова Моисеичев, сидя на бревнах, курил вертушку.

— Иван Моисеич! — крикнул старшой: — все ли у вас благополучно?

— Ничего не случилось, — лениво отвечал промышленник: — снасти в свое время прибрали. На верхах буря немного пошалаила: сколько бревен мимо пронесло, досок!..

— Так вас с прибылью, — живнул баканщик на добычу, — поналовили деревянной рыбки достаточно?

— Пустое дело! Багор один, а то разве бы мы столько...

— А с людьми — не чуть, не было несчастья?

— Нет, мало я любопытен.

Василий Семенович не стал больше разговаривать. Павел взмахнул и ударил веслами.

— Василий Семеныч — крикнул промышленник: — не знаете ли вы, как соловьев ловят? Уж очень хорошо один у родника распевает. В городе за него большие деньги заплатят.

— Ну, это вы, господин Мосеичев, оставьте! — с живостью отозвался младший баканщик. — Вольную птишку не полагается ловить. Я не позволю...

Моисеич хихикнул.

— Кажется, начальником тебя никто не поставил, чтобы ты мог другими повелевать?

— А вот попробуй хоть раз, так и узнаешь, как ловить соловьев!

Лодка двинулась. Баканщики то-и-дело прислушивались, не раздастся ли знакомый свисток, и поглядывали вверх по реке, не задымился ли вдали пароход. Впереди показалась

рыбачья лодка, на веслах был мальчуган, а на корме старик с белой головою.

— Дед навстречу бежит, — промолвил старшой. — Надо с ним поговорить.

Рыбачья лодка приблизилась. Баканщики дали ей подойти, повернули и, поровнявшись, пошли бок-о-бок. На той и другой гребцы опустили весла.

— Здорово, здорово, ребяташки! — вглядываясь из-под ладони в баканщиков, ответил дед на их поклоны. — Али дело у вас до меня?

Василий Семенович рассказал о находке и прибавил, что не мешало бы на всякий случай поглядывать, не окажется ли чего.

Старик выслушал, тряхнул белой головой и проговорил:

— Если он думает в Каме погребсти себя, так навряд, родимые, мы что усмотрим или узнаем. Кама-матушка не выдаст тайны... Да ладно, я товарищам передам, — станем поглядывать, не появится ли где на берегу какой незнакомый человек. А ежели он утонул, то не увидим его: река скроет и похоронит на дне горе человека.

Долго ждали баканщики, но напрасно, казенный пароход не показывался. Наконец, около трех часов, в глубокой дали задымилось, словно белое облачко; вскоре неясный шум пошел по воде. Еще немного — из-за горы «Шелом» вырезался профиль небольшого парохода, в нем баканщики узнали своего «Крейсера». Свисток... С лодки махнули флагом. Через несколько минут винтовой пароход подошел близко, остановил ход машины и дал подойти к себе лодке.

С борта спустился высокий плотный мужчина в фуражке, шведской куртке и больших сапогах... За ним матросы подали ящик и полушубок. Лодка отвалила в сторону, и «Крейсер» побежал дальше.

Поздоровавшись с подчиненными и узнав, что на пункте все обстоит благополучно, казенный лоцман сел на лавочку и приказал вести себя на баканы. Вавилову было лет сорок. Он обладал внушительной физиономией: коричневая, выцветшая борода развевалась веером; толстый нос; из-под густых насупленных бровей смотрели серьезно карие глаза, и на всем лице лежала печать нето глубоких административных соображений, нето начальнической озабоченности. Расстегнув верхние пуговицы куртки и отогнув красные



лацканы, он играл бронзовой цепочкой и молча смотрел вперед.

Подъехав к одному поплавку, лоцман измерил шестом глубину, перегнулся за борт и покачал руками бакан, чтобы убедиться в прочности его постановки. В двух, трех местах для большей убедительности, а главное, для поддержания своего авторитета в глазах своих подчиненных и для примера он вылезал из лодки и, стоя в воде, пробовал крепость якорных канатов и тянул их, не жалея рукавов своей куртки. Старший баканщик обращал внимание начальника на отмели, которые показались после бури. Вавилов записывал что-то в свою памятную книжку и делал в ней отметки.

Окончив строгую ревизию, взявшую не мало времени, он сделал вопрос:

— Нет ли где еще обозначений?

— Пока не предвидится, — ответил старшой. — Теперь куда прикажешь?

Лоцман окидывал соколиными взорами реку, остров и берега.

— Кажется опущений не заметно, — проговорил он медленно. — Однако понижение горизонта значительно, — добавил в видах ознакомления подчиненных с терминами, принятыми в высших сферах речной администрации. — Теперь, пожалуй, к маяку направимся, а потом к вам в хижину заглянем.

На берегу Вавилов освидетельствовал маячные столбы и фонари, потрогал носком сапога большой якорь и, ни слова не сказав, повернул в сторону ключа. Старший баканщик нес за ним полушубок, а младший тащил ящик. Достигнув площадки, лоцман вошел в избенку, помолился в угол и сказал:

— Еще здравствуйте, братцы! — и подал тому и другому руку.

— Доброго здоровья, Алексей Максимович! Просим милости, беседуйте!

Лоцман обвел вокруг глазами. По выражению его лица баканщики догадались, что вид стола произвел на начальника благоприятное впечатление. Вавилов сел на нары, расстегнул остальные пуговицы куртки и вытянул длинные ноги.

— Испарение в воздухе должно начаться сильное, — произнес лоцман, глядя на носки своих сапог. — Барометр

стоит на «ясно», а термометр идет кверху, — и, посмотрев вопросительно на старшего бакащика, заключил: — поэтому надо ожидать, что понижение горизонта будет еще значительнее.

— Алексей Максимович, можно вас просить с дорожки-то? — предложил Василий Семенович, показывая на украшение стола.

Алексей Максимович быстро взглянул на стол и удивился.

— Что это у вас? буфет?.. Напрасно утруждали себя: знаете, — я не пью.

— Выкушайте с устатку!

— С устатку? Точно, я довольно-таки поустал...

Налил рюмку, выпил и закусил.

— Теперь займемся делом, — сказал лоцман и достал записную книжку.

— Извините, Алексей Максимович, — перебил старшой: — что для вас желательнее: сперва перекусить, чем бог послал, или чайку напиться?

— Ну, вот, так и знал, что будут хлопотать! К чему?

Лоцман вынул серебряные часы, посмотрел на стрелки и прибавил:

— Пожалуй, сперва лучше перекусить, а там увидим, сколько времени останется. Я с первым парходом, какой пройдет вверх, от вас убегу, обязательно должен быть на других пунктах. Присаживайся!

Положив перед собою часы, Вавилов насупил брови и погрузился в рассмотрение книжки.

— На Красном яру поставлено три?

— Точно так.

Следовала пометка карандашом и новый вопрос:

— На стрелке, по разделению воды на коренную и воложку, с обеих сторон по одному?

— Есть.

— Верно. Сам видел.

Пройдясь вопросами по всему предписанию, которое от него получили бакащики, и сделав в книжке отметки, лоцман приступил к другой работе: начал писать на четвертушке листа.

— Для вас, — проговорил: — инструкцию будущих действий набросаю.

Очевидно, составление этого документа требовало большого напряжения умственных способностей; Алексей Мак-

симович, не отрываясь от предмета занятий, протянул левую руку к бутылке, молча налил рюмку и выпил.

Павел Иванович хлопотал по части приготовления горячего и жареного. Василий Семенович, посиживая на скамейке, созерцал густые брови и лоб с упавшими на него темными волосами, заранее предвкушая удовольствие, какое доставит ему чтение мастерски написанной инструкции. Но скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Баканщик знал эту истину еще от своей бабки, и потому терпеливо покорялся своей участи.

Левая рука начальника вторично произвела фокус с бутылкою. Тут Василий Семенович понял, что набросать инструкцию — не легкое дело! Лоцман все еще продолжал трудиться, когда младший чин доложил, что кушанье готово...

— А? Что такое? — воскликнул начальник, не подымая бровей.

— У меня все готово. Подавать?

— Подожди... Больше десяти минут не потребуется...

Подчиненные только переглянулись: штуку, мол, важную закатит!

— Ну, вот я и окончил, — возвестил лоцман. — Слушайте. «Инструкция старшему баканщику» и прочее, — известно, что дальше, как по форме должно... «Обозрев сего 27 мая участок № 8-й и найдя на оном все в полной исправности, я, вместе с вами, усмотрел новые отмели...» Впрочем, читать дальше не стоит, времени много займет. Передам на словах. Учредите по бую, где образовались новые отмели, маяк освещайте и на баканах ставьте фонари, когда наступят ночи темные или когда на реке случится волнение... Свечей я привез целый ящик. Откупорь-ка, парень!.. Открывай с осторожностью: сверху одна вещь находится, чтобы ее не повредить.

Павел немедленно исполнил приказание начальника.

— Это, что ли, вещь-то, господин казенный лоцман? — вынул он продолговатую картонку, перевязанную накрест бечевкою.

— Она самая! Положь сюда, около меня... Теперь можно и перекусить... Бумагу возьми, Семеныч! Хотя все распоряжения я тебе отдал на словах, но документ сохрани... Ты что же один прибор ставишь? — прервал себя лоцман, обращаясь к младшему баканщику. — Разве вы уж отобедали?

— По правде сказать, сегодня еще не довелось, — отвечал старшой. — Но как бы вас не постеснить?..

— Оставь! — перебил начальник. — Знаешь сам, я человек нечванливый, простой... Ставь, Павел, для старшого и себя приборы!.. Да бумагу храни: в случае чего ты всегда можешь представить высшему начальству оправдательный документ.

— Спасибо, Алексей Максимыч, — поклонился баканщик. — Мы понимаем, что достаточно с вашей стороны одного словесного распоряжения, чтобы оно было нами исполнено в точности; но вы, желаячи нам добра, завсегда очень много утруждаете себя писанием. Мы это очень хорошо видим и чувствуем ваше расположение.

— Совершенно справедливо!

Вавилов сам был убежден, что он доброжелателен к своим подчиненным.

— Единственно для вашей пользы, — сткровенничал лоцман. — Докажу это на предмете. Стоят у вас поплавки, а фонари без внимания... Проезжает ночью начальник, видит, огней нет... Вызывает: «Почему нет огней?» — спрашивает. — «Не было распоряжения, ваше высокородие». — «Как не было? Да я когда еще отдал распоряжение по всей дистанции»... И пошел, и пошел... «Прогнать тебя со службы!» Что ты супротив подобных слов начальника можешь отвечать?.. А как у тебя есть письменный документ, ты сию же минуту: «Извольте посмотреть инструкцию казенного лоцмана, ваше высокородие», — скажешь и поднесешь листик. «А! Это совсем другое дело, братец ты мой! Хвалю! Так и впредь поступай — всегда действуй по инструкции». И высшее начальство тобою довольно, и сам в благополучии остался да еще похвалу получил.

— Что говорить! Бумага — великое дело... Иной клочок, — взглянуть-то не на что, — только, с позволения сказать, плюнуть бы, а смотришь, он многое значит, без него человеку руки связаны... Алексей Максимыч, что же вы позабыли?.. Выкушайте!

— Знаешь, я вина не потребляю.

— Перед горячим-то следует.

— Разве что перед горячим разрешить!.. Давай коли вместе выпьем.

Баканщик налил.

— С приездом, Алексей Максимович!

— Благодарю. Тебя с благополучием.

За обедом лоцман ел с большим аппетитом, сосредоточенно молчал и машинально, как бы в неведении, что творит, брался за бутылку и... выпивал. Старший бакащик не дотрагивался до своей рюмки. Покончив с горячим и жареным, — обед состоял исключительно из рыбных блюд, — Алексей Максимович посмотрел на часы.

— Можно, я думаю, теперь чаю напиться? — сказал он. — Как ты полагаешь, Семеныч?

## IX

Лоцман нашел нужным освободить себя от теплой куртки. Оставшись в ситцевой рубашке и суконных штанах, заправленных за высокие голенища, он довольным тоном заговорил:

— Приятно теперь чайку попить... Да убери ты, Семеныч, эту с глаз долой... Что она тут глаза мозолит? — и, не дожидаясь распоряжения со стороны хозяина, схватил бутылку и опустил ее под стол на пол.

Вавилов глядел другим человеком: морщины на лбу сгладились, брови уже не сушились и никаких признаков «сурьеза» на лице не осталось. Точно вместе с курткой он сбросил с себя начальнический вид! Жестоко ошибся бы тот, кто подумал отнести эту перемену на счет спрятанной посудинки: Вавилову ничего не стоило уничтожить две таких, и никто не сказал бы, что лоцман навеселе. Внимание его теперь особенно привлекали почему-то часы.

— Много времени, Алексей Максимович? — осведомился старший бакащик, покосившись в сторону картонки.

— Без четверти восемь... Славные часики: идут верно, — и по лицу Вавилова прошла добродушно-хитрая улыбка.

— Хорошо вам с ними: завсегда знаете время... Пожалуйста!

Вавилов принял от подчиненного чашку и сделал вид, что собирается пить чай.

— А что же вы перед чайком-то, Алексей Максимыч? — напомнил хозяин.

— Не нужно!.. Если ты желаешь, я побеспокоюсь, — достал бутылку и сам выпил.

За чаем лоцман рассказывал про «аварии», причиненные бурей в верховьях Камы.

— Под Оханским разбило две баржи, близ Осы разнесло плот и на устье Белой расщепало барку... У нас, на некоторых участках, полавки сорвало, маячные столбы повалило.

— А с людьми несчастья не было?

— Доподлинно неизвестно... Слышал, что на устье завозню с бурлаками опрокинуло: вздумали посреди реки на якорь встать!

— Неопытный, значит, лоцман?..

— В этом вся беда: не сообразил, глупая башка, что на устье буря сильнее, чем на плесе. Да что толковать! На легких пароходах помощники капитанов — мальчишки, совсем никакого понятия о фарватере не имеют, а им доверяют командовать.

— Оттого, видно, и несчастья-то бывают?

— Конечно! Опять только слава, что легкие пароходы, а нет ни одного, который не вез бы большой клади. На прошлой неделе один почтовый шел, не помню какой, — только пароход старый, ветхий, и на нем груза одного железа шесть тысяч пудов. Идет, трещит весь, а борта от воды на какой-нибудь аршин всего... Какая может произойти авария, если где в бойком месте буря застигнет? И вся команда, и весь экипаж должны погибнуть! Одному не удивлюсь я: как мало еще у нас несчастий бывает!

Павел Иванович, все время молчавший из почтения к лоцману, решил предложить вопросец:

— Как же им дозволяют? Поди, водяное начальство обязано наблюдать?

Вавилов снисходительно улыбнулся: «молод парень», подумал, «здравых понятий о подобных делах не имеет».

— Пароходоладельцы жалуются, — продолжал лоцман, — что они в убыток работают, а сами каждый год по пароходу да по два новых строят.

— И видно, что убытки велики терпят! — заметил улыбаясь Василий Семенович. — Как хлеба в верховье, Алексей Максимыч?

— Хороши. Только от бури местами полегли.

— У нас тоже смоталась рожь.

— Как бы большой-то урожай на-нет не сошел?

— То-то вот!.. Об этом я все и думаю.

Вавилов кушал с белым хлебом чай и говорил:

— К слову — насчет хлебов. Перед самой бурей случи-

лось мне сутки в Пьяном бору выжить. Переселенцев-хохлов там видимо-невидимо: до четырех сот семейств привалило. Ехали в Благовещенск, на Амур, а очутились в Благовещенском заводе под Уфою.

— Как же они прошиблись?

— До Самары ехали правильно. Хотели подняться до Богородского, а оттуда на Камском пароходе в Пермь бежать. В Самаре им дали новый маршрут: по железной дороге на Уфу, «а там», сказали, «пешком дойти близехонько». Хохлы, со всем домашним скарбом, с колесами и фурами, так и сделали. В заводе им разъяснили ошибку и посоветовали спуститься до Пьяного бора. Пришли они туда в проливные дожди, трое суток на берегу, близ пристани, табором стояли. Пароходы их не принимают: «Разве вас», говорят, «столько-то поместишь?» Куда деваться от холода и мокроты? Живой нитки ни на ком не осталось, детишки режут. Пошли в село. Начальник там принял в них участие: выпросил у купца амбары для помещения. Дали телеграмму в Нижний. Пароходчики отказываются, только один согласился: берется везти их до Перми от Казани.

— Так сперва, значит, им надо по Каме спуститься, потом по Волге до Казани ехать, и оттуда уж тем же путем обратно мимо Пьяного бора в Пермь?

— Иначе не соглашаются: не стоит нарочно пароход от Пьяного бора посылать: путина невелика, мало интереса для пароходовладельца.

— Как же они решили?

— Неизвестно. Я уехал, они в селе остались. Кажется, намереваются до Богородского спуститься, не возьмут ли их на баржу или барку. Но с характером народ: едут за тысячи верст и фуры с колесами с собой везут. Унимали их бросить это добро, — не согласились. «На чем же мы будем ездить, когда на место приедем?» — говорят. — «За провоз заплатите в двадцать раз дороже, чем они стоят». Слушать не хотят: уперлись, и не сдвинешь их с места.

— Хохлы — народ упрямый, — сказал Василий Семенович. — Вот, к нам слух был, в Соколках тоже переселенцы неделю или больше просидели из-за пароходов — не принимают. Говорят, бедствовали как, не приведи бог!

— Ну, хохлы-то, должно быть, народ не бедный...

— Так зачем старину они кинули?.. — спросил Павел Иванович.

— А вот сейчас узнаешь. Надел от своих помещиков

они приняли малый; но, пока землю снимали в аренду, жили недурно. На их беду в последние годы усилились свеклосахарные заводчики: заарендовали помещичьи экономии под свеклу, цены нанесли до ста рублей за десятину, крестьянам и не под силу: не у чего стало им хозяйствовать.

— А земля в ихней стороне хорошая? — спросил Василий Семенович.

— Земля богатая. «Сколько», говорят они, «мы ни ехали, нигде такой земли, как у нас, не видели: на полтора аршина один чернозем. Только в Уфимской губернии земля на нашу походит».

— Всех, значит, одна причина заставляет родную сторону покидать: где земля негодная; а где богатая, — там у мужичка ее нет.

Вавилов сделал неловкое движение и задел картонку.

— Не переложить ли вещь-то на другое место? — выразил готовность услужить старший бакащик.

— Не беспокойся, — ответил лоцман и полюбовался своими часиками, а по лицу его снова прошла улыбка.

Павел Иванович из своего угла подавал старшему таинственные знаки. Тот постиг их значение и обратился с речью к начальнику.

— Не слыхали вы, Алексей Максимыч, на верховье кто не лишил ли себя жизни.

Брови лоцмана высоко поднялись.

— Нет, не слыхал. А что?..

— Сию минуту вам доложу. Павлуша, где у тебя карточка?

Павел Иванович оставил свой угол и подошел к столу.

— Вот, почитайте!

Лоцман взял карточку, посмотрел на нее прямо, повернул одним углом, потом другим и уставился рассматривать подпись имени. В течение какой-нибудь минуты густые брови его то поднимались до крайних пределов возможности, то опускались и совсем закрывали глаза. Он не раз даже потер себе переносицу.

— На пункте нашли? — спросил.

Младший чин уже сам подробно отрапортовал начальнику о месте своей находки. Тот выслушал и, не выпуская из рук карточки, решил загадку так:

— Двадцать девятого или тридцатого Николай непременно лишит себя жизни. Под вторым числом прописано слово: «непременно». Однако, факт беспримерный!



— Бог пожалует, не допустит, может, до самовольной кончины, — проговорил Василий Семенович.

Вавилов пожал только широкими плечами и ничего не сказал.

— Как вы полагаете, Алексей Максимыч, какая причина его заставила?

Лоцман полагал, что какое-нибудь большое несчастье заставило.

— Не обронил ли человек деньги?

— Весьма возможно: из-за потери имущества люди случается, расстаются самовольно с жизнью.

Баканщик высказал еще несколько предположений. Вавилов признал все основательными и возможными. На челе его лежала темным облаком какая-то дума или напряженное усилие о чем-то вспомнить. Баканщик продолжал.

— Женщина у нас была, богомолка, она говорила, что от любви могло это с человеком случиться.

Лоцман только отмахнулся.

Младший баканщик, не отходивший от стола в ожидании услышать от лоцмана что-нибудь новое, не выдержал и сказал:

— По нашим догадкам, человек он не простой...

В одно и то же время парень почувствовал на плече тяжелую руку лоцмана и услышал громовой голос:

— Стой!.. Ты думаешь, он не из простых? — и, задав такой вопрос, Вавилов выхватил из-под стола бутылку.

Затуманилось ли у него в глазах, или по ошибке, — он плеснул вина вместо рюмки в чайную чашку, затем выпил и ударил себя по лбу.

— Осенило! — воскликнул. — Теперь все обозначилось, и Николая этого я видел. Вот как дело было. Вчера утром я выехал из Каракулева. Бежал на Любимовском. Погода стояла отличная. По мостику, где чистая публика, перво-классники, разгуливал молодой человек лет так двадцати трех, очень красивой наружности, с тонкими усиками и светлой бородкою, — вроде твоей, Семеныч, но еще поменьше и много нежнее; одет, как следует господину, и в шляпе новомодной; на одном лацкане серого пиджака, — вот здесь, — блестит золотой значок. Все пассажиры, обыкновенно, разговаривают, смеются между собою; а он ни с кем слова не промолвит, ходит взад и вперед по мостику, на других внимания не обращает и только папироски одна за другою курит. К устью Белой подбегаем. Молодой че-

ловец остановился, снял шляпу и стал глядеть на реку. Прибежали, а молодой человек все стоит, не покидает своей позиции...

В голубых глазах старшего баканщика вспыхнул тот же овет, как во время рассказа великановского приказчика о женитьбе Потапова, и он вполголоса проговорил.

— На Белую?

— Что? Или ты догадываешься? — спросил лоцман.

— Так, припомнилось... Рассказывайте, я после вам объясню.

— Наконец, тихо повернулся и в задумчивости отошел от перил. Я заметил его лоб — белый, нежный, и волосы светлые, кудрями вьются... Все обратили на него внимание. Надел шляпу и прошел на кормовую часть, где нет публики. Позвал официанта, кофею себе спросил. Пассажиры любопытствуют, спрашивают, кто такой. Никто не знает. Спросили каракулиных — не знают. Один только сказал, что молодой человек с их, Каракулевской, пристани сел... Бежим. К Пьяному бору подстаем. С конторки татарин Арасланка глядит, смеется и кричит молодому человеку: «Что твоя, барина, больно скоро поворотил? Аль что позабыл?» Тот улыбнулся, да как будто с печалью этакой улыбнулся, и ответил: «Нет», говорит, «не забыл, а хорошо, если бы забыл»... Сказал и отошел. Я спустился вниз, взбежал по трапу на конторку и спрашиваю Арасланку: «Кто такой?» — «Добрый барина», говорит, «подушку на пароход тащил, денег мне двугривенный дал». — «Да кто он такой?» — «А кто он, — сам спрашивай его. С Белой утром бежал, а отсюда на Каменском по Каме вверх гулял, теперь опять вниз бежит»... Свисток! Больше я не успел Арасланку расспросить. Вопрос татарина и ответ молодого человека некоторые пассажиры слышали; я сообщил, что от Арасланки узнал. Любопытство публики удвоилось. Не знаю, приметил это молодой господин, или наскучило ему гулять, только в очень скором времени с мостика удалился. Ехал доверенный сибирского золотопромышленника, — такой бойкий на разговоры и прожженный человек, — очень заинтересовался господином и вызвался перед публикой узнать, кто он и откуда уроженец. Повременивши несколько минут, доверенный отправился в каюты. Обошел первые классы — нигде нет... По третьему прошелся. Увидел. Сидит молодой человек с какой-то бедной женщиной, ребятенки с ней оборванные, и в сторонке мужик, муж этой бабы...

Переселенцы, оказалось, с новых мест на старину возвращаются... Тихо, благородно так барин с женщиною разговаривает. Поговорил, встал и вынул порт-монет. «Вот вам», — сказал и сунул женщине в руку бумажку. Переселенка, конечно, перекрестилась и к господину: «Батюшка, как мне за тебя молиться-то? Скажи имечко свое!..» Как он назвал себя по имени — неизвестно, потому женщина доверенному не объяснила: «Не расслышала», ответила, и деньги показала — красный билет... Челны впереди выглянули... Вижу, наш «Крейсер» у пристани. Барина нет... Подошли. Я не спеша по лесенке схожу на палубу. Мимо, смотрю, этот баринок с подушкой, обернутою в плад, пролетел. Отдал он матросу билет, и сам торопится на конторку. Матрос глядит ему вслед. «Что, или знакомый господин-то?» — спрашиваю. — «Посмотрите, — показывает мне билет: — до Чистополя взял, а сошел здесь: за что лишние деньги платил?» Билет первого класса. Полюбопытствовал я, с конторки последил: барин на извозчике в село катит... Спросил о нем нашего стражника — не знает...

— Так и не ведали, кто он?

— Нет. Но сегодня от этого же стражника узнал, что барин этот вчера же ночью убежал вниз на Григорьевском пароходе, но билет взял в третьем классе до Лаишева.

— Не малоумный ли какой?

— Не заметно... По лицу видать, что человек не в себе, но с переселенцами говорил здраво.

— По вашему мнению, господин этот и есть самый Николай?

— Беспременно он, — с уверенностью ответил лодман. — Жалко, переселенка имени его не расслышала... Но у меня совсем из головы вышел этот барин, а как вот парень сказал, что человек не простой, в ту же минуту и вспомнил.

Василий Семенович передал рассказ о женитьбе Потапова.

— У меня тогда же блеснуло на мысли, не он ли, что генеральской дочке нравился, но уверен не был и Николаю Петровичу не сказал.

— Хорошо сделал, — одобрил Вавилов, — посмеялся бы он вдоволь над тобою. От любви не умирают люди. Слышал я, в газетах описывали, что будто случаи бывали; но тому причина была другая, да на любовь свалили. А что Николай этот и мой барин — один и тот же человек.

— Что ж нам делать с этой карточкою, Алексей Максимыч? Объявить начальству не требуется ли?

— Зачем? Кто он такой? Притом, разве мы знаем, какой смертью он окончит свою жизнь? Возможно, что он сгоряча так написал, а после раздумает!.. Если и исполнит свое намерение, то может быть не у нас, а где-нибудь пониже... Не слезет же он с парохода на бакалах? Не думаю, чтобы и в Соколках сошел...

— Значит, надо отложить всякую заботу об этом Николае?

— Отдать на власть Божию, — закончил лоцман. — Пособить вы не можете.

В сторожке было светло, но солнышко уже опускалось за гору, разливая прощальные лучи.

— Половина девятого, — проговорил Вавилов. — Какой пароход должен первый пройти!

— Почтового не пришлось бы подождать, — отвечал Василий Семенович. — Другие все пробежали... Александровский должен бы сейчас быть, да на нем позднее придете, чем на почтовом, хотя тот ближе двух часов утра не пробежит.

— Тем лучше! Я завалюсь на Александровском спать и просплю до пристани, на которой почтовый догонит; там пересяду. Пора, если так, мне собираться: на реке лучше подождем.

— Как угодно. А то соснули бы у нас...

— Спасибо... Ну-ка, куда ты, сирота, запряталась? — вытаскивая бутылку, говорил лоцман. — Болтается еще на дне. Рюмку на дорогу выпью, а остальное хозяину... Не забыть бы мне чего у вас? Да, полшубок.

— А вещь-то захватите!

— Какую? Не помню...

— Да рядом с вами лежит.

Вавилов удивился, но щеки его почему-то надулись.

— Экая память! Действительно, вещь эту из свечного ящичка вынули. Но для чего я привез ее и что это за вещь, — хоть убей, не помню. Погляжу... Павел, распакуй-ка!

Павел взял картонку.

— Осторожнее! Не хрупкое ли что лежит?

Лоцман сидел, положивши ладони на колени, и поглядывал на баканщиков; щеки его больше раздувались, и он дышал точно кузнечные мехи.

Павел вынул вещь из картонки, снял бумажный колпак, — и перед глазами всех блеснул новый циферблат.

— Часы!

Лоцман не в силах был дольше сдерживаться и разразился таким громовым смехом, что хохот приказчика перед лоцманским показался бы слабым и неудачным подражанием. Спавший где-то котенок как полоумный вскочил от этого смеха и бросился в открытую дверь; петух на шесте встрепенулся, и куры тревожно забормотали.

— Спасибо, Алексей Максимыч! много вам благодарны.

Красные, загорелые щеки лоцмана вздрагивали, и из груди его вместе со словами вылетел хохот.

— Забыл, совсем забыл... Ха-ха-ха!.. Нарочно подле себя положил... Лучше, полагал, вспомню. Заговорились... Ха-ха-ха!.. и позабыл... Что, думаю, баканщики косятся, словно по правую мою руку что видят... Ха-ха-ха!.. Забыл, совсем из головы вон!.. Приколачивайте! При мне и в ход пустим. Я по своим часам поставлю. Забыл... Ха-ха-ха!.. Вот память-то какая нынче стала!..

## Х

Чудесная погода установилась: дни ясные, теплые и безветренные. Изредка перепадали дожди. С утра светит солнце; на небе ни облачка. Откуда возьмется, — набегут тучка, и послышится шум: прольется частым дождем, накроит землю и все, что на ней зеленеется и цветет, — и торопится уж куда-то убежать. Снова выглянет солнце, опять везде сухо, только на траве, на листьях деревьев и цветах сверкают дождевые капли с играющими в них солнечными лучами; горы как будто вздыхают радостно, серебрится голубая даль, сияет и манит; воздух, от счастья точно, замер и не движется.

На пункте тихо и безлюдно. На следующий день по отъезде начальника баканщики приступили к немедленному исполнению инструкции. Среди дня они сняли Арину Степановну, которая возвратилась от сестры, и прямо с парохода перевезли на левую сторону, где встретил ее с лошадьми поджидавший кучер. От молодой женщины приятели узнали, что сестре ее несколько лучше, но доктор объявил, что на полное выздоровление рассчитывать трудно:

болезнь какая-то в ней «особенная». Припадки с больной стали реже, но «все еще представляется», и добавила:

— Светлый ангел в золотых локонах у изголовья сидит и дедушка к себе зовет: плачет, плачет, что внучка медлит, долго к нему не идет... Детки-то, детки, словно понимают, вьются круг матери, не отходят от нее и все в лицо ей заглядывают, целуют больную.

Арина Степановна очень жалела, что не застала странницу.

— Скажите, если придет, что я с большим нетерпением ожидаю ее. Очень понравилась мне Марья Ильинична. С открытой душой она человек. Жизнь ведет праведную, трудовую, по святым местам ходит, но нисколько тем не кичится: грешницей себя называет... Вот, сестрице-то полегче стало... Может, она, странница-то, помолилась, и бог услышал ее молитву.

День бакалники провели на участке: в разных местах появились новые красные шляпки.

Перед вечером, возвращаясь домой мимо Красного яра, Павел завел, было, речь про «Николая», но старший прервал:

— Нам уже его не видать, коли в Лаишев пробежал. Что ежели там уж окажется.

В сторожке, за ужином, они говорили о Вавилове, припоминали его фокусы с бутылкою и проделку с часами, при чем оба не раз смеялись шуткам хитрого лодмана.

— Не забыл, однако, привез, — говорит Василий Семенович. — Теперь завсегда будем знать время.

— С ними веселей, — сказал младший.

Часы начали бить. Бакалники подняли на них свои лица и слушали, пока бой не кончился.

— Ловко! Десять, и стрелки показывают то же.

— Что ж, после хлеба-соли не залечь ли нам спать. Ты, пооди, рано на рыбалку закатишься?

— Как только забрежжит.

— Коротки ночи стали. Скоро заря с зарею будет сходиться.

— Час ударит, я и вскочу... По-настоящему бы с вечера следовало: дед Егор говорил, что соловушка с одиннадцати часов запеваёт.

— Справедливо. Надо мне еще разок его послушать: дивный соловушка.

— Так махнем?

— Вставать не захочется: поусталось, так долго проспим.

Павел не проспал... Еще не было часу, он встал и отправился.

Восток уже белелся. По воде лилась и рассыпалась соловьиная песнь. Ботничек приткнулся к жерлицам. Павел закинул удочку...

Когда взошло солнце, к нему подъехал старик со внуком и завел речь, по обыкновению, про давнюю старину. Понимать деда было трудно, рассказывал он как-то темно и загадочно, но Павел слушал его с большим вниманием. Хорошо и жутко!

— А ничего ты не заметил, дедушка? — спросил парень, когда старик приостановился.

— Ты о том?.. Не думай, парнюженька, — заговорил дед: — пытаться судьбы господней никому не дано. Что есть человек на сем свете? Былинка в поле. Растет она, радуется красному солнышку, с любовью встречает теплый дождик и свежую росу, слушает вольных птишек, что целый день поют ей песенки святые, и жить бы ей, былинке, веки вечные. Но пахнуло холодком, тронул ее мороз, — и нет былинки, ровно и не бывало ее никогда. Человек превосходит былинку: гордится своим разумом и силою; ему подвластны все твари на земле и в водах. Иной копит золото, строит палаты и дворцы, повелевает другими, равными ему по естеству; перед ним все преклоняются и трепещут. Могуч, силен и знатен, мечтает, что не будет конца-края дней его блаженству. Вдруг хворь на человека. смерть его постигла, и остался от него только один тлен, как и от былинки. Попробуй, попытай судьбы господни: почему в нем жизнь прекратилась? Не спознаешь. Почто человеку родиться и жить, коли рано или поздно надо умереть? Не пытай — не откроется, потому — тайна господня... Не выдаст тайны и Кама река... Возьми ты это в разум; записку его поймет, может, только одна-единая душа на свете, а для ума прочих постижению она не доступна. Богу известно, какое горе страшное, тоска безысходная писали ее! Так нешто Кама выдаст? Да она, матушка, еще пуще окутает эту тайну, чтобы не проникли люди, не разворочали своими ее руками.

— Как понимать твои слова, дедушка? — спросил Павел. — Душа эта... женщина, девушка?

— Не ведаю. Не пытай и ты... Не откроется. А соло-

вушку, если по-настоящему желаешь послушать, так с ночи прибегай, тогда и запевку, и начало, и все ты услышишь. Недолго ведь он у нас прогостит.

— Беспременно ужю я вечером прикачу... А не видал ли ты человека какого? Не хоронится ли в кустах!

— Ты это про дурака-то спрашиваешь? Не опасайся. Иванке его не поймать... Прощай пока... Нет, Мосеичеву соловушка не дастся... Герасимушка, тронь веслецами-то, соколик!

«Мудреный человек! — думал парень. — И все у него тайны... А много взаправду, должно быть, по Каме всяких делов творилось в прежние годы. Кудесники жили, чудь какая-то, беглые из России укрывались. Пугачов здесь проходил... Отчего про Ермака Тимофеича не слышно? Сибирь покорять Камой он шел, — я читал в книжке. Поспрошаю деда. Может, он что расскажет».

Взглянул парень на куполообразную, покрытую золотыми кудрями, вершину Шелом, на Горе-камень, — угрюмые тени последнего не смягчились даже от ласкающих лучей вешнего солнца; посмотрел на кусты, где распевала соловей, и решил вернуться на пункт.

Точно такой же, как и накануне, прекрасный день стоит. Так же, как и вчера, набежала тучка, пролилась частым дождем и понеслась дальше, где ждали ее приклоненные ветрами к земле колосья, чтобы она вспрыснула ниву и дала им силы, а солнце уж выпрямит их, и они будут попрежнему любоваться ясным небом.

Соснувши часа два после обеда, бакащики, по заведенному порядку, навестили своих красных и белых поданных, не перестававших приветливо кланяться и благодарить за оказываемое им внимание, а вместе с тем и свидетельствовать, что они в добром здоровье и всегда рады стараться.

— Взглянь-ка, что этакое идет? — кивнул Павел.

Невдалеке, посреди реки, показалось нечто весьма оригинальное и непривиданное. Плыли одна за другою пестрые толпы народа: в разноцветных нарядах виднелись женщины, мужчины, одни стояли, другие сидели на возвышениях. Но всего загадочнее в этом явлении представлялось то, что народ подвигался вперед при помощи какой силы или механизма — понять было невозможно. Но, спустя некоторое время, когда легко было различить загорелые мужские, женские и детские лица, секрет открылся



сам собою: впереди, попрыгивая и вертя колесами, валил пароход с крупной надписью: «Сила». Этот чудо-богатырь, не больше сказочного мужичка с ноготок, тащил за собою шесть плотов с народом, телегами и разным домашним скарбом. Так как «Сила» плелся почти шагом, то баканщикам ничего не стоило подойти к одному из плотов и итти с ним рядом.

— Куда справляетесь, почтенные? — спросил Василий Семенович.

Рослый, крепкий и загорелый мужчина отвечал:

— На Амур, в Благовещенск переселяемся.

— Так это вы сидели в Пьяном бору?

Переселенец удивился.

— Э! Да як же ты знаешь, добрый человек?

Баканщик объяснил.

— Много плутали, — сказал переселенец. — Время даром потратили и в расходы лишние себя ввели... Добре, что взяли на плоты до Чистого поля. Туда придет большой пароход, посадит нас и повезет до Перми.

Из-за плеча малоросса выглядывали другие лица, с любопытством спрашивая, что за люди в лодке и чего им нужно; рядом с ним молча стояли два паренька, один лет десяти, другой — двенадцати, с красивыми черными глазами, смотревшими задумчиво.

— Из каких губерний сами будете? — спрашивал баканщик.

— Кто из Харьковской, кто из Полтавской, а кто из Черныговской. Я — черныговский, казак... А вот мои сыны, — показал на пареньков казак, и в глазах его prominently выразилось отцовской гордости.

— Славные пареньки, — полюбовался Василий Семенович...

— А вот, скоро ли их дождешься? Один, весь я тут, что хочешь делай.

Разговор продолжался. На тележках станках, мешках и сваленной одежде группами и в одиночку сидели молодые и пожилые женщины; выставлялся ситцевый очипок, с морщинистым лицом, и по щекам старушки медленно стекали слезы. Старый казак, посиживая на корточках, курил коротенькую трубку; рядом кричал в люльке грудной ребенок; тут же паробки рассказывали дивчатам что-то забавное и раздавался приятный молодой смех; на разостланной свитке или кожухе валялись ребятенки: одни за-

гибали друг другу «калочи, другие о чем-то разговаривали, весело смеясь.

Баканщики проводили плоты до крайнего поплавка и распрощались с переселенцами, пожелав им благополучного пути и хорошо устроиться на новых местах.

— Спасибо, добрые люди!

Лодка отстала. «Сила» повалил дальше.

— Когда доползут они до Чистого поля? — говорил в раздумье старшій. — А сколько еще впереди им маяться! Путьна долгая... Ребятенки-то измотаются.

— Ну-ка, что это люди-то делают: на Уфу велели им ехать!

— Озорники. Бога не боятся.

Помолчали, младший прибавил:

— Теперь я буду знать, что за народ хохлы, — на-смотрелся. В мужиках отличия от прочих русских мало. только они в сапогах ходят, на головах картуз носят; а вот девки у них не такие, как наши: пригожие, чернобровые да аккуратные...

— Вишь ты, разглядел!

Прекрасный весенний день уходил; незаметно подкрадывался вечер. Солнце, расставаясь с землею, как будто еще щедрее рассыпало золотистые лучи, обстреливая высокие берега, гриву леса и далекие поселки. Отчетливо выделялись стволы высоких сосен; Красный яр весь пламенел, расплавленным золотом горели стекла в окнах поселка и лесопильной конторы.

Перед вечером жизнь ненадолго оживает. Через реку на пароме переправлялось стадо ближней деревни, над водою с криками вились и кружились сизокрылые чайки; в теплом воздухе, задорно щебеча, с быстротой молнии взлетали и опускались к земле ласточки, гоняясь одна за другою; приятные, грустно переливчатые звуки раздавались в лесу: то куковала бесприютная кукушка. Но звуки и голоса постепенно начали слабеть, слышаться реже и тише...

Баканщики сидели перед оконцем на лавочке и любовались картиной. Солнце опустилось. Река, лес и вся окрестность разом смеркли. Красный яр потух... Но, одно мгновение, — и запад позолотился и вспыхнул, розоватые волны трепеща понеслись по земле и затопили заречную луговую сторону, — Красный яр снова и как-то гневно зарделся. Над головами баканщиков прожужжал майский

жучок, стукнулся обо что-то твердое и шлепнулся на землю; вблизи жалобно чирикнула пролетевшая пичужка, еще какой-то неопределенный замирающий звук пронесся, — и тихий, теплый вечер мягко обнял речную долину.

Пробило девять часов. Младший вспомнил о соловье.

— Пойдем на рыбалку-то? — предложил он старшему.

— Не знаю... Обоим-то, пожалуй, неудобно будет отлучиться... Поезжай уж ты один.

Павел захватил на всякий случай полушубок, запасся хлебом и покинул своего товарища.

Вечер медленно потухал. Кротко горела нежно-пурпурная заря. На светлосинем небе затеплились звезды. Горы, луговая сторона и река стали погружаться в дремоту. Шелом весь виден, на одной его стороне лежит отблеск догорающей зари; гора как будто растет и раздвигается, внизу встают легкие, едва различимые глазами, воздушные тени; Горе-камень, нависнув над водою, глядит еще угрюмее и загадочнее.

Кругом — ни звука, нигде не всплеснет рыба, все безмолвно и везде царит тишина.

Близ родника, повыше жерлиц, причален ботничек; в нем на спине лежит парень. Глаза его устремлены на высокое небо; он видит, как звезды увеличиваются, блестят светлее и лучистее, загораются другие, новые, сверкают и переливаются разными огоньками.

«Вот еще одна выглянула, — думает парень... — Как хорошо засветилась... Другая... Еще!.. Да сколько их там — видимо-невидимо! И все разные: одна побольше, другая поменьше, ато вон какие маленькие, чуть разглядишь!.. Много... И горят они тоже разное, неодинаковый в них свет. Дивно все устроено богом!..»

По мере того как он всматривался в самую высь неба, стыскивая там множество новых звездочек, и глядел на яркие созвездия, на душе его становилось так покойно и невыразимо хорошо, что позабыл, где он, зачем приехал и чего ждет... В кустах точно малиновка свистнула... Погода послышалось «тук, тук!» Парень не пошевелился: он засмотрелся на большую лучистую звезду, чувство сладкого покоя разливалось по всему его существу и веки тихо смежились...

— Кто на реке? — раздалось среди молчания и тишины ночи.

Вода зашуршала, и о ботник что-то слегка ударилось.

Павел открыл глаза: перед ним белая голова и лицо мальчика.

— Дедушка! — отозвался он.

— В самый раз ты поспел, — сказал рыбак. — Начал уж... Это у него запевка... Слушай: до утра он все колена проделает... Ну, оставайся с богом!.. Ужо, как ворочусь, приверну к тебе. Расскажу про Разбойный лог.

Сон с Павла соскочил.

— Разбойники?!

— В логу этом разбойники укрывались, потому разбойным и прозывается. Ведь, что по Каме, что по Вятке, много их в старинные годы водилось... Вот, на моих памятях они барки с расшивами опоражничали, купцов, господ грабили. В Казанской губернии атаман Чиркин был: тот много душ христианских загубил, но больше помещиков истреблял... Да после расскажу, надо поспешать; с полверсты еще за Горе-камень — там у меня сети-то поставлены.

— Побеседовал бы, дедушка, — попробовал удержать старика парень. — Я хотел тебя про Ермака Тимофеича спросить, что Сибирь-то покорил...

— Ведаю. Да он Камой, глядеть, не поднимался ли. только когда на Сибирь шел, а остановок больших не делал и по ней, матушке, не гулял с своими ребятами... На Чусовой, неш, не порасскажут ли чего про Ермака... Вот Емельян-то Иваныч точно проходил нашей стороной и делов кое-каких понаделал...

— Я знаю про него, дедка, — прервал внук: — это Пугачов, что за самого царя себя выдавал.

В груди старика что-то тихо засмеялось.

— Ты у меня чего уж не знаешь! — говорил посмеиваясь дед. — Человек ты до всего дотошливый... Поедем-ка однако, роженный, недалеко, чай, полночь; отдохнуть до зорьки не успеем. Соловушку нам и оттуда будет слышно. Оставайся со христом, парнюженька!.. Вишь, разговорами-то своими мы помешали ему петь: знать испугался голосов в неурочное время.

Рыбачья лодка отделилась от ботника, скользнула и пошла кверху.

В ночном сумраке выделялась белая голова старика. Посиживая, как всегда, на корме и гребя лопаткою, он посмеиваясь негромко говорил:

— Да, понаделал-таки он делов... Дал себя знать...

Как бы глупостей не делал, поостерегся дурных людей, так он бы... так ли еще... погулял... да показал себя...

Павел не мог разобрать всех слов, но голос старика не скоро еще замолк.

Оставшись один, баканщик осмотрелся. Величавая царственная ночь! Кругом все стемнело, луговой берег отодвинулся неведь куда и расплылся; тени сгущались, и у подножия гор толпились бесформенные великаны, медленно размахивая нето какими-то чудовищными крыльями, нето пеленами; Горя-камень за ними уже не видно: они окутали его своими широкими белесовагосерыми покрывалами. Шелом, казалось, глубоко-глубоко о чем-то задумался или уснул. Синее небо сверкало, звезды ярче блистали и заглядывали в гладкую поверхность водяной шири. Павлу почудилось, что они не просто звезды, а живые и мигая шептали: «скоро, скоро»... Жутко!.. В кустах снова раздалось: «Тии-вить! Тук!» Он ободрился, присел и начал слушать. Не раз повторились одни и те же звуки: «Тии-вить!.. Тук! Тук!.. Тии-вить!..» и по реке точно что рассыпалось... Приостановился соловушка, помолчал и новое колено пустил... «Славно!» — подумал парень и, отдаваясь постепенно во власть певца, поднял глаза к небу. Опять — знакомые уже звезды, переливаясь голубым, желтым и зеленым огнями, привлекли его внимание; опять приятное ощущение покоя охватило, пение соловья показалось еще лучше и нежнее, и густые ресницы Павла закрывались сами собою...

— Что за оказия: спать хочется! — проговорил он и бросил взгляд на реку.

Попрежнему там мигали звезды, и снова ему почудилось, что они шепчут: «Скоро, скоро!..»

«Вот наваждение! — подумал он с досадою. — Это еще что!»

В темноте что-то вспыхнуло, и на воде отразилось пламя. Баканщик быстро повернул голову и увидел на Шеломе разложенный огонь. Минуту-две горело пламя, потом как-то разом упало, оставив только небольшое светлое пятно. Погодя взвились и посыпались искры, повалил дым и снова вспыхнуло, озарив на месте мужскую фигуру и лицо с открытою головою, — и быстро пропало в густом мраке. Шелом закрылся черным покрывалом и принял строгий грозный вид.

Сперва баканщик не мог дать себе отчета: так все слу-

чилось для него неожиданно. Потом он пришел в себя и начал разбираться... Первая мысль, промелькнувшая в голове, испугала и заставила его вздрогнуть... Другая мысль пришла и, кажется, более соответствовала действительности: «верно, кто из Семякова пришел соловья послушать — либо дьякон молодой, либо учитель...» Он принялся глядеть на темную вершину, которая неясно, но вырисовывалась своим куполом; вглядываясь дольше и пристальнее, он заметил выделяющуюся на синем фоне неба тень фигуры, похожей на человека, лежавшего, подпершись на локоть...

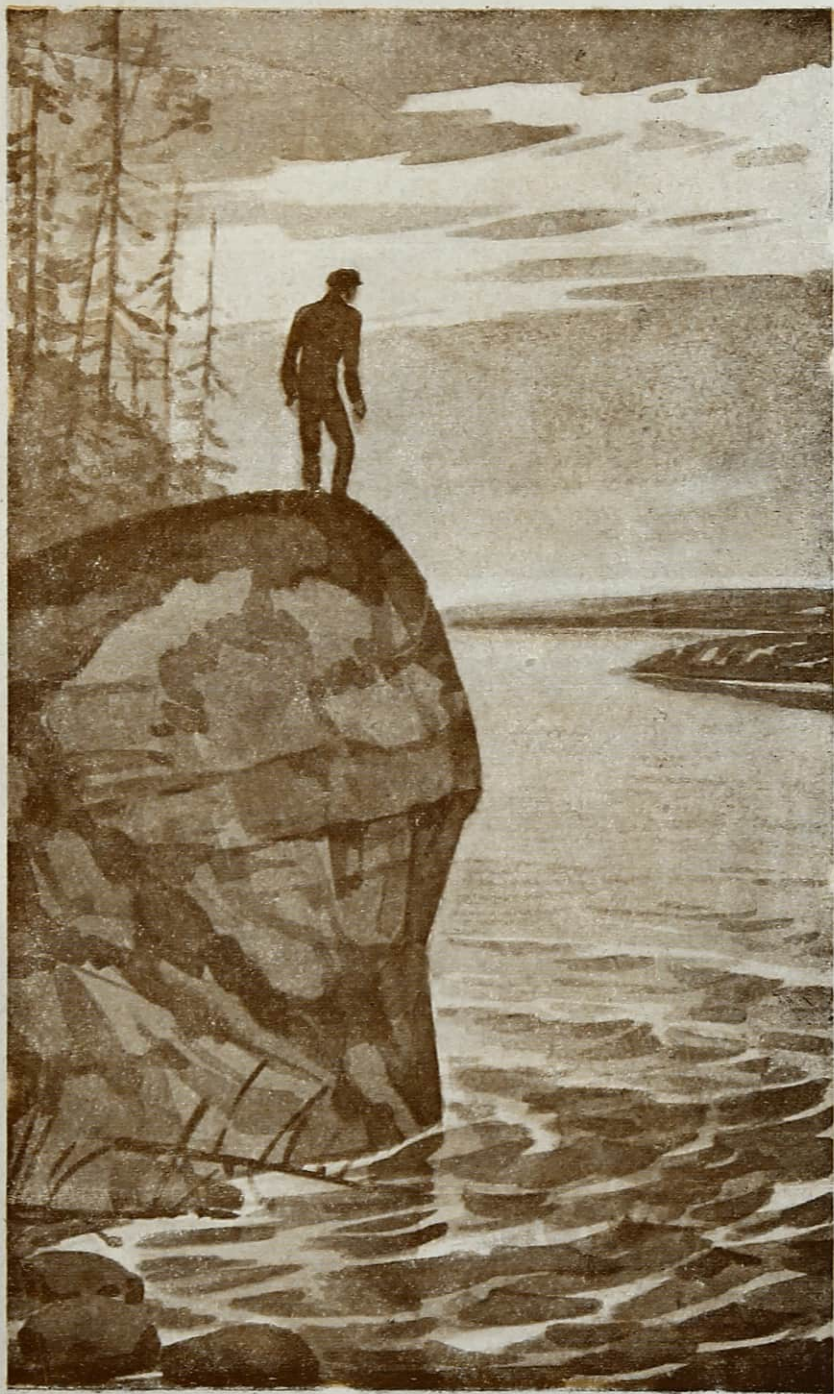
«Ну, таки есть, — решил в уме Павел: — соловья он слушает. Может не один, с товарищем там»...

Соловей, между тем, распелся и песня его среди молчания ночи то высоко подымалась к звездному небу, то раскатывалась по горам и ущельям, то рассыпалась по беспредельной речной долине. И чем дольше он пел, тем больше хотелось слушать, и захватывало дух от восторга и очарования. Не одно чувство молодой и жизнерадостной любви, охватывающей всего человека и заставляющей его позабыть весь мир, — не одно это чувство поднимает в груди песня соловья; она наполняет сердце горьким, мучительным чувством обманутой любви и разбитого счастья, будит сознание безрадостно прожитой жизни, без теплого участия и нежной ласки; подымает воспоминания о несбывшихся надеждах, упованиях и вере светлой юности.

Молодой бакащик, захваченный весь песнею соловушки и счастливо улыбающийся, совсем позабыл о странном явлении, которое его так удивило, и не заметил, как человек, также, по его мнению, пришедший на Шелом послушать соловья, оставил гору и ушел. Когда парень о нем вспомнил и взглянул на вершину, то никого уже там не было.

— Ну, и бог с ним!» — подумал бакащик.

Пение и рокот раздавались громче и страстнее, заполняли горы, реку, лес и заречье. Звезды слушали, перешептывались и, словно трепеща от страха, роняли лучи с посветлевшего неба. Седые великаны мерно раскачивались, как будто собираясь тронуться куда в далекий путь; некоторые успели подобрать широкие полы своих мантий и открыли Горе-камень... Павел слушает и смотрит на звезды; снова покой и сон на него нисходит... Но соловей поет новую песню: не о любви и счастье, а о чем-то ином песня его, как будто — слезы и мольба к кому-то... Парень открыл широко



большие глаза и видит: на Горе-камне сидит человек, одетый в серый пиджак и с открытой головой!.. Та мысль, которая пришла ему при виде огня и мелькнувшего лица на Шеломе, охватила его и теперь. Павел вздрогнул, чуть не вскрикнул... Проворно сбросив причалку и сдвинув ботник, он прыгнул в него, ухватился за весла; сильным взмахом, но почти беззвучно направил вдоль берега, стараясь держаться, как можно ближе, чтобы не быть замеченным. Небо все больше светлело, тени пугливо прятались, и река с берегами выступила ясно и отчетливо. Быстро, но бесшумно парень подвигался вперед; до камня оставалось не больше двадцати-тридцати сажен; он уже рассмотрел фигуру, сидевшую на утесе, узнал в ней «барина», о котором рассказывал Вавилов, и желание, могучее, страстное желание спасти этого человека одушевило и подняло его до неузнаваемости... Еще несколько минут — и он достигнет своей цели, не даст человеку погубить себя!.. Сидевший на камне повернул свое молодое, красивое, но исполненное невыразимой муки лицо, блеснул золотой значок, и глаза его встретились с глазами Павла! В один миг он вскочил, выпрямился и, крикнув: «прощай!», кинулся с камня в реку... Павел, бледный и испуганный, видел, как молодой человек исчез, и по воде пошли широкие круги; он еще сильнее ударил веслами и двинул ботник...

Из воды вынырнула светлорусая голова с мокрыми кудрями, белым лбом и испуганными глазами. Павел не выдержал и крикнул:

— Подержись! Минутку... Одну минутку!

Молодой человек держался.

— Николай!.. Николаша, минутку!

Тот сделал небольшое усилие и посмотрел на парня, который находился от него не более как в одной сажени.

— Лови! — крикнул Павел, бросая утопавшему веревку. — Не ухватил... Берись за весло... Я покреплюсь, не опасайся, не опрокинешь.

На Павла смотрело лицо...

— Спасибо, — проговорил несчастный. — Не нужно, — и он рукою оттолкнул весло.

— Батюшки! Да что же это? — завопил парень, едва справляясь с ботником, относимым и поворачиваемым в разные стороны течением. — Николай, болезный, родимый! Не делай этого, не губи себя... Пожалей свою молодость!

Заря алым сиянием обливала того и другого. В голубых



глазах молодого человека промелькнуло что-то трогательное и хорошее.

— Прощай, брат... Спасибо.

Выговорил, взглянув еще на Павла, и тихо погрузился.

— Пстой! — вырвалось отчаянным воплем у парня. — Богом тебя молю... Спасу...

Не слышит!.. Идет ко дну.

Несколькими богатырскими ударами баканщик подвинул к берегу и глубоко всадил нос ботника в землю. Разувшись и сбросив рубашку со штанами, он перекрестился и кинулся в воду, к месту, где расходился большой круг. Нырнул раз, два — не нашел... Увидел — пузыри пошли. Снова нырнул и опять без успеха. Продолжая плавать и нырять, Павел только приговаривал: «Ох, господи! Погибнет!..» Не зная что делать и не теряя надежды найти, он стал громко кричать:

— Помогите! Человек погибает! Подайте помощь!

Вблизи стояла одна лесопилка, но оттуда никто не показался.

— Дед! дедушка Егор?..

Заря широко разгоралась, горы светлели и, полная тоски и скорби, неслась соловьиная песня.

— Дед! дедушка Егор! — зывал Павел.

Рыбачья лодка сверху уже летела на этот призыв.

## XI

Не мало хлопот было с утопленником. Приехал урядник. Три дня проискали. Как ни старались, ни усердствовали, чтобы найти, все плесо изъездили — нигде не попали на тело.

— Не хлопочите, — говорил старик Егор: — втуне труды ваши останутся. Если бы он как ненароком утонул, иное дело, ато сам помощи не пожелал принять, беслецо от себя отстранил... Нет, тайну река не выдаст.

Урядник побывал на Шеломе, отыскал там в пепле остатки истлевшей шерстяной материи и кусочек касторовой шляпы, потом на баканы прибыл, чтобы составить «акт». Снял показание с Павла и записал; сделал легкое внушение баканщикам, что не сохранили карточки, — она куда-то затерялась, — и раньше ему не сообщили.

— Хорошо, что вы показывали ее казенному лодману, —

слово «казенный» урядник подчеркнул, — ато могло бы возникнуть сомнение: утонул человек, видел это один, а не предупредил, не схватил человека и не представил его ко мне или в стан. В подобных делах нельзя так поступать, господа баканщики!

— Как же я схватил бы его? — оправдывался парень. — Он не подошел ко мне, не сказал, что хочет в реку броситься, а когда я заметил его на камне, так поспешил к нему...

— Следовало предупредить: увидел на Шеломе огонь и человека, скорым шагом марш туда, потребовал от него вид на жительство и задержал.

— Напрасно вы так говорите, Сергей Трофимыч, — вмешался старший: — мало ли кто по берегу огонь разводит, так ко всякому подбегать да всех ловить?

— Ну, конечно, всех поймать будет затруднительно, но вот в подобных-то случаях... Впрочем, подозрения на вас не может пасть, вы сами люди служащие и довольно нам известны, но другой на вашем месте подвергнулся бы большой неприятности... Что ж, господа баканщики, чайком или водочкой вы меня попотчуете? — неожиданно заключил урядник.

Уехал. После него у Павла в коробке отыскалась и карточка; но старший нашел ненужным отсылать ее к уряднику. Вскоре пошли слухи, что в деревнях перед самым этим несчастьем видели какого-то молодого барина: проходил он сверху, в руках нес за ремешок маленький узелок; в одной деревне он пил молоко и скушал всмятку парочку яиц; с лица казался «сумным» и ни о чем не разговаривал, а только, будто бы, «с печалью как» взглянул на ребятенок, которые сгруппировались в сторонке и с любпытством рассматривали барина, — особенно интересно им было узнать, что за штука на груди у него блестит. «Бобылке за молочко и яички полтинник пожаловал, а ребятам на гостинцы дал три двугривенные». Семякинские рыбаки тоже рассказывали, по два дня примечали молодого господина с узелком; разгуливает по бережку, на гору подымается, опять сойдет на берег и гуляет, а сам ровно что высматривает. «После-то мы догадались, что это он место для себя удобное выбирал, а тогда и в голову никому не пришло: гуляет себе да гуляет!»

Павел Иванович с неделю ходил точно потерянный, был задумчив и спал тревожно. Старший не раз слышал, как он по ночам с собою разговаривал:

— Молодой, красивый... Смотрел на меня, глаза хорошие, добрые... «Спасибо» — промслвил, — «не нужно...» Заранее решил покончить жизнь. Не даром подле двойного числа слово-то у него было прибавлено: «непременно»... А все же, видно, долго не решался, жалко было с молодой жизнью расстаться... Ах, Николаша, Николаша... Поди, родные есть, мать-родительница...

Первые дни парень чувствовал озноб и жар, болела голова; но это не мешало ему осведомляться о здоровье своих «молодчиков», проводить каждое утро на рыбалке... При взгляде на Горе-камень или Шелом он всякий раз испытывал что-то тяжелое: не то чтобы на него страх напал, он не был суверен, но ему делалось как-то не по себе, и он спешил поскорее отвернуться ст свидетелей людского горя. Но что его изумило и сделало место рыбалки еще более печальным, так это то, что соловей перестал уже петь! Он подумал на промышленника: «верно, Моисенчевы словили».

— Где ему! — презрительно сказал дед. — Нет, не полагай на него... Улетел в другое место наш певун, не пожелал петь на погибельном месте. Он и прилетел-то сюда, догадываюсь я, не ради нас, а ради того, кто теперь на дне матушки Камы успокоился. Учужал солсвушка, что человек недоброе над собою затевает, прилетел на Каму и поселился в кустах у родника: знал, ведь, где и место себе выбрать. Распевал, поджидаячи его... Слышал ли ты допрежде, чтобы он когда так пел, как в злосчастную ночь? Я издалека его слушал, инды всплакнул: больно уж хорошо и тепло у меня на сердце сделалось... Для него, Николая, соловей пел, хотел отвлечь его: послушает, мол, человек песню мою чудесную, вспомнит, сколько еще на белом свете радости, веселья безгрешного да любви святой живет; послушает, выкинет свое горе из молодой груди и отойдет утешенным, домой воротится с сердцем облегченным и радостным... Ан не то вышло! Горе ли помешало, али слышал он плохо, не дошло все до сердца, о чем ему пел соловушка — бог ведает!.. Кого же теперь ему утешать? Улетел!..

Василий Семенович, видя перемену в своем товарище, спросил: — Не болен ли ты, Павлуша?

— Нет!.. Знобит, словно бы, легонько и жарок есть, да ничего.

— Долго в воде ты пробыл. Назябся. Попить бы тебе чего на сон: пропотел хорошенько и легче бы стало.

— Пройдет.

И не обманулся, хворь скоро прошла. Но выражение лица оставалось задумчивым, сумрачным. дождался он первого воскресенья и отпросился у старшдго в село за обедню.

— Отправляйся, — охотно отпустил старшдй. — С родными повидаться, погостишь у них день-два.

— Я сегодня назад оборочу.

— Гости. Я обойдусь пока без тебя, из начальства к нам вряд ли кто приедет.

Павел не воспользовался этим разрешением и вернулся в тот же день к шести часам вечера. Василий Семенович заметил, что парень глядит повеселее.

— Экой ты! не пробыл у своих и дня, — встретил он товарища. — Как съездил, что дома?

— Все здоровы. Наказывали тебе кланяться.

Парень рассказал про свидание с родными, про деревенские дела и все местные новости. Разговорился Павел Иванович.

— Слышали и там про несчастье-то... Много говору в народе пошло... Да больно несуразно толкуют.

— А что?

— «Испортити барина, — говорят: — нечистые его в реку затащили». Матушка спросила меня: «Вправду ли, сынок, люди рассказывают, что как ты весело-то потопавшему подал, ему только бы ухватиться, а из воды чья-то ручища выставилась и не допустила?» На кудесников показывают, будто бы они причиной. «Деда Егора, — говорят, — сколько раз кудесники в гости к себе зазывали. Едет он ночью рыбачить, проезжает мимо того, проклятого-то Горя-камня, а они, седые да огромнеющие, кудесники-то наклоняются низко и просят: — «Егор Панкратыч! да заверни хоть однава: скучно нам без дела, идольских богов наших всех поуничтожили, а коих земель ваши закидали, жертв нам теперь и некому больше приносить. Привороти лодочку-то: курмышкой тебя ублаготворим. У нас она, — толкуют, — старая, от времен идольских бережется, а не такая, что вотяки лопают». Бывал старик-от у кудесников, только вреда они ему не сделали, потому сам он, Егор-то, от колдовства много знает, и те его за самого близкого приятеля почитают...»

— Так и говорят про деда? — перебил старшдй.

— Слово в слово их вранье я тебе передаю. «Пото-

му, — догадываются, — дед и на рыбную ловлю туда ездит, от кудесников он штуку одну имеет, рыбу-то приманивать. Оттого он и привозит домой полную лодку с добычею».

— А не говорят, кто сам-то утопший?

— Как не говорить! Но тут, ежели послушать, ума можно рехнуться. Кто скажет: «беглый, из Сибири ушел, мешок с золотом на спине волок...» Другой еще лучше придумает: «Ан и не беглый! — скажет, — врешь ты все, как сивый мерин. Это купеческий сын, из Москвы он будет. В Нижнем, где ярмарка, с арфянками да в разных заведениях почудил, полмиллиона отцовских денег спустил. Близ года в одной губернии выжил под чужим прозвищем, и никто бы его личности не спознал, да приехал туда новый губернатор и ото всех потребовал пашпортов и портретов. Купеческий сын и бежал, потому открыли бы, кто он есть, а ему к отцу показаться нельзя: тот прямо к земскому начальнику его предоставить хотел...» Плетут, выдумывают, сами после не разберут... Я и слушать не стал. Говорю: ума рехнешься.

— Значит, настоящего-то никто не знает?

— Где знать!

Помолчал младший; лицо его приняло серьезное выражение и, понизив голос, он прибавил:

— За обедней был... Помолился я за Николая-то, свечку за упокой души перед распятьем поставил.

Проходили дни, недели. Погода менялась: после ясной и жаркой наступила ветреная и дождливая. Маяки по ночам давно уже были иллюминированы: сквозь стеклянные шары они глядели на реку красными и зелеными огненными глазами; на баканях светились фонари. Но ни рыбаки, ни баканщики за все это время не видели, чтобы проплыл мимо утопленник. Спросили однажды Моисенчева: ему со стрелки лучше было приметить, чем другим.

— А что мне за надобность, — отвечал промысловый человек. — Антиреса в том я никакого себе не предвижу. Пускай продолжает свое путешествие.

— Человек же ведь он, а не овца. — заступился Павел Иванович: — следует утопшего земле предать, похоронить человека по обычаю христианскому.

— Ну, ты и хорони, ежели желаешь, а нас это дело не касается. Я совсем напротив даже полагаю. Приплыви он ко мне на промысел, я обошелся бы с ним очень даже просто:

оттолкнул от берега и пожелал бы ему счастливо продолжать дальше путь.

Молодой баканщик всплыл.

— Как есть ты истукан бесчувственный, Мосеичев! Говорить с тобой, — один грех на душу принимать.

Весть о неизвестном человеке, самовольно утонувшем около баканов 8 участка, разнеслась по всему Прикамью, везде об этом говорили, делались всевозможные предположения; но настоящей причины смерти никто не знал, равно и того, кто был погибший.

Так: река не выдавала утопленника, и люди не знали, кто был «Николай».

В одну из июльских ночей Павел Иванович покатила на участок. Перед этим только что прошел сильный ливень и была страшная буря. Он захотел узнать, в каком состоянии находились фонари: не скинуло ли их или не потух ли в каком огонь. Благополучно объехал «молодчиков», привел везде в порядок что нужно и возвращался в своем ботнике на «пункт», то есть, в сторожку. После дождя и грозы воздух был как-то особенно чист, тепел и приятен; с лугов пахло свежим сеном. По небу ходили еще черные тучи, порою из-за них выплывал месяц, но снова прятался. Баканщик выехал из коренной и, оставляя влеве стрелку, взял прямо, чтобы подняться вверх, а потом спуститься к освещенному маяку. Луговой берег, как всегда кажется ночью, сливался с рекою, а нагорный с своими вершинами, закутавшись в черный покров ночи, глядел угрюмо и таинственно; внизу его хоронились, поджидая кого-то, чудовищатени. Павел, забирая вверх, затянул было песенку и остановился. Выглянул месяц и осветил речную долину. Горы разом выступили и подвинулись, река выделилась широкой, светлой полосой; в лунном свете обозначилось что-то черное, плывущее по воде... Дрожь прошла по телу баканщика, но он смотрел вперед, не спуская глаз. Ему показалось, что черный предмет колыхнулся и приподнял лицо... Павел бесстрашно поплыл наперерез. В эту минуту туча закрыла месяц, и лицо исчезло. Прошло минут пять. Снова выглянул месяц и осветил плесо, но того предмета, который парень видел, уже не было: вместо тела утопленника плыла черная коряга. Золотистой чешуею сверкала река; по необъятному небесному своду раскинулись звезды, задумчиво глядел берег и тихо мерцала даль...

Однообразно текла жизнь баканщиков. Вечером они ез-

дили к поплавам и ставили на них фонари, потом освещали маяки; утром снова отправлялись и гасили огни; днем опять разгуливали, осматривали и поправляли что требовалось. Два раза летом навестила баканы супруга Василия Семеновича, появляясь каждый раз, как добрая утка, в сопровождении целого выводка птенцов, крепко державшихся на своих толстеньких и здоровых ножках. Тогда старая избенка с площадкою оглашалась веселыми криками малышей, их бесшабашной вознею и звонким, далеко разносившимся смехом. Перед отплытием почтенной женщины в обратный путь смех ребячий сменялся ревом, так как птенцы вовсе не хотели уходить от своего тятки. Тогда «дядюшка» Павел всовывал баранки в их маленькие рты, и птенцы умолкали, а отец говорил, что поедет с ними. После этого посещения в хижине еще дня два-три слышались отголоски счастливого дня: звенел детский смех, мелькала добрая женская улыбка и переливались, как светлый ручеек по камешкам, тихо задушевные речи.

Чем дальше шло время, чем больше к концу приближалось короткое лето, тем пустынное становилось на пункте. Все реже и реже появлялись сторонние посетители: побывал как-то еще великановский приказчик, завернул по делам службы казенный лоцман да один пассажир, сошедший с парохода, заказал уху — и только, больше никто уже не заглядывал на баканы. В свободные часы, особенно в ненастную погоду, Павел Иванович доставал из коробки ту или другую книжку, усаживался на скамейку и перечитывал в двадцатый раз одно и то же. Василий Семенович слушал, иногда вставлял свои замечания, но чаще гереносился мыслями в родную деревню, к семье, и думал, что делается теперь с хлебом: «убрать не успели; дожди все льют. Помилуй бог, как из снопов начнет расти! Беда!» Льет дождь, свистит и завывает ветер, на воле зги не видать. В хижине тикают стенные часы; раздается глос чтеца...

— Хоть бы где книжку новую достать, — перебивает он свое чтение: — хороши эти, да уж давно знакомы.

— Негде раздобыться-то, — подал голос старшдй. — Не продают их в нашем городе: купцы не охотники читать, книжками и не торгуют.

— В том и горе наше...

Дождь хлещет, в оконце ударяет ветер.

— Не проведать ли нам баканы? — говорит Василий Семенович: — все ли там в порядке.

— Так что, — отзывается парень: — смахаем!

Около половины августа установилась хорошая погода. Опять настали ясные, теплые дни, хотя далеко уже не жаркие, как в июне.

— Если бы подольше такое время постояло, — заговорил Василий Семенович, — управились бы крестьяне с работами, свезли с полей хлеб и яровое убрали. Помилуй бог, ежели опять дожди польют: прорастет весь хлеб и яровое погибнет!

Был праздник успения пресвятой богородицы. Приятели пообедали.

Старший располагал соснуть, а младший — заняться приятным чтением из географии.

— Где люди? — послышался снаружи женский голос.

Любитель географии повысунулся в оконце.

— А! здесь...

Павел увидел пожилую, но довольно еще красивую женщину, одетую в драповый бурнус и с покрытою шалью головою.

— Кого вам угодно?

— Скажите, здесь баканщики живут?

— Так точно... Здесь пункт 8 участка... Я младший, а за мной, в сторожке, старший баканщик находится.

— Не выйдете ли вы, мой друг?

Парень подался назад, выпрямился и повернул лицо к старшему. Тот молча кивнул головою.

Павел вылетел.

Незнакомая женщина сделала несколько шагов в сторону.

— Кажется, тут у вас очень тихо. — обвела кругом черными глазами женщина.

Баканщик оказался в затруднении: его спрашивают или про себя говорят? И решил, что нужно отвечать, и что перед ним не простая женщина, а важная барыня.

— Так точно, сударыня.

— Теперь я вас спрошу, — понижая голос, начала «барыня». — Здесь, говорят, нашли бутылку с визитной карточкой?

— Так точно. Я самый и нашел — вон там, на Красном яру!

— А то место, где утонул неизвестный человек, вы можете указать?

— Как же! Я в то самое время на рыбалке был...



— Не дадите ли вы посмотреть карточку, если она у вас сохранилась?

Павел смахал в хижину и скоро вернулся с карточкою.

— Подождите! — сказала барыня и направилась в сторону огорода.

Там, у изгороди, стояла другая барыня, в круглой шляпе с широкими полями, одетая во все черное, с маленькой шагреновой сумкою через плечо. Поля шляпы скрывали верхнюю часть лица, только виднелись тонкий подбородок, нежные с легким румянцем щеки, прямой нос и красиво очерченный рот. Не трудно было догадаться, что она была молода и красива собою.

Павел был крайне удивлен и стоял боком, устремив глаза на реку. Послышалось ли ему, или в самом деле — вблизи его вырвался из чьей-то молодой груди нето сдержанный крик, нето стон... Порядком растерявшись, парень сделал неловкий поворот, и глаза его упали прямо на изгородь. Удивление достигло высокой степени, когда он увидел, что барыня, одетая в черное, лежала на груди той, с которой он разговаривал, и эта последняя держала ее в своих объятиях, склонив над нею голову... Затем он услышал разговор, но ничего не понял: говорили не по-русски. Прошло минут десять, пожилая барыня вернулась к нему и сказала:

— Далеко от вас то место, где... утонул человек?

— Недалеко. На лодке в полчаса, много в три четверти можно туда и обратно съездить.

— Так потрудитесь, мой друг, свозить нас!

Павел скрылся.

— Я готов, — появляясь снова, доложил он о себе.

Баканщик покатил вперед, чтобы приготовить лодку. Пожилая барыня, взяв молодую под руку, бережно пошла с нею за парнем.

Скоро от маяка отвалила лодка. Два человека провожали ее глазами: один с площадки горного уступа, а другой, выглядывая из-за кустов, со стрелки.

Павел Иванович, мерно взмахивая веслами, подымался с дамами вверх по реке. Они сидели на лавочке, одна подле другой, и молчали. Пожилая смотрела прямо, а молодая не подымала опущенной головы. Так проехали около версты.

— Далеко еще? — спросила молодая по-французски.

Лицо пожилой дамы повернулось к гребцу, и она повторила вопрос.

— Недалечко, — ответил баканщик. — Вон, — показал он головою, — налево, гора высокая — Шелом, а под нею — Горе-камень, с коего тот, Николаша-то, кинулся...

Одна вздрогнула, и голова еще ниже склонилась, а рука другой быстро обвилась вокруг ее стана. До самого места никто больше слова не проронил. Рука все время обнимала тонкий стан, и молодая плотнее прижималась к своей спутнице.

Из под широких полей шляпы Павлу виднелись часть белой нежной шеи и густые черные волосы, подобранные кверху; он часто взглядывал и продолжал думать. Зелено-кудрявый Шелом высился уже над лодкою, серый камень-скала мрачно глядел в нескольких саженях.

— Где прикажете остановиться?

Ответ позамедлился.

— Мы хотим войти на камень, — сказала пожилая дама.

Лодка скользнула мимо скалы и, пройдя еще немного, остановилась у берега; Павел выскочил и живо причалил.

— Подождите, сударыня. Я сперва осмтрю, где поудобнее вам будет пройти.

Парень скрылся из глаз. Послышался сдержанный голос.

— Не отложить ли, мое сокровище?.. Зачем туда?

— Нет, я хочу, хочу! — болезненно отвечал другой.

Павел скоро воротился.

— Пожалуйте!

Старшая попросила баканщика помочь ей выйти; молодая сама как-то стремительно выпрыгнула. Лицо ее скрывала теперь густая вуаль.

— Вот здесь пройдите, по-за-кустиками, — показывал Павел, идя вперед. — Так... А теперь прямо на него подымитесь....

Молодая сделала порывистое движение, старшая подхватила ее под руку.

— Мы одни пройдем, — сказала последняя. — Вы, мой друг, подождите нас в лодке.

Павел сам догадывался что ему нужно где-нибудь подождать.

— А я пройдуь бережком, посмотрю тут места, — ответил. — Вы кликните, когда я понадобится.

Узенькая, чуть приметная тропинка, извиваясь, вела к громадному камню-скале, обросшему по бокам зеленым бархатистым мохом. Фигура его напоминала чудовищного ме-

гатерия<sup>1</sup>: почуял зверь добычу, приподнялся до половины, чтобы ринуться на жертву, но, вместо добычи, увидел реку и окаменел. По хребту камня-зверя женщины взобрались на вершину. Едва они достигли площадки, которою оканчивался Горе-камень, молодая затрепетала вся, и силы покинули ее: она упала бы, если бы рука другой во-время не поддержала.

— Боже, что я сделала!.. — вырвался мучительный вопль.

Шляпа с головы сдвинулась, открылось юное лицо красавицы.

— Дитя, не ты, — мы одни виноваты! — дрогнувшим голосом заговорила пожилая. — Ты спасла...

— Не говорите!.. Я... я убила... Он здесь, близко... Я вижу его, он смотрит на меня...

И заломив свои руки, она упала на грудь матери, судорожно забилась и зарыдала. Долго на камне слышались одни рыдания, переходившие в тихий горестный плач, да нежные слова матери, незаметно ронявшей слезы на дочернину голову. Когда плач утих и красавица поуспокоилась, мать тихо проговорила:

— Пора нам, мое сокровище!

Дочь медленно подняла лицо, достала из сумки золотой крестик на шелковом шнурке и повесила его на тоненькую пихточку, выбежавшую из трещины камня.

— Помолимся, мама! — и она опустилась на колени.

Лодка плыла в обратный путь. Дамы сидели лицом к гребцу; по просьбе старшей он рассказывал про несчастный случай. Молодая слушала и смотрела то на страшный камень, то на Шелом, склоняла голову и снова устремляла глаза на камень и гору. Пожилая во время рассказа делала некоторые вопросы; но молодая ни слова не произнесла. Павел Иванович добел рассказ до того места, когда ему пришлось броситься в воду и плыть к утопавшему, и закончил рассказ так:

— Догадайся я раньше это сделать, тогда, может, бог и помог бы мне спасти утопающего, поборолся бы с ним раздетый-то! А на ботничкишке только время напрасно потерял: начало его вертеть да кидать во все стороны, а крепиться мне невозможно — руки заняты... Как я после бранил себя!

<sup>1</sup> Мегатерий — большое допотопное животное.

Уж очень жалко было Николашу! Молодой, глаза добрые, — и так помереть...

В голосе рассказчика слышалось искреннее и глубокое чувство. Помолчав, он обратился к старшей:

— Карточку-то вы пожалуйста мне обратно, я буду сохранять ее!..

Большие, полные мольбы и вместе испуга, глаза поднялись на парня, и он в первый раз увидел лицо красавицы.

— Не берите! — прозвенел слегка дрожавший голос: — она дорога мне.

Павел был поражен и красотой, и голосом молодой женщины; он не сразу дал ответ.

— Извольте-с, — вымолвил он и перевел дыхание. — А осмелюсь вас спросить, — прибавил: — вы родственницей приходитеесь?..

Старшая поспешила ответить:

— Я чужая, а она сестра покойному.

Павел Иванович думал предложить другой вопрос, но пожилая барыня заговорила с молодой по-французски, и он не посмел уж больше спрашивать.

Перед сторожкой на столе пошумливал самовар, когда барыни и молодой баканщик показались на площадке. От чая они отказались, а попросили холодной воды. Посидев на скамейке и отдохнув, дамы встали.

— Прощайте, добрые люди! — сказала пожилая. — А это вам за труды, мой друг!

Павел снял фуражку.

— Старшему передайте, сударыня... Василий Семенович!

Тот подошел, принял и поблагодарил барыню.

— Как нам на гору взобраться? — спросила барыня. Лошади наши там ждут.

— Я вас провожу, сударыня! — вызвался молодой баканщик.

— Пожалуйста!.. Прощайте, Василий Семенович.

Молодая молча поклонилась.

Барыни удалились. Павел шел впереди. На втором уступе отдохнули. Молодая казалась очень утомленной. Собираясь подниматься выше, она попросила у проводника руку; тот протянул ладонь. Красавица сама взяла его за руку как нужно, и Павел почувствовал неловкость, но оправился и только проговорил:

— Да вы хорошенько обопритесь ручкой на мою, — легче вам будет идти, сударыня.

Достигнув вершины горы, дамы снова отдохнули, прежде чем сесть в тарантас, стоявший вблизи дороги.

Молодая достала что-то из дорожной сумки и подала парню.

— От меня, — сказала.

Павел отказался.

— Возьмите, прошу вас! — и глаза красавицы с выражением какой-то трогательной печали и мольбы остановились на лице баканщика. — На память о нем... брате... — добавила она поспешно и всунула в руку Павла бумажку.

Растерявшийся парень не успел опомниться, как обе дамы, поклонившись ему, направились уже к экипажу. Не взглянув на подарок, он положил бумажку в карман суконных штанов и побежал к тарантасу; помог барыням сесть, поправил подушки и застегнул кожаный фартук. Ему еще раз поклонились, и лошади тронулись с места.

Несколько минут он стоял неподвижно, смотря вслед за уносившимся экипажем, и в широко раскрытых глазах его, кроме недоумения, светилось еще что-то новое. Только тогда, когда скрылся тарантас из вида, он надел картуз и тихо направился к уступу.

Василий Семенович встретил его вопросом:

— Ну, что, не узнал, кто такие барыни?

— Одна — сестра Николая, а другая-то, постарше — чужая.

Павел подробно рассказал.

Василий Семёнович выслушал и задумался.

— И какая красавица сестра-то покойника! — воскликнул парень. — С роду такой не видывал, да никогда вдругорядь и не увижу.

— На брата похожа?

— Сходства мало. Молоденькая барышня черноволосая, глаза большие темнокарие, — похожи на глаза той барыни, что постарше...

— Пожилую-то я хорошо рассмотрел, а у молодой лицо сеточкой было завешено...

— При мне открывала... Да ты что думаешь-то?

— Ничего особенного не думаю... Взгляни-ка, чем за труды-то старшая наградила!

Павел увидел красный билет.

— Ой, ой!.. Вот счастье-то... Надо и мне поглядеть, что молодая пожаловала? — и запустил руку в карман.

— Разве и молодая? — удивился старшой.

Но еще большее удивление выразилось на лицах бакалщиков, когда младший вынул «пожалование» молодой красавицы: оказался радужный билет.

Павел даже вскочил.

— Батюшки! — закричал он во весь голос. — Да что же это?.. Уж не во сне ли я? — и как ребенок, весело засмеялся и принялся креститься на образ.

— Бог тебе счастье послал, — проговорил старшой, — и в лице его не промелькнуло ни малейшей тени зависти. — На-ка, возьми и эту да запри к себе в коробку.

— Не нужно! Эта вся твоя!

— Что ты, чудак?

— Нет, ты уж не обижай! Товарищи мы, я всегда доволен тобою... Пожалуйста... У тебя детки... А я... Господи! как дома, дома-то у меня все обрадуются.

Василий Семенович отказывался, но уступил и оставил десятирублевый билет у себя. Немного погодя, когда Павел утих, старшой промолвил:

— Сдается мне, что барышня-то вряд ли приходится сестрой Николаю...

Младший вопросительно посмотрел на товарища.

— Кто же она по-твоему будет?

— Наверно сказать не сумею, но будто бы не сестра... Не скорее ли она сродни другой барыне, пожилой-то?

— Ну?

— Да говорю: наверно не знаю, но тут есть загадочка... Впрочем, говорить об этом никому не следует, а то пойдут еще разные толки. Повыждем: время окажет... А пока помолчим. и ничего другим про добрых барынь не скажем... Вон, Мосеичев уж жалует? Помни же: ни слова! А я знаю, что сказать этому выжиге.. Дай бог царство небесное Николаю!

---

Октябрь в половине. Кругом все осиротело! Багряные листья с деревьев летели, кустарник и лозняк оголились и поредели; но хлеб не был еще с полей весь убран, помешали дожди, не перестававшие лить. Тоскливо, печально, куда ни взглянешь.

Утопленник не показывался, и никто о нем ничего не узнал. Дед Егор, потряхивая своей белой головою, только одно говорил:

— Не ждите, никогда не познаете. Кама-матушка тайны

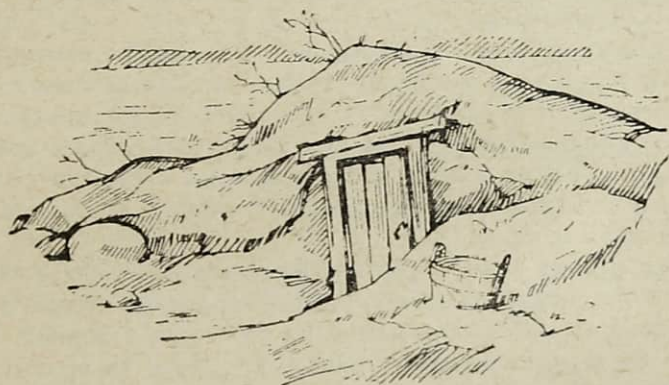
не выдаст!.. Нет, она жалостливая, не попустит, чтобы над горем люди посмеялись. Да и горе тут не одно, страдаст может другая еще безвинная душа, жизнь свою молодую проклинаючи... Так неш река скажет, выдаст тайну. Н-ни-когда!

Баканы и маячные столбы убраны: свалены в плетеном дворике и ветхой избенке. Домашний скарб положен на телегу; в нее же поставили плетушку с курами и петухом. Баканщики помолились на икону, распростились сердечно друг с другом и расстались до будущего лета: Василий Семенович поехал на телеге в свою деревню, а Павел Иванович, посадив на плечи Баловника, успевшего за лето довольно-таки вырасти и возмужать, спустился на берег, сел в ботник, куда заранее сложил свое добро, и покати́л по реке в свое родное село.

И осиротела старая избенка. Глядит она своим слезящимся оконцем на холодную реку, на затуманившееся вокруг небо и терпеливо ждет, когда, вместо льющих на нее непрестанно дождей, белый пушистый снег покроет ветхую крышу и закутает ее, старую, сверху донизу. Простоит она так долгую зиму одна-одинешенька, всеми покинутая и позабытая, и снова дождется, когда теплый вешний луч заглянет приветливо в оконце, с ясного поднебесья польются радостные песни, зашумит могучая река, повсюду раздадутся здоровые, довольные голоса трудовой жизни и звонкий ребячий смех...



# НИКИТИН ПОЧИНОК







## ДУ Я НА АДНАГУЛОВСКУЮ СТЕПЬ.

— Там появился какой-то неведомый народ, — рассказывали мне в губернском городе Уфе. — Вот как есть дикие, так и они: живут нето в землянках, нето в пещерах, и никто их не видит.

— Что же это за люди?

— Неизвестно. Да вот что-то уж давно о них и слуха нет... Так надо полагать, что за лето они вымерли.

— Как вымерли?

— Очень просто. Пришли они на степь, повикопали себе эти пещеры и забились туда, как кроты в норы, да всю зиму там и просидели. А весной — господь знает отчего? — напала, говорят, на них какая-то болезнь, и стали они мереть. Тогда только и выползли на свет, ато сидели бы они и теперь в своих пещерах, никто бы о них так ничего не знал и не ведал.

Меня сильно заинтересовали эти рассказы, и я решил посетить Аднагуловскую степь, чтобы познакомиться с «неведомыми» людьми, если найду из них кого в живых.

Это было пять лет тому назад, именно в то время, когда последовало распоряжение, которым ограничивалось расхищение башкирских земель, называемое на местном языке «дешевыми покупками», а вслед за этим ограничением началась раздача земельных участков на «льготных условиях». Обширные пространства, представляющие девственные степи и чудные заливные луга или прекрасные лесные дачи, были разбиты на несколько серий, из которых каждая заключала в себе десятки, если не целые сотни тысяч десятин; каждая серия делилась на участки, которые и назначались для раздачи в видах награды и усиления в крае русского элемента. Размеры участков, отводимых чиновникам, обуславливались служебным положением лица и близостью его отношений к заведывавшим отводом: кто имел крупный чин и ближе стоял к заведывателям, тот получал большой кусок и в лучших местах и на

оборот. Справедливость требует, однако, заметить, что каких-нибудь особых утеснений будущие землевладельцы не терпели: лица в больших чинах получали от 5 тысяч десятин участки, а состоящие в четвертом и пятом классе — от 2 до 3 тысяч и т. д., но меньше 600 десятин, кажется, никто не получал по первой серии... Слышались, правда, жалобы на то, что чиновникам средней руки нарезки отводились в местах и отдаленных, и диких; высказывались также идеальные желанья, что не разорило бы казну, если бы участки и покрупнее нарезывались: куда девать землю, — ей конца краю не видать?.. Говорилось также, — не это, надо полагать, скорее от вольномыслия, — что лучшие и крупные участки, в которые чудесным образом попали даже корабельные роши, достались на долю лиц, в Оренбургском крае не только не служащих, но и никогда и не бывавших там, и что многие из мелких чиновников, успевших даже обрости мохом, служа на одном месте, совсем были обойдены, и т. п. При мне летом успели благополучно покончить с первою серией, и не медля ни мало, приступили ко второй.

— Скажите, что вы будете делать с этою землею? — спрашивал я новых помещиков.

— Теперь станем ловить мужика.

— А потом?

— А потом, как изловим, посадим его на землю, и сиди он хоть до самого дня страшного суда.

— То есть, вы эту землю продадите мужикам?

— Э, нет, зачем продавать!.. Мы в аренду ее сдадим. Так оно и для мужичка выйдет не обременительно: заплатит он с десятины в год всего каких-нибудь рублей пять или шесть, — где же ему, в самом деле, взять на выкуп денег? — да и нам не будет обидно: какой ни-на-есть, а доход с земли постоянный и верный.

Только одно смущало новых помещиков и кидало легкую тень на светлый фон будущего: они не совсем доверяли своей практичности и сомневались в быстром успехе «ловли» мужика; завидовали купцам, которые при любезном содействии бывших посредчиков так ловко, почти даром, разнесли башкирские палестины и успели их заселить крестьянами.

— Удивительное дело, — говаривали помещики из чиновников, — как эти купцы умеют свои дела устроить! Только он приобрел землю, и купчей еще не получил, а

смотришь — уж целой тучей у него засели мужики... Впрочем, может и нас фортуна не оставит, — переселенцев год от году множится.

Действительно, в том же еще году переселенцев в Оренбургский край нахлынули массы. Во время моих перекочевок я часто встречал обозы, состоящие из десятков подвод, на которых был навален домашний скраб; тут же сидели женщины, старики и дети, а подле телег шагали мужики и парни... Но чаще попадались мне толпы пешеходов, обносившихся, как говорится, до последней нитки и донельзя усталых, с страшно загорелыми, покрытыми толстыми слоями черной пыли, лицами и через силу передвигавших ногами, обутыми в жалкие остатки лаптей. Все имущество этих переселенцев вмещалось в одной убогой тележке, которую еле-еле тащила тоже убогая кляча, до невозможности чахлая, с тонкими ногами и не по росту большими, оттопырившимися ушами... По всему виду и той медлительности, с какою двигались наши странники по черноземным, но пустынным степям, скорее всего их можно было принять за призраки или тени, чем за живых людей...

— Куда вы, добрые люди, пробираетесь? — спросишь их при встрече.

— Новых земель ищем, — отвечает слабым и едва внятным голосом один из толпы, берясь обеими руками за изношенную и всю порыжевшую шляпу. — Не укажешь ли, кормилец, где поблизости?.. Измаялись, истомились наши душеньки, ходючи с места на место...

— Да чего вы ищите, — говоришь в недоумении, — кругом земля?!..

— Да не про нас. У казны, баюг, нет земли, а хочешь — бери у купцов или господ.

— Ну, у них берите.

— Не под силу нам: ценой больно нажимают... Притом и опасно...

— Чего?

— Да год-два не тронут, обстроишься ты и хозяйством обзаведешься, а там, глядишь, и велют убираться: либо самому, скажут, земля понадобилась, али она в тягбе, спорная... Кабы где у казны найти.

И толпа снова удалялась, не зная куда, и что ожидает впереди... Оглядываясь назад, я видел темные фигуры с бессильно упавшими на грудь головами и длинными, как у

огородных пугал, висевшими руками... Но еще резче выступала лохматая голова и огромные уши несчастной клячи.

Не мало труда стоило мне отыскать Аднагуловскую степь, но после долгих расспросов я, наконец, добился результата: в Верхне-Троицком заводе мне указали путь, и я поспешил отправиться. Запас моих сведений относительно «неведомых» людей немного обогатился: кроме мифических рассказов, слышанных мною в Уфе, от заводских жителей я еще узнал, что на Аднагуловской степи «объявились» не «дикие», а «какие-то» переселенцы.

Дорога от завода сперва шла горами и лесом. Ехал я в плетенке — обычном экипаже, в котором ездят по всей Башкирии. Дорога была ужасная, плетенку кидало из стороны в сторону и вскидывало; я постоянно чувствовал толчки и не мало требовалось с моей стороны усилий, чтоб усидеть на месте и не вылететь из экипажа. Но мой ямщик, весьма смышленный молодой человек лет пятнадцати, оставался совершенно равнодушным ко всем подбрасываньям и взлетам: с непостижимым для меня искусством он крепко держался на досчатом и гладком, точно вылощенном, передке и, подергивая ременными вожжами, только время от времени покрикивал на лошадей:

— Но, но!.. Работай!

День стоял теплый, но серый и влажный. По обеим сторонам тянулся лес с пожелтевшими наполовину листьями на березах и дубах, тихо покачивавших своими уже поредевшими верхушками. Прямо чернела глубокая избитая колея дороги, а вверху, над нашими головами, сцепились и ползли гиганты-тучи, сквозь разорванные покровы которых местами проглядывала ласковая синева неба и робко пробивался солнечный луч. На все легла уже печать той своеобразной, тихой грусти, какая, чувствуется, разлита бывает в природе в начале сентября месяца. Неприветливый образ осени всюду носился перед глазами. Ни за нами, ни перед нами — ни одной человеческой души, ни одного живого звука... И среди этой замирающей природы и безлюдья гулко отдается по лесу только один колокольчик, да порою вырвется у ямщика:

— Но, но!.. Пошевеливайся, молодчики!

И всякий раз темный лес, обступавший нас со всех сторон, подхватывал голос ямщика и густым басом повторял:

— Но, но!.. Пошевеливайся, молодчики!

Едем... Вдруг что-то впереди сверкнуло, точно просияло

на мгновение и спряталось в лесной тьме. Прошло две-три минуты. Лошади, не слыша больше понуканий, шли шагом... Еще минута — и я чуть не вскрикнул от удивления и восторга, охватившего все мое существо...

Перед нами сквозь расступившуюся лесную чащу неожиданно встали и поднялись из пропасти, лепясь одна на другую, группы золотистых холмов, а за ними, дальше, потянулись и раскинулись на необозримое пространство цепи гор, вершины которых вздымались к небу и сияли, а других — таяли и тонули в дымке бесконечной дали. И все эти холмы и горы, покрытые желтым ковылем, казались затопленными лучами солнца и поражали величием своей чистой и первозданной красоты... В ущельях гор и у подножия холмов кое-где виднелись уютившиеся селения, а над ними, словно жемчужные тучки, плавали белые клубы дыма, вырезывались зеленые острова и в разных местах синели изгибы реки.

Мы стояли над бездною, на самом почти краю обрыва, по которому змеею извивалась вниз дорога. Я вышел из плетенки, а ямщик, оставаясь на своем месте и принявши почти горизонтальное положение, начал осторожно съезжать в пропасть. Спустившись благополучно, мы очутились в обширной и длинной котловине с зыбким и поросшим мелкою травой дном. Я сел, и мы поехали; по сторонам колес просачивалась и обильно выступала вода.

— Плоха у вас тут езда, — заметил я.

— Это еще что! — отозвался ямщик. — А вот как настоящая-то осень подойдет, так тут все затопит.

— Как же вы тогда ездите?

— Не ездим. Да тут наредкость, коли проедет кто. Вот с весны-то я впервой нонче с тобой еду. А у нас разгон большой, завсе езда.

— Кто же ездит?

— Мало ли народа!.. Чиновники разные, купцы, господа иногда...

— А чиновников много ездит?

— Чиновника-то? — Мальчуган обернулся и пристально посмотрел на меня своими умными глазами. — Лошадей не напасемся. Особливо нынешнее лето совсем задодел: и днем гоняет, и ночью, и за полночь, — то-и-знай колокольчик тенькает. Никакого покою себе не знаем. Вишь, на участки свои все катаются. И откуда, подумаешь, этого чиновника столько взялось? Удивленье!.. Но, бери, вызови, ра-

ботнички! — заключил ямщик, обращаясь к лошадям. —  
Еще!.. Понатужьтесь маленько! Эх вы, молодчики!

Мы выбрались из котловины и неслись теперь рысцой по гладкой степной дороге. Из-за раздвигающихся гор вы бежали нам навстречу свежие и густые зеленыя озими, встречая нас приветливой улыбкой. Группы причудливо громоздящихся холмов в их кротко сияющих золотых покровах отступали направо и точно бы в немом удивлении прислушивались к непривычным для них звукам нашего колокольчика. Погода незаметно разгуливалась: кругом становилось светлей и пригляднее. Из-за туч раза два уже выглядывало солнце, на несколько минут озарявшее дивную панораму, и снова пряталось за наплывавшие облака. Неподалеку, впереди, показалась деревня, вытянувшаяся в один посад.

— Это Николаевка, — сказал ямщик: — надызы живут. А вон, гляди, еще деревня, — не та, что у гор, а другая, на степь которая выбежала... Там тебе лошадей сменять.

— Русская деревня?

— Нет, башкирская — Кындык.

— А что за надызы, ты сказал, в Николаевке?

— Они хрещенные, в церковь ходят. Только у них язык чудной, — что ни слово, все говорят надысь. «Надысь», — говорят, — «становой приехал недоимку выколачивать», «надысь в волостном драли», — все «надысь». Заводские и прозвали их надызами.

— Надызы эти — переселенцы?

— Переселенцы. Из России их пригнали.

— Пригнали?

— Знамо не по своей охоте пришли: помещик их перевел.

— Ты не знаешь, давно это было?

Ямщик задумался.

— Давно! — ответил он помолчав и весьма серьезно. — Вот мне шестнадцатый год, а я не запомню... Матушка моя сказывала, что еще и она в девках, подросточком была, когда надызы появились. Сколько, — рассказывала она, — реву да плачу тогда по заводу было — не приведи господи!

— А заводу-то что?

— Как же! Чай, надызов сперва в завод пригнали, — паренек опустил вожжи, и лошади пошли шагом, а сам он перекинул одну ногу в плетенку и повернул ко мне лицо. — Весной из своих местов поднялись, а к нам только к усленьеву дню подоспели: не близкая путина, може сколько

тысяч верст ехали. Наши-то, сказывала матушка, инды ужаснулись, как надызы к заводу подошли...

— Чего же ужаснулись?

— А думали, что неприятель подступил.

— Что?!

— Да-а! Право слово. Еще где, верст пять, сказывала матушка, такой-то ли страшный шум да гул по земле пошел, а с той стороны, откуда этот шум, ровно облаком свет застило. На колокольне ударили всполох... Из завода, из домов все повыскачили, бегут, кричат: «где, что?» — да как глянули в сторону к Бугульме — ба-атюшки-светы! — этакая страсть оттуда надвигается: залегла по дороге версты на четыре туча, а сама ровно как дымится, вытягивается да изгибается, и ползет к заводу, ползет и гудит, гу-удит... А что в той туче — распознать никак невозможно!.. Вот только пономарь с колокольни как заревет: «Неприятель идет! Киргиз либо башкир опять возмутился!» Наши не поверили, а так порешили, что верно это китаец войной на Рассею идет... Ты ведь знаешь у нас деда Ермилу? — неожиданно спросил меня рассказчик.

— Ермила Яковлевича? Знаю.

(Замечу в скобках, что Ермил Яковлевич — заводский старообрядец, восьмидесятипятилетний старик и большой начетчик.)

— Так дед Ермила — он начетчик у нас — исстари в книгах старинных вычитал, что напоследь времени будто подымется китаец и покорит все земли. А светопреставленья у нас тогда поджидали. Вот пономарь как только подал с колокольни весть, что неприятель подступает, так наши в один голос и зовопили: «Китаец идет!» Начальники, какие в те поры жили на заводе, выбежали к народу: «Братцы, — говорят, — не разбегайтесь, пожалейте вы своих малых деток и не покидайте завода! Хоша враг и грозен, но вы не опасайтесь, — говорят: — мы знаем, он маломогущен, и ему с вами ни за что не совладать». Сказали — да на лошадей! «Мы, — плачут, — только до Белебея; захватим с собой воинства и на подмогу к вам приедем». Сказали и — укатили!.. Ну, мужики сичас бабам такой приказ: забрать всех ребятишек и бежать с ними в горы. А сами начали к войне изготавляться: кто ухватил кайло, кто ружье, кто пешню — разню; у кого какой припас был, такой и взял с собой на сраженье. Изготовились живой рукой, побежали к околице, разбились по кучкам и завалились за избы. Ле-

жат и поглядывают, — китайца-то, значит, поджидают. А туча по дороге знай валит, все ближе напирает. Слышат будто мычанье да скрип поднялись... Точно, погода мало, слышат уж явственно: скрипят телеги, мычат коровы, блеют овцы... «Ну, — переговариваются наши, — должно целая орда подступает: весь скот за собой гонят». Смотрят — из-за выступа горы словно блеснуло что... «Батюшки! — ужаснулись мужики. — Китаец беспреренно палить зачет. Вишь, он уж и ружья наготове держит!» Шибко перетрусили наши, да спасибо Назару Кривому — у него один глаз, да зрячий, видит хорошо: «ратники, — говорит, — храбрые воины! А ведь это не китаец, а простые мужики на телегах едут! вон у них и косы за плечами». Усомнились было: какие тут мужики, беспреренно китаец! — да погода немного и сами разглядели: едет по дороге до трехсот али больше подвод, сидят на тех подводах мужики с косами, бабы и ребятишки, а за телегами и около разная скотина бредет... Со всем, значит, хозяйством и домашней живностью приехали. Пслторы тысячи душ народа-то!.. Так вот он китаец-то какой! — засмеялся рассказчик и подобрал вожжи. — Надызы!..<sup>1</sup> Ну, молодчики!

Мы подъезжали к Николаевке. Через минуту ехали уже самой деревней.

— Вот они, надызы-то, поглядывают! — сказал ямщик, кивая головой на длинные ряды потемневших изб с маленькими оконцами, из которых поспешно высовывались любопытные женские лица и белокурые детские головки.

Вихрем промчались мы улицей. Очевидно мой ямщик хотел блеснуть в глазах деревни своею удалью и похвастаться лошадьми. За быстротой езды я мог только заметить, что против изб, через дорогу, на другой стороне, в беспорядке были раскиданы амбары и погребя, у колодца, посередине деревни, стояли два мужика, проворно скинувшие свои шапки и отвесившие мне по низкому поклону, да на всем протяжении улицы суетливо хлопотали около навозных куч деревенские санитары — свиньи и поросята.

Выехав за околицу, ямщик тотчас же стал сдерживать лошадей.

— А не мало, сказывала мне матушка, напимались тогда горя эти надызы, — начал он. — Пока еще тепло стоя-

---

<sup>1</sup> Надызы — переселенцы из Епифанского уезда Тульской губернии.



ло — ничего, перебивались кое-как, жили в телегах и шалашах, а осенью поделали себе землянки, куда на зиму и поселились. Холод, нужду терпели! Только, бывало, и поедят с малыми детками, что на заводе посбирают... Много их в те поры и на погост снесли.

— Ну, ты, кажется, выдумывать начинаешь?

— Верно. Я говорю тебе необлыжно. Надел и усадьбы отвели им на другой уж год. Разбили сперва на два поселка: Катериновку и Митревку, а после душ два ста в Николаевку выселили...

— Ты мне вот что лучше скажи, — перебил я — кто на Аднагуловской степи живет.

— Вот чего не знаю, не стану я и говорить... Об этом ты уже башкир спроси: они — шабры, поди все знают... Да теперь недалече уж и деревня башкирская: вон ее всю знать... А ты, господи! — воскликнул ямщик: — натка, как вдруг солнышко взыграло!

Мальчуган не ошибся: да, именно, «взыграло». После долгой борьбы с неприятелями-тучами торжествующее солнце, наконец, выкатило и засияло на лазурном небе. Степь, горы и селения — все, что в состоянии был окинуть глаз, вдруг заулыбалось, засмеялось радостным смехом и точно понеслось с благодарностью к красному солнцу.

Кындык принял нас дружелюбно. Башкиры в бешметях и высоких меховых шапках, заслышав еще издали наш колокольчик, высыпали на улицу и ожидали нашего приезда. Ухарски влетев в деревню, ямщик осадил на всем скаку лошадей и громко крикнул:

— Салямаликум!

— А, малай, здорово!.. Давно ты к нам, Андрей, «не гулял!» — раздавались голоса, и башкиры, пожилые и старики, пожимали руку мальчугана. — Кого привез? Чиновника?

Не успел я выйти из моего дорожного экипажа, как один из стоявших башкир опрометью кинулся к ближнему двору, схватил дугу, выпятил из под навеса плетенку и принялся закладывать лошадей. Мой ямщик калякал с другими башкирами, довольно свободно изъясняясь на их родном наречии, и по-своему объяснял, кто такой проезжий: вышло у него что-то до чрезвычайности странное и запутанное; башкиры с напряженным вниманием его слушали и недоумевали. Наконец, он добавил по-русски: «статистику собирает», — и слушатели отлично поняли, проговорив зараз и в несколько голосов:

— Большой, значит, человек!

Несмотря на свой крайне юный возраст, подросток, видимо, пользовался со стороны кындыкских башкир значительным доверием и даже почтением. Они расспрашивали, что делается в заводе, что говорят про башкирские земли, нет ли каких слухов о войне и прочее, а некоторые звали к себе пить чай.

Получив от меня прогоны, мальчуган поклонился, посмотрел на меня и подал руку.

— Ну, прощай!.. Будешь коли опять в нашем заводе,— заходи ко мне в гости: мы тебя примем!.. А что я тебе дорогой рассказывал, это верно, ни одним словом я не слукавил.

Мы расстались.

Скоро были поданы новые лошади. Ямщик, длинноногий и жидкий башкир с выбритым подбородком, коротко подстриженными усами над губой, укладывал в тележку мои вещи и страшно суетился.

— Готово. Айда! — проговорил он весело и побежал в избу за халатом.

Усевшись в плетенку, я нечаянно взглянул на огород соседней избы.

У плетня в шубе и меховой шапке с решетом на голове стояла молодая девушка с черными густыми косами и наблюдала за мною. Но лишь она заметила, что я вижу ее, быстро отпрянула, засмеялась и куда-то моментально скрылась.

— Ай, девка! — раздался голос выходявшего ямщика. — Убежала!.. Ну, ты совсем?

— Тебя жду.

Башкир вскочил на передок, ухватил вожжи и пронзительно взвизгнул.

Лошади рванули, сразу понеслись во весь дух, и колокольчик бешено залился. Башкиры вообще любители быстрой езды, а на этот раз надо было перед «большим человеком» еще показать, что «башкурт» — настоящий башкир, а не тептярь какой-нибудь — умеет ездить, и в час отмахать пятнадцать-двадцать верст для него ровно ничего не значит. Поэтому я несколько не удивился, когда через две-три минуты Кындык остался у нас далеко позади, и мы стрелой мчались по степи, мягко освещенной солнцем и дышавшей на нас приятно, ласкающею теплотой.

— Так ты хорошо знаешь починок, куда я еду?

— Как мне не знать, господин! — отозвался башкир. — Мы часто туда гуляем. Знаю я Никигичкин починок.

— Скажи, пожалуйста, что за народ там поселился?

— А что за народ — люди, господин; такие же, как и мы.

— Башкиры?

— Нет! На починочке живут и ваши русские, и чувашин... Только чуваш мало теперь осталось... Ай-ай, какая у них весной беда стряслась!

И ямщик рассказал мне все, что он знал о поселенцах, и подтвердил факт смертности. Но меня всего более удивил тон рассказчика: столько искреннего участия, человеческого сострадания слышалось в этом тоне... Если бы кто подслушал нас со стороны, то непременно бы подумал, что башкир рассказывает не про чужое, а про свое горе, про свои страдания...

Во время рассказа Абдул-Гани, — так звали башкира, — свернул с торной дороги, по которой мы ехали, и начал забирать степью вправо, по направлению к одному из горных кряжей. Не проехали мы целиною и двух верст, как Абдул-Гани без всякой видимой причины остановился...

— Слезай, — сказал он, — приехали на починок.

Я огляделся. Мы стояли посреди степи, и кругом никакого признака человеческого жилья!

— Да где же починок? — спрашиваю.

Но тут — бог весть откуда взялся! — перед нами предстал коренастый среднего роста мужик, темноволосый, с немного загнутым кверху носом, босиком, в грубой холщевой рубахе и портках.

— Саямаликум! — приветствовал он Абдула-Гани, протягивая ему черную, точно в перчатке, мускулистую свою руку.

— Вот ихний... чувашин! — отрекомендовал мне мужика Абдул-Гани и потом, повернувшись к чувашину, заговорил с ним по-башкирски, объясняя ему, кто я и за чем на починок приехал.

Я сошел с плетенки и начал внимательно рассматривать местность. Направо, в пяти-шести сажнях, где мы остановились, степь круто обрывалась и делала множество пезначительных оврагов и буераков. К этим оврагам примыкало болото, поросшее талом; в ширину оно представлялось не больше трех-четырёх верст, но длину его определить не было никакой возможности, — оно казалось без конца. За

болотом, дальше, обрисовывался горный кряж, мимо которого сверкающею лентой извивалась река Усень. Налево и прямо расстилалась степь, замыкавшаяся на горизонте чуть видимыми грядами темнеющих гор. У самого болота, по оврагам и буеркам, кое-где, примечались небольшие курганы и что-то похожее на низенький шалаш... Вообще, вид был какой-то тоскливый, мрачный... Даже солнце, сыпавшее кругом в изобилии теплые лучи, не смягчало красок и тонов... Чудилось, что здесь незримо носится дыхание смерти...

— Ну, пойдем к нашему старосте!

Я оглянулся, Меня позвал чувашин.

— Но где же починок?

— Да это и есть починок.

Мы пошли.

Не доходя несколько сажень до замеченного мною шалаша, мне послышалась нето заунывная песня, нето причитание по покойнике. Я остановился...

Родимый батюшка,  
Завез ты своих детушек  
На чужую сторонушку...

явственно донеслись до меня слова.

— Кто это у вас поет?

— Девка одна. Ариной звать. — отвечал чувашин. —

Она у нас часто воет...

На чужую, на дальнюю,  
За лесики-то за темные,  
За горюшки-то за высокие.  
За реченьки за быстрые...

продолжала левица, совершенно невидимая нами, и в каждом слове ее, в каждом звуке слышалось столько горьких слез и тоски...

Все люди незнамые,  
Незнамые, незнакомые.  
На чужой на сторонушке  
Мы горькие горюшечки,  
Горькие кукушечки.  
Нашатаемся мы, намогаемся,  
Нет-то своего теплого гнездышка.

— Ай-ай, как девка вопит! — протянул башкир, следуя за нами с лошадьми и ведя под уздцы коренника. — Больно знать девке плохо... Ай-ай, плохо!..

— Чудная девка! — добавил чувашин. — Засядет где в буераках да и причитает: чего-чего не приберет!.. Ато еще на степь уйдет... Куда-то все глядят, не спускаючи глаз, а сама поет, поет да плачет... А вот и жилище наше, господин!

Чувашин приостановился и показал на шалаш.

— Это... шалаш?

— У нас это сени зовутся, а жилье самое под землею будет...

— Можно посмотреть?

— Смотри. Сколько тебе угодно, смотри!

— А хозяев мы не потревожим?

— Как можно их тревожить? — Не-ет... Они, чай, теперича в могилках уж сгнили...

Я отступил от шалаша...

— Веди дальше! — с трудом я выговорил.

Еще несколько шалашей, раскиданных в одиночку по буеракам... Хозяева их также переселились на вечный покой...

— Да где же... где у вас живые-то люди?

Слова эти, должно быть, настолько были произнесены мною громко, что они разбудили или, правильнее, испугали одну живую душу...

Я увидел поднимавшуюся из-за небольшого кургана молодую девушку, в синем сарафане и босонзую. Поднялась она, встала и устремила на нас свои испуганные, большие черные глаза.

— Вот это и есть Арина, — проговорил вполголоса чувашин: — Арина, отец дома? — крикнул он девушке.

Та ни слова не промолвила. Она стояла неподвижно на одном месте и смотрела на нас своими большими глазами.

— Не слышит... Это с нею бывает: ей говорят, а она не слышит... Ну, вот, господин, тебе и жилая изба: наши тут, чувашаи.

Такой же, как и виденные раньше, перед нами шалаш, с открытым и низеньким, дугообразным входом с одной стороны.

— Сейчас спрошу, — проговорил мой проводник и, нагнувшись, проскользнул в шалаш. — Живы ли? — окликнул он уже по-чувашски. — Гости к вам идут.

Что отвечали из земли, я не расслышал.

— Ступай, — позвал чувашин, — можно.

Вот что мне представилось: когда я осмотрелся, прежде всего увидел земляной спуск, откуда несло запахом чего-то

едкого и вместе тяжелого; словно в чаду, при слабом мерцании света, колыхались там, в подzemелье, какие-то странные тени.

Когда я спустился по глиняным ступенькам, то не сразу мог разглядеть, что передо мной были два живых человеческих существа: пожилая и высохшая вся женщина и худенькая бледнолицая девочка лет восьми... Все помещение состояло из одной, если позволительно так выразиться, земляной комнаты в четыре квадратных аршина с подобием глиняной печки, глиняных нар, глиняного дивана и опрокинутой вверх дном кадкой вместо стола. По стенам развешано сырое белье, тряпки и всякая рвань. В печке что-то тлелось.

— Как здоровы?

— Слава богу, — заговорила по-русски, но сильно коверкая слова, женщина-привидение. — Теперь ничего... Вот только не отстаёт кумоха, — все бьет, треплет... Ато, слава богу, теперь все хорошо.

— Доктор у вас был?

— Был дохтур, наезжал вчера... Дал порошки: утром сказал, один прими, а другой вечером. Приняла.

— Ну, что же, полегче стало?

— Слава богу!.. Треплет только, не отпускает... Знать мало дал...

Воздух был до такой степени убийственный, что я поспешил оставить довольную женщину и выбраться поскорее на волю...

— Подем к старосте, он тебе все расскажет! — звал меня проводник. — Пожалуйста, подем!

Я снова за ним последовал, но уже нигде не останавливаясь.

Староста жил в маленькой, только что построенной, избешке с двумя оконцами и без крыши. Срубленная из тонкого леса и наскоро поставленная, лепилась она над оврагом и глядела оттуда совершенно бобылкой. Ни кола, ни двора, даже лестницы еще не было прилажено к двери, чтобы подняться с воли и войти в сени избеньшки.

Мы нашли старосту лежавшим на сколоченных и приращенных к стене досках подле самой двери. При нашем появлении он быстро соскочил и стал на ноги. Это был тоже чувашин, высокого роста, с коротким и сильно вздернутым носом, темными волосами и бородой, лет сорока. Цвет лица у него был желтый, руки худые, с костлявыми паль-

цами; он стоял, выпрямившись во весь рост, и заметно дрожал: его била лихорадка. Я попросил старосту, чтобы он снова лег и не утруждал себя напрасно.

— Как можно лежать! — встревожился староста. — Я ничего теперь, слава богу!.. Вот только треплет...

— А давно треплет? — спрашиваю.

— Да уж порядочно... С благовещенья зачала трясти.

Кроме самого хозяина, в избе сидели на лавке две широколицых, с выдавшимися скулами женщины и русоволосый крестьянин с простодушным лицом и серыми, грустно смотревшими, глазами (отец Арины, как я потом скоро узнал, переселенец из Вятской губернии). Обе женщины пряли и упорно молчали; они были чувашки. Я присел на козлы около постели больного, а мой проводник присуседился к вятичу. Ямщик, привязав лошадей, тоже вошел в избу. Не прошло и получаса, как я сделался, видимо, своим человеком в избе, — переселенцы охотно со мной говорили и обо всем рассказывали. Староста Никита Семенович, в честь которого назван и самый починок, несмотря на свою болезнь, оказался человеком весьма живым и разговорчивым.

На починке жили русские и чувашки — крещенные и совершенно уже обрусевшие; чувашки, за исключением женщин, хорошо говорили по-русски, — только мягкость в произношении отличала их от коренных русских. Разговор скоро коснулся факта переселения.

— Прослышали мы, что на Урале земли больно много. — рассказывал Никита Семенович, усевшись на голой досчатой постели и время от времени сопровождая свой рассказ беспокойными движениями и вздрагиванием всего тела. — Земля хорошая, воды и леса — не пройдешь... Сказывали, и казна больно желает, чтобы народ шел: земля задаром лежит!.. Думали мы, думали и удумали — итти на Урал. Двадцать семей нас тогда из Ядринского уезда тронулось, — мы оттуда вышли. Избы продали, хлеб, какой сняли, продали, скотину продали; одних лошадок при себе оставили... Время к зиме шло, на дворе заморозки... Тронулись, пошли искать новых земель. Сарапуль минули. Дорогой у всех спрашиваем: где тут казна землю даст? — «Ступайте, — говорят, — дальше: там вам покажут». Идем дальше... Зимой подуло, снег выпал, все засыпало... Идем, опять людей спрашиваем: где земля от казны? — «Дальше, — говорят, — дальше еще ступайте: там вам покажут».

Идем дальше... Студено, ветер такой злой, до костей прохватывает, ребятенки с бабами заморозились, ревут... Об Николине дне пришли к Красноухвимску, спрашиваем там... «У нас, — говорят, — земля довольно, но одна глина с песком. А вот, — говорят, — дальше, по ту сторону Урала, в Шадринском уезде, земля точно есть и — хорошая земля. Не мешкайте здесь и трогайтесь опять с богом: там уж вам покажут. Только держитесь, — говорят, — в пути больше сибирской стороны: дорога тут прямая; оба на самую эту, что вы ищите, казенную землю и приведет». Опять пошли, идем... Навстречу горы, леса высокие, света не знать, а мы, знай, идем. Жутко!.. Ребятишки в дровнях пуще ревут, бабы вопят: «Лучше бы вы, — приговаривают бабы дорогою, — живыми нас на старине похоронили, чем такую надсаду да мученье нам принимать». Лошадки тоже изморились, мужики отощали, чуть-чуть только перемогались и плелись... Перед масленицей пришли в Шадринск.

— Но как же вы из Шадринска сюда попали?

Никита Семенович вытер рукавом пестрядиной рубахи лицо, по которому выступал пот, и принялся опять с лихорадочной поспешностью рассказывать:

— В Шадринске просидели мы до весны. Русские к нам пристали; они до нас еще пришли. Уговорились, чтобы нам в одном обществе состоять и землю сообща взять. Землю нам отвели, только земля плохая, не лучше, чем на старине. Лесу не дали. Говорят: нет леса. Делать нечего, взяли: попробуем, мол, что выйдет. Изб себе не строили, — не из чего было и строить; лето в шалашах прожили, а зиму по деревням разбрелись. Сняли урожай, яровое, — на прокорм не хватило. Пробились год. Видим — беда наша!.. Тут с купцами проезжими повстречались. Больно нас те купцы бранили. «Дураки, — говорят, — дураки... Что чувашин, что мужик русский — все одно: неотесы вы и сиволапы. Неш можно на этакую землю садиться?.. Забирайте, — говорят, — какие у вас остались тут животы да махайте в Ухвимскую губернию. Вот где земля-то, так земля: в царство небесное оттуда не захотите!» Много еще разными словами бранили нас купцы, а напоследь ничего, обошлись, и приятственно так сказали: «Удирайте из этих трущоб, пока вас тут не закрепили, и с богом ступайте в Ухву: на любом месте там селитесь... Только поспешайте, а там вам покажут». Дали нам те купцы записи, где земли хорошие и угод больше. Марья Васильевна — у нас женщина такая



есть, она грамоте обучена — прочитала обществу эти записи: в них значатся разные купцы, у которых землю задешево можно снимать... А еще раньше к нам слух был, что в Ухвимской губернии земли много: у казны бери, у башкир бери, у купцов... Покалякали мы промеж себя и обществом порешили: итти в Ухву... Меня старостой выбрали...

Рассказ старосты был прерван появлением незнакомой мне женщины и Арины... Лицо первой и наряд ее привели меня в недоумение. Я увидел перед собою женщину лет тридцати с чем-нибудь, высокую, с хорошим, умным и выразительным лицом; одета она была в темное ситцевое платье, голова повязана черным шерстяным платком, на ногах козловые ботинки. Во всей фигуре ее было что-то важное, почти строгое... Она показалась мне черничкою, каких я встречал в упраздненных старообрядческих скитах за Волгою...

— А, Марья Васильевна! — радостно встретил ее больной, взмахнув приветливо руками.

— Навестить тебя пришли, Никита Семсныч, — проговорила гостья. — Как тебя бог милует, поправляешься ли сколько?

— Спасибо... Больно тебе спасибо!.. Добрый ты человек, Марья Васильевна!..

Арина, как вошла, проскользнула вперед, забила в угол и смотрит оттуда на нас своими большими глазами.

Марья Васильевна медленно повернулась, взглянула на меня и поклонилась мне степенным поклоном.

— А вы откуда, Марья Васильевна? — не мог я далее удержаться от вопроса.

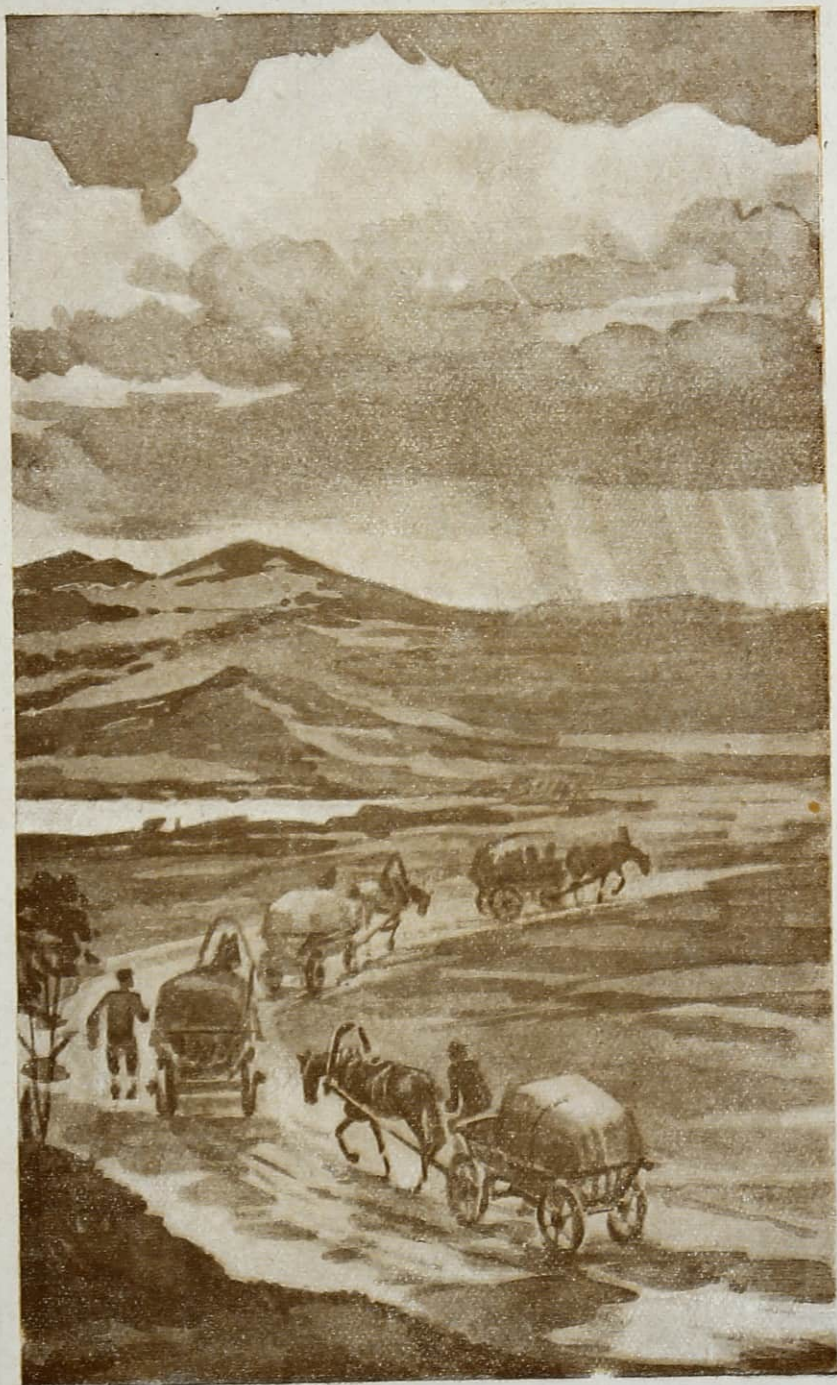
— Сама я родом из Ярославской губернии, — спокойно опускаясь на лавку, отвечала загадочная женщина.

— Но как вы очутились здесь?..

— А я вот с ними, — повела она вокруг своими глазами. — В Шадринске мы встретились. Познакомились. Год вместе прожили. Они пошли в здешнюю сторону, и я за ними, — не хотела уж отставать... Привыкла очень.

Легкий, едва уловимый румянец разлился по лицу Марьи Васильевны. Заметил я этот румянец, посмотрел на ее черный платок, темное платье, — и мне сделалось неловко... Никита Семенович выручил меня из этого затруднительного положения.

— Марья Васильевна! — сказал староста, — а я приезжаю господину про наш починок рассказываю.





Марья Васильевна потупилась, и брови ее слегка шевельнулись.

— Пришли мы в Ухву, — продолжал Никита Семенович, обращаясь уже прямо ко мне. — Иду я к начальникам. Землю, говорю, обществом желаем взять. Начальники мне говорят: «А свидетельства у вас увольнительные есть?» Есть, говорю. «В Ухвимском уезде казенной земли нет, — начальники говорят, — ступайте в Бирский, там должна быть. Спросите: вам покажут». Пошли в Бирский. «У нас, — сказали тамошние начальники, — казенной земли нет; ступайте в Ухву». Идем в Ухву. Я опять к начальникам. Говорю: в Бирском земли нет. «Ну, ступайте в Стерлитамакский: там беспременно отыщете». Пошли в Стерлитамак. «Нет, — говорят. — Сходите на Аднагуловскую степь: земля там свободная лежит». Пошли на степь. Оглядели. Не полюбились нам на степи: болото и лесу совсем нет. Не знаем что делать: год целый проходили, а земли казенной не сыскали. Хотели к башкирам. Больно. — калякают, — рады бы дать, да боимся: слышно, земли у нас отрезать хотят». К купцам уж побоялись итти, — добрые люди отсоветовали... Опять в Ухву!.. «Что ты, — приняли меня, — таскаешься, начальство понапрасну все беспокоишь!» Так и так, говорю, ваши превосходительства, земли по всей губернии не сыскали. Народу помирать с голоду приходится. Задумались начальники. «Ну, надо вас куда-нибудь приткнуть, — сказали: — вишь, вы какие неотвязные да беспокорные. Селитесь на Аднагуловскую степь!» Что им на это было сказать?.. А народ без земли плачется... Подумали, помолились ухвимским угодникам и пошли всем обществом в степь...

— Страдальцы христовы! — раздался полновзвучный, но слегка дрожащий голос.

Я повернул голову и встретил лицо Марьи Васильевны...

Я не узнал ее лица: лицо это пылало гневом, вспыхнувшие щеки горели густым румянцем, а глаза были полны слез.

— Ведают ли у нас, на Руси, что только терпит народ, — заговорила она сильным и взволнованным голосом, поднявшись с места. — Есть ли на привольном белом свете еще маята, какой не испытал, не изведал бы мужичок христов?.. Сколько вот здесь, на одной этой степи, безвременю в сырую землю слегло людей! А чем они провинились?

За что они погибли?.. Грех, неотмолимый грех! Бог от вас потребует за них ответа. Праведен, но страшен суд всевышнего!..

С возрастающим удивлением, почти с ужасом, слушал я эти грозно-обличительные слова, как звук трубы гремевшие в моих ушах. Я боялся шелохнуться, не смел взглянуть ей в лицо.

— Ничего, теперь слава богу! — заговорил Никита Семенович. — Приобыкли... Только вот трясет... Да отстанет, отпустит, бог даст... Успокойся, не растревоживай себя, добрая душа!

— Болезная, желанная, — услышал я молодой голос. — Пойдем на степь, погуляем! Я тебе покажу, где родная сторона, откуда нас вывез батюшка... Ну, скоренько? Побежим, моя красавица!

Так говорила Арина, ласкаясь к Марье Васильевне и прижимая к ее груди свое лицо.

— Сейчас, Аринушка, — отозвалась Марья Васильевна, и голос ее попрежнему стал ровен и спокоен; он звучал даже нежностью. — Василий Иванович, — сказала она вятичу, отцу Арины, — не прислали еще тебе увольнительного свидетельства?

— Нету радельщика, не прислали... Може, и прислано... в городе, на почте лежит.

— Хорошо. Мне самой надо будет в город съездить: я узнаю и привезу, ежели получено... Вот, по незнанию мужичок не взял со старины бумажонку, свидетельства, — и не отводят ему земли... Живи с семьей, чем знаешь, крестьянин!

Марья Васильевна встала.

— Долго вы, честной господин, намерены прогостить в нашем починке? — обратилась она с вопросом ко мне. — Не побрезгуете, так просим милости в мою келью! Я недалеко живу.

Марья Васильевна поклонилась мне опять своим важным поклоном и вышла из избы, уводя за собой Арину.

— Прощай! — крикнула на ходу Арина, вскинув на меня свои глаза. — Не уезжай от нас: я за тебя замуж пойду!.. — И она засмеялась.

— Не обессудьте, — сказал отец, когда дверь захлопнулась. — Девка порой заговаривается...

Мы продолжали беседовать. Все принимали живое уча-

стие в разговорах; одне чувашки полпрежнему оставались безгласны.

О Марье Васильевне я, между прочим, узнал, что она — «по старой вере», живет «для бога» и «добрых дел», всем помогает. Какой веры она держится, собеседники не знают, а ушла она со «старины» от «неправды» да «притеснительства»...

— А вас что заставило покинуть старину? — спросил я починковцев. — Жили бы вы там да жили, никаких невзгод не терпели!

— Батюшки наши в Ядринском уезде жили! — заговорил староста. — Жили старики хорошо. Помещиков у нас не знали; земли, лесу — всего было вдоволь... Просто тогда было, слава богу, никто не жаловался. Мы подросли. Хуже пошло. Терпели, все перемогались... Но пошли обрезы, на все запреты, земли нехватка, да и выпажана. Удобрять нечем. Подати год от году тяжелее, недоимки растут...

— Ежели бы на старине, — вступился Василий Иванович, — хоть мало-мальски в моготу-то было, так разве бы кто заставил нас покинуть родину?.. Колом бы нас оттуда не выгнали!.. Беднота заодолела, жить стало не у чего — вот что на новые-то земли гонит! Нужда, родимый, нужда заела и ест поедом мужиков... А никто нужды и печали нашей ведать не хочет...

— Что же, Никита Семеныч, теперь вы поменьше бьетесь, народ не мрет? — желая переменить тему разговора, предложил я вопрос старосте.

— Как можно!.. Прежде маялись и не мало побились, — говорил староста. — Теперь — слава богу!.. Болеют — есть домов пяток, но умирать перестали. Намеднись исправник мимо проезжал: шибко нас жалел. Поехал — говорит: «буду в губернии, доложу губернатору: губернатор, — кричит, — вас больно будет жалеть!..» Дохтур вчера наезжал, молодой, и с барынею. Тоже... и-их как оба жалели!.. А барыня гостинцами ребятишек оделила... Спасибо ей!

— Жалеют их начальники, — промолвил Абдул-Гани — Все жалеют...

— Зачем вы место такое выбрали для поселка? Разве нельзя было на степи получше найти?

— А все нужда, господин. Приволья мало, недостаток в земле... Ну, вот к болотине и прижались.

Мы проговорили бы, по всей вероятности, до самой ночи, если бы случайное обстоятельство нам не помешало. Во

время наших разговоров отворилась дверь избы и просунулось чье-то бледное лицо.

— Что вы сидите? У вдовы Прасковьи Иванко отходит!

У одного из шалашей, на подостланном армяке, освещенный лучами заходящего солнца, лежал мальчик лет десяти, и чуть заметно вздыхал. Глаза его были закрыты, личико вытянулось и носик обострился... Около него хлопотали Арина и Марья Васильевна... Кругом собрался весь починок... У головы умирающего мальчика сидела мать — без слез и точно окаменелая. Она устала на сына глаза и не отводила их. Никто ни слова не говорил, какая-то благоговейная тишина стояла... Вдруг умирающий открыл глаза, повел ими и улыбнулся...

— М-ма-ма! — произнес он, раза три слабо вздохнул и замолк... Навсегда замолк!

Все затаили дыхание.

— Иванушка! — раздался отчаянный вопль. — Оставил ты... Одна я теперь... сирота!..

Прошло два года. Мне снова удалось посетить Верхне-Троицкий завод, где я прожил около двух месяцев. Совершенно для себя неожиданно я встретил здесь Василия Ивановича. Мы обрадовались друг другу, как старые знакомые, и я засыпал его вопросами. Василий Иванович заметно постарел и порядком опустился.

— Как живут на Никитинском починок? — спрашиваю.

— Ничего, пообстроились... Новеньких еще прибыло — русских...

— А Никита Семеныч?

— Жив. Попрежнему старостой... Жалуются, земли не хватает и лесу нет.

— Ну, а твоя Арина?..

— Жива... Только не в своем уме...

— Как?!

— Бог ведает!.. Так мы со старухой полагаем, от печали по старине малость она помешалась.

Помолчали.

— А Марья Васильевна?

Лицо Василья осветилось.

— Она там, на степи, — проговорил он тихо и почти благоговейно. — Живет все по боге и любви... Ею, может,

починок и жив остался. Собирается уезжать. «Теперь, — говорит, — вы без меня обойдетесь, — я не нужна вам... Поеду в другие места»... Дочку-то мою, Арину, с собой хочет взять... Да, человек такой эта Марья Васильевна, такой человек... Праведная она душа! — заключил вятч, и в глазах его выразалось умиление.

— Василий Иванович, а ты как на завод попал, — я не спросил тебя?

— А живу здесь. Около заводских переколачиваюсь.

— Но ведь ты хотел крестьянствовать? Разве свидетельства не получил?

— Получил недавно, прислали. Только земли я не намерен уж брать.

— Отчего же?

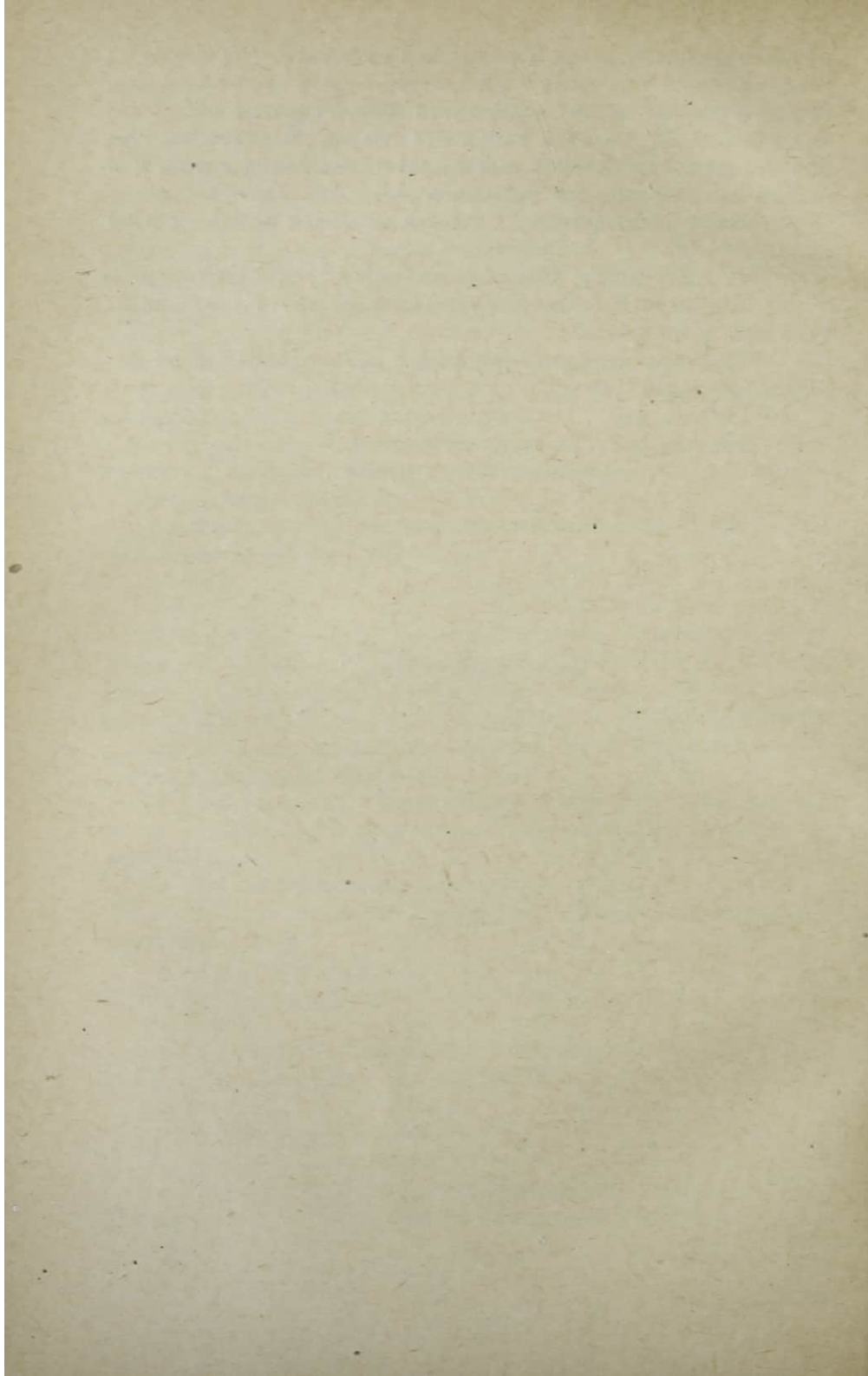
— Не под силу. Взяться нечем...

Он как-то безнадежно махнул рукой...

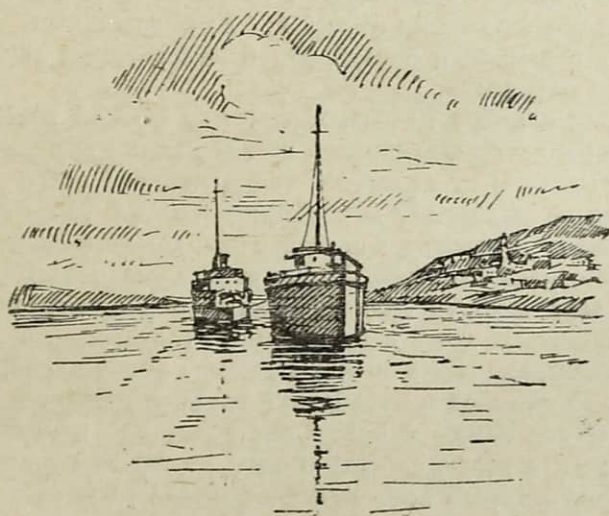
1881 г.







# НА АРЕСТАНТСКОМ ПАРОХОДЕ





**ПОЛУЧИЛ** командировку в восточные губернии.

В Нижнем я взял место на одном из пароходов Курбатова, бывших Колчина, — пароходов, делающих рейсы от Нижнего до Перми и обратно со ссыльными, отправляемыми в Сибирь. Пароходы эти идут медленнее, чем другие легкие пароходы; зато они хорошо устроены, с удобными помещениями для пассажиров и библиотекою, отличаются дешевизною платы за проезд и порядочным столом. Для лиц, едущих по своей воле и надобности, — в распоряжении пароход; для ссыльных отведена больших размеров и своеобразной конструкции баржа, буксируемая пароходом.

Общая каюта I класса. Я сплю на мягкой кушетке, обтянутой бархатом малинового цвета. Ни плеск волн, ни беспрерывный шум от колес, ни вздрагивание всего корпуса парохода не нарушают моего крепкого сна. Но вот сквозь сон до меня начинают как будто бы доноситься неясные и какие-то странные звуки. Звуки эти то ослабевают и порою совсем затихают, то снова усиливаются, становятся резче и назойливее. Я лежу с закрытыми глазами, но уже не сплю: слух раздражен и внимание мое возбуждено. Слышу, как что-то тяжелое и безобразно грузное движется по воде, подходит все ближе и прямо наступает на пароход. Еще минута — и я услышал лязг и звон, — тот жесткий и острый звон, который поэт назвал «кандальным звоном». Не успел я дать себе отчета в моем впечатлении, как боковая часть парохода затрещала, пароход пошатнулся, и в каюте моментально стемнело. На палубе поднялись суетня и крики.

Я вскочил.

Мой единственный товарищ по каюте, пожилой господин с коричнево-пепельными усами, широко раскрыв глаза, испуганно глядел со своей кушетки, а в дверях с покойным лицом стояла, держась за медную скобку, дородная фигура

купца-сибиряка, помещавшегося в ближайшей семейной каюте.

— Что случилось? — было первым моим вопросом.

— Баржу с арестантами подводят, — отвечал сибиряк: — к Казани подошли.

Сверху, над нашими головами, ревели голоса команды:

— По-о-оверни руль! Упрись! Вали, вали!

Я устремился к окну.

Бок-о-бок с нашим паракором стояло массивное чудовище, загородив собою свет, и издавало железные стоны, холодом схватывавшие ум и сердце человека.

— Зачем ее подвели так близко? — с усилием выговорил я.

— В Казани перекличка бывает, — объяснил сибиряк. — При этом арестантов доктор свидетельствует. Новеньких тоже подсалят. Для этого вот и подводят баржу к берегу. Да не сноровили, видно, и задели парокор.

— Вали-вали! Еще! Сильней! — гремело сверху.

Светлая полоса упала на окна каюты, и в то же мгновение я заметил, что чудовище отделилось от парокора и медленно поползло, не переставая испускать металлические стоны из своего чрева, наполненного закованными людьми.

Чудовище исчезло, но спать дольше я уже не мог. Я оделся и поднялся наверх.

Было раннее июньское утро. Справа за Волгою подымались Услонские горы; у подошвы их раскинулось большое село, а по склону одной из гор виднелись почерневшие деревянные кресты и белые памятники на могилах сельского кладбища; слева расстилались желтые пески пристани — «устья», по местному выражению — застроенной балаганами, окрашенными в дикий и фиолетовый цвета (в балаганах этих помещаются трактиры, харчевни, лавки и т. п.); вдоль берега, вытянувшись в линию, жались парокорные конторы с стоящими около них судами; по гладкой поверхности реки, снизу и сверху, бегут дымящиеся парокоры, скользят лодки и снуют «завозни».

Свежие лучи утреннего солнца озаряют весь правый берег и проснувшуюся даль Волги. С пристани, судов и реки несется голоса, крики и брань; бог весть откуда, поднимается и разносится по воде универсальная бурлацкая песня:

Вот зоренька занялась,  
А я, млада, поднялась!

Гря-янемте вдруг —

Да-а-а у-у-ух!

У-ух!.. у-ух!..

Да ух!

Справившись о времени отхода парохода, я сошел на берег и направился к одному из дальних «ресторанов», чтобы полюбоваться оттуда видом города. Достигнув «ресторана», я взобрался в мезонин и поместился у окна. Меня встретил трактирный слуга, рыжеволосый мужчина лет за тридцать, выслушал меня в полусне, потом закрыл глаза и опрометью кинулся исполнять приказание. Но прежде чем я увидел перед собою стакан чаю, мне пришлось ждать не менее получаса и звать слугу раз пять: трактирный личарда отличался удивительной способностью всякий раз засыпать, как только выслушает приказание.

В открытое окно несло ободряющей свежестью. Серебристый туман, поднявшийся с еще затопленных вешними водами лугов, висел над Казанью, пронизанный насквозь лучами солнца, и застилал от глаз большую часть города. Яснее других зданий выступали белый кремль и розовая, как зардевшаяся красавица, башня татарской царицы Сумбеки, приветливо глядевшая с зеленого холма, огибаемого рекою Казанкою. Ближе, из светлых зеркальных вод, встала и поднялась, точно отлитая из свинца, пирамида с сверкающим золотым крестом. Это памятник русским воинам, погибшим при взятии Казани в 1554 году. Между кремлем и памятником, за рекою Казанкою, виден монастырь, расположенный на Зилантовой горе. Я вспомнил о предании, связанном с этою горою и слышанном мною два года назад в Казани. Вот народная сага о Зилантовой горе:

Название свое гора получила от Зиланта, страшного чудовища-змея. В горе есть пещера, следы которой заметны и поныне. Давно, во времена незапамятные, когда о татарах совсем и слуха не было, Зилант поселился в пещере и много вреда причинял людям. Предание не помнит, какой народ тогда жил в этом краю. Подобно сфинксу мифической Греции, Зилант предлагал местным жителям мудреные загадки и пожирал тех, кто не умел разгадывать. В одной из таких загадок Зилант говорил о близком нашествии монголов и сам немедленно затем скрылся в пещере. Во время господства татар Зилант снова появился и стал требовать себе жертв. Предание оканчивается тем, что Зилант предсказал и о падении Казанского царства. С великим шипением

и ревом взвился он тогда над горою, ударился о землю и провалился. После того уж ни разу Зилант не показывался, и его никто больше не видал.

Было около восьми часов утра. Из города по направлению к Волге во всю лошадиную прыть мчались пролетки, по конно-железной дороге катились скромные каретки, тянулись дроги и большие телеги, наложенные разными товарами и сопровождаемые казанскими татарами; вдоль линии, параллельной пароходным конторам, и по всей пристани важно расхаживали жандармы. На берегу, против стоявшей на якоре арестантской баржи, толпился народ и сверкали штыки солдатских ружей. Меня как-то инстинктивно потянуло в сторону этой толпы.

Заключенная в обширное каре, неподвижно стояла сплошная серая масса с загорелыми лицами и вращавшимися белками глаз; перед нею, в пяти-шести саженьях, группировались: доктор, высокий плотный брюнет в черной паре, два офицера с бумагами в руках и один унтер-офицер. На вызов офицера из рядов серых халатов каждый раз выходила фигура и приближалась к доктору. Одни, несмотря на кандалы, держались прямо, глядели смело и шли на вызов бодро; другие — большинство — подходили с поникшими головами и робко; но как те, так и другие при выкричке торопливо отзывались и быстро скидывали свои безобразные с ушами шапки. Вот подходит какой-то мужичок с покурсю обнаженною головою; он крестится большим крестом и поднимает свои кроткие глаза на доктора.

— Здоров?

— Все слава богу, ваше высокоблагородие.

— Ничего особенного не чувствуешь?

— Слава царю небесному...

— Ничего не болит?

— Всем здоров, ваше высокоблагородие. Слава...

— Ступай!

Выкликается новый арестант.

Держа в обеих руках белую войлочную шляпу и весь перегибаясь, флегматически шагает высокий худой черемис с осунувшимся лицом и резко обозначившимися скулами. Не более как через минуту он уже шагал к барже и озирался по сторонам. Из толпы вынырнула черемиска в своем родном костюме и высоком головном уборе; она сказала два

слова арестанту и твердой спокойной поступью пошла впереди его к мосткам, ведущим на арестантскую баржу.

— Какая нарядная! — слышалось в толпе любопытных.

— А поступь-то чего стоит! Гляди, уже она старшиной была у черемисян.

— Егор Барсуков!

— Здесь! Я! — Молодцевато громыхая цепями и звеня кандалами, выступает атлет с обритою половиною головы и бороды; но и этот атлет с вызывающим взглядом обнаруживает перед начальством смущение, и черные глаза его начинают беспокойно бегать.

— Кажется мужчина этот не может пожаловаться на свое здоровье? — шутливо замечает доктор.

— Точно так, ваше превосходительство! — подтверждает Егор Барсуков таким голосом, каким ночью по уездным городам обыватель кричит караул.

— Ступай!

Атлет делает налево кругом, злобно окидывает глазеющую на него толпу и поспешно удаляется, путаясь в цепях и спотыкаясь.

— Мешок-то возьми! — раздался голос из каре: — за-был!

Переключка и медицинское освидетельствование продолжались еще с час. Много прошло мимо нас несчастных, выброшенных за борт жизни и навсегда погибших для своей родной стороны. Сильное впечатление на многих из зрителей произвел один арестант. Это был юноша, почти еще мальчик, с умным лицом; ввалившиеся глубоко глаза его горели лихорадочным блеском. Вызванный офицером, он торопится, спешит, но силы ему изменяют, и шаги замедляются.

— Не задерживать! скорей! — прикрикнул на него унтер.

Арестант стремительно двинулся вперед. Из серого широкого рукава выделилась белая тонкая рука и нервически сдернула с головы серую шапку.

Последовали обычные вопросы с неслышными на них ответами и заключительное «ступай».

Красные пятна выступили на прозрачном, точно восковом, лице юноши, и он, пошатываясь, направился к мосткам.

Вслед за юношей по очереди были вызываемы другие молодые люди; за ними пошли женщины и девушки с голо-

вами, покрытыми ситцевыми платочками. Все они, как мужчины, так и женщины, резко выделялись из многолюдной серой массы чертами лиц, выразительностью глаз и белыми, худыми, но красивыми руками. После вызова и медицинского освидетельствования они, подобно другим арестантам, шли прямо на баржу.

Арестантская баржа стояла в нескольких саженьях от берега, с которым соединяли ее перекинутые доски (мостики). Черный корпус баржи по бокам прорезывался маленькими круглыми окошечками; на палубе возвышались шоколадно-молочного цвета две рубки-бойницы: одна на кормовой, а другая на носовой части, для помещения конвоирующего ссыльных офицера, солдат и команды с кухней; пространство между рубками с двух сторон закрыто железными, в виде частой сетки, решетками; кругом по бортам свободный ход для команды; на рубках, имеющих с лицевой стороны форму овала, вверху черными буквами надпись: «Тобольск» (арестантские баржи все носят названия сибирских городов). Арестанты помещаются внутри баржи, разделенной на две половины: мужскую и женскую. Днем в ясную погоду узникам дозволяется выходить на палубу, запертую решетками, где теперь были навалены бурые мешки, набитые съестными припасами и всякой рухлядью. На этих мешках сидели женщины и дети; мужчины стояли, где пришлось, и жались к рубке, откуда, устремив глаза вверх по Волге, они долго и не отрываючись на что-то смотрели. Что же там приковывало их взор? Быть может, перед ними в голубой дали рисовались знакомые и родные картины, восставали дорогие и милые сердцу лица, которые манили их к себе и с которыми не суждено уж больше им увидеться. Теперь, когда правосудие совершилось и с прошлым все покончено, эти отверженные, — жертвы невежества, бедности и увлечений, — теперь, быть может, более чем когда-либо были доступны доброму чувству и горели страстным желанием сделаться полезными людьми... Кто знает!.. Между тем как одни из арестантов стояли с неподвижно устремленными в даль глазами, другие, принятые на баржу в Казани, прощались с родственниками и знакомыми, робко теснившимися около самого борта: только железные сетки отделяли заключенных от свободных и отделяли их надолго, на всю жизнь! Из-за печальных речей слышались всхлипывания, плач и тяжелые вздохи.

— Ну, прощай, тетка!.. Мавра Никитишна, прощай!



Нечего уж дольше стоять! — мечась за решеткою, как дикий зверь в клетке, отрывал Егор Барсуков, вворачая белками своих огненных глаз. — Подите... Будет вам плакать-то! В Рассее али в Сибири, нешто не все равно? Ведь и там люди, а не черти живут!

Слова эти не выговаривались, а выпаливались в двух пожилых женщин одетых по-городски, опрятно и во все темное.

— Ах ты, бесталанный мой! — обливаясь слезами, выговаривала одна. — Ни отца-то, ни матери-то у тебя нет, и проводить-то, кроме нас с Никитишной, в дальнюю сторону некому.

— Не говори... не хочу я слышать этих слов! — вскинулся племянник, и глаза его налились кровью. — Не люблю я... не напоминай ты лучше мне напоследях про мою долю проклятую, про сиротство мое несчастное!.. Обидели... загубили... За что я погибаю? за что?!

Барсуков заскрежетал зубами и сделал такое порывистое движение, что кандалы испустили жалобный стон, а цепь чуть не разорвалась.

Он был страшен.

— Уйдем, Лукинишна! — тихо взяв за руку тетку Барсукова, сказала другая женщина. — Гляди, скоро отчалят? Не опоздать бы нам на пароход!

— Уходите! — злобно подхватил каторжник. — Я давно говорил: нечего вам здесь толочься... Простились уж!.. Тетка! тетушка, стой-ка! — изменившимся голосом крикнул Барсуков, и все мускулы лица его дрогнули. — Подойди-ка-сь поближе... О чем я тебе покучусь: когда вернешься домой, сходи ты в нашу церковь и поставь за меня свечку божьей матери...

Другой каторжник, темнорусый молодой парень, наказывал:

— Сестричка, милая! Увидишь Агафью, скажи ты ей, чтобы она простила меня и не помнила зла. Не случись со мной этакого греха, — я бы повенчался с ней. Матушка! жучку-то, жучку мою не спокинь: брось когда ей кусок хлеба... Жаль собаки: уж больно она верна была!

— Тетушка! родимая! не забудь же ты просьбы моей. — говорил Егор Барсуков: — поставь свечку заступнице казанской!.. Да помолись ты за меня. Может, твоя молитва и дойдет до небеси.

По лицу Барсукова с одной половиной черной бороды

струями текли крупные слезы, и голос его звучал особенными и мягкими нотами.

— Мамка!

В стороне, на мешках, сидела женщина и кормила грудью. Одной рукой она придерживала ребенка, а другою гладила русую, покоившуюся на ее коленях, головку мальчика; глаза, печальные и кроткие, смотрели на стоявшую перед ней девочку в синем сарафане и босоногую, с загорелым личиком и льняными волосами, заплетенными назад в жиденькую косичку с висевшею тесемкою.

— Мамка! — повторила девочка.

— Слышу дочка! — отозвалась мать.

— Слышишь? Ну, холосо... тепель ты гляди на меня!

Девочка подняла ручонки, словно приготавливаясь держать для разматывания пряжу; черные от пыли и солнца ножонки ее принялись семенить, и крашенинный сарафанец заколыхался.

Тихая, чуть заметная улыбка показалась на лице матери, и она промолвила:

— Попляши, Дунюшка, попляши!

Довольная материнским поощрением, девочка еще усерднее принялась толочиться на одном месте и приседать, вздергивая голыми заостренными локотками.

При виде этой сцены морщины на лбах серых халатов расправились, сумрачные лица прояснились, и губы сложились в улыбку. Послышались голоса.

— Вот так девка!

— На любой деревенской беседе не посрамила бы себя.

— Да она, поди, и песни играть мастерица?

Девочка, не переставая приседать, оглянулась и сказала:

— А ты лазе не слышал, как я вецол песни иглала?

— Так и есть: умеет! Вот, братцы, при нашем безвременье бог такую утеху послал! Эх, жаль, гостинца-то я с собой не захватил, все дома оставил. Ато надо бы экую веселую девку уважить!..

Но сожаленье было напрасно: гостинцев скоро явился. Одна из арестанток, с задумчивыми глазами и выражением затаенной грусти в молодом лице, подошла к «веселой девочке», наклонилась и, ласково заглядывая ей в глаза, любовно спросила:

— А хочешь гостинца?

Плясунья смело ответила:

— Хоцу!

Но вместо того чтоб взять гостинец, она вся вспыхнула и попятилась назад, вонзившись глазенками в лицо арестантки.

— Что же ты? Бери гостинец!

— Состеснителась, — проговорила мать. — Да что-й-то ты, кормилица, радеешь о ней, — прибавила она: — сахарок тебе самой в дальней путинке понадобится, ваше-то дело к чайку привышное, а нам-то ведь он в диковинку.

— Не беспокойся, у меня хватит. Ну, Дуня, возьми!

Девочка протянула ручонку и, попрежнему не спуская своих светленьких глазенков с арестантки, сказала:

— Какая ты плигозая!

Яркий румянец запылал на щеках пригожей арестантки, две слезинки выкатились из ее глаз и задрожали на черных ресницах; опустила она перед девочкой и стала на колени. В миг загорелые ручонки обвили вокруг белой шеи, и льняная головенка с крашенинным сарафанцем плотно прижалась к молодой груди красивой арестантки.

— Долой с борта! — закричал унтер-офицер. — Сичас отчаливать будем.

Все отхлынули. С барки раздался голоса.

— Прощай! Прощайте! Не забывайте! Да поклонитесь, земно поклонитесь родной сторонке!

— Тетка! родная! Мавра Никитишна! — возвышался над всеми другими голос Егора Барсукова. — Прощайте, Простите меня, окаянного!

— Дай нам о себе весточку, когда на место приедешь! — кричали ему с берега. — Мы станем тебе отписывать.

— Не оставь, не оставь, родная! Эх, пропащий я человек. — И атлет зарыдал и начал биться головой и лицом о железную решетку.

---

Пароход дал уже два свистка; пары были разведены, и все готово к отплытию. Скоро раздался и третий свисток. Такого свистка я не слышал ни на одном из речных пароходов: свист соловья-разбойника не был, вероятно, так оглушительен и ужасен, как свисток арестантского парохода. Через минуту мы отвалили. За нами, обрисовавшись своим профилем, повернула и страшная баржа, описывая большую дугу и показывая нам неподвижно стоявшую на палубе толпу серых пассажиров.

Весело сияло на безоблачно-голубом небе солнце. На-

горный берег с разбросанными по склонам его селениями, садами и ветряными мельницами, отдельные возвышения и круто опускающиеся выступы и утесы, белые, как тающий снег, и ярко зеленеющие долины побежали и поплыли мимо нас; слева потянулся опять луговой берег, покрытый зарослью, и на горизонте в неясных очертаниях поднялся темный кряж леса. Волга с ее бесчисленными островами, проливами, затонами и воложками, перерезанная поперек золотой и трепещущей миллионами искр полосой, разливалась перед нами все шире и шире и несла свои могучие воды. Воздух чист, дышется легко, полной грудью. Смотришь, и кажется: величественная река, берега, селения и все, что в состоянии окинуть глаз, — все это поднимается и с радостной улыбкой летит навстречу ликующим небесам. Одно темное пятно как туча стояло на всей картине и омрачало ее светлый фон: это — плывущий за нами «Тобольск»...

На палубе под тентом разместилась третьеклассная публика. Большинство ее, как и всегда бывает, составляли армяки и лапти, помещавшиеся где попало и на полу; длинные сюртуки, суконные поддевки и чуйки занимали места на скамейках и распивали чай. Между женщинами, находившимися на палубе, я увидел тетку Егора Барсукова и Мавру Никитишну. Первая сидела, закрыв глаза и склонив голову, и видимо дремала; другая переговаривалась с молодой краснощекой крестьянкою, сидевшей рядом и державшей на коленях холщевую котомочку. Неподалеку от них, на ящике, парень в красной рубашке читал вслух книжку, с трудом разбирая слова, и так весь ушел в чтение, что не обращал никакого внимания на говор окружающих и толчки, которыми снабжали его нечаянно проходившие мимо пассажиры и матросы.

— Как занялся, точно каменный! — кивнув на чтеца, сказал приказчик своему соседу, господину с колючею щетиною вместо бороды и в сюртуке с белыми светлыми пуговицами.

— Оболтус! — презрительно ответил владелец щетины с светлыми пуговицами. — До чего у нас только просвещение дошло: мужик-сиволап едет на пароходе и книжку читает. А? как вам это покажется?

— Совсем не подходящее-с дело. Вот я и прикащик, а такими пустяками не занимаюсь.

— Еще бы ты посмел! Увидел бы тебя за книжкою хозяин, так он бы тебе взмылил голову!

— Взмылить хоша бы и не взмылили, но и похвалы бы от них я за это никакой себе не получил.

— Отчего ж? Нет, я бы похвалил... Пускай вон тот, сиволап-го, — щетинистый господин ткнул в воздух по направлению чтеца в красной рубашке, — пускай он поступит ко мне в полесовщики. Я бы ему дал просвещение...

— Дали? Настоящее? Хе-хе-хе!

— Самое настоящее. Я бы просветил его... Вот бы как просветил!

Приказчик отодвинулся: так внушительен показался ему просветительный прием соседа.

— Чего испугался? Не бойся, я тебя не трону. Пойдем в буфет, протащим еще по одной!

— За компанию, извольте-с, одну рюмку выпью.

— Ладно! Одну рюмку... Придем в буфет, там видно будет... А то ишь что говорит: одну рюмку?!

Приказчик последовал за новым просветителем и, мимоходом бросив взгляд на парня, с досадой проговорил:

— Как есть статуи настоящий!

Но парень глазом не моргнул, углубившись до полного самозабвения в чтение любопытной книжки, на серой обложке которой в заголовке красовалось: «История о храбром и славном рыцаре, Францыле Венециане».

Мавра Никитишна, между тем, рассказывала о чем-то соседке с холщевой котомочкою.

— А товарка твоя крепко заснула, — промолвила та, указывая на спящую тетку Барсукова: — укачало, знать, ее, сердечную!

— Намаялась. Две ночи не спавши, и дни-то все в беспокойстве... Ты сама посуди: племянник родной, один всего и был. Поди, внутри-то у ней, голубушки, теперь все изныло да изболело.

— Изноет, родименькая, коли этакое-то стрясется. Чай, не сладко!

— Да вот, скажу тебе, как сладко: нетокма родной, а чужой, со стороны, вдругорядь, не приведи господи видеть человека в таком несчастье. Давича, как взглянула я на Егорушку-то, так во мне инда сердце перевернулось.

— Перевернулось?

— По рукам и ногам скован, голова обрита, с лица черный-черный! вот, знай, как платок мой. А молсдец-то какой был.

— Ишь ты, родимая! А матка с батькой у него живы?

— Мать-то давно померла; отца нет... Девкой от барина покойница его прижила. Когда она родила Егорушку, барин дал ей отпускную и оставил ее с младенцем в городе, а сам уехал в иные земли. Боялся очень своей родительницы, старой барыни, потому жену законную кинул и с любимой горничной старой барыни любовь завел... Кабы отец-то был настоящий, да мать вживе была, так може Егорушка и не угодил на чужую сторону. От сиротства да от недобрых людей и сгибла его удалая головушка! Остался после матери он мал-малехонек, сызмальства нужду спознал, по чужим людям все мыкался. Тетка в те поры в усадьбе жила: мы с нею, как и с покойницею, дворовыми девушками, подружками были. Тут вскорости крестьянам волю объявили, старая барыня наша от огорченья померла; а мы с Лукинишной, теткой-то Егорушки, тоже в город перебрались, — рассказчица назвала один из поволжских городов Казанской губернии. — За господами мы вместе жили, и на свободу вышли — не расстались, под одной кровлей поселились и зажили две старые девки. А Егорушка наш, что деревцо хорошее, год от году кверху поднимался, собой могутный такой и с лица кровь с молоком. По летам парень на судах ходил, а зиму в низовых городах проживал. Лукинишна, бывало, начнет его уговаривать, чтобы он в своем городе приискал работу и обосновался на одном месте. — Куда! и слушать не хотел!

— Не пожелалось, значит?

— Должно так. А тетку парень любил и вместо матери почитал. Бывало, где бы ни ходил, где ни гулял, а по весне или по осени непременно уж навестит Лукинишну. И душа у него добрая была — матери покойницы. Ни разу не случалось, чтобы он когда с пустыми руками к нам пришел: все гостинец принесет, а с городов и денег присылал.

— Ишь, радельник, значит!

— А станет тетка уговаривать: брось, мол, чужую сторону и живи в своем городе, так из лица даже изменится, весь из себя выйдет, и глядеть о ту пору на него боязно: «Что, говорит, в своем-то городе хорошего я видел? Одни насмешки, попреки да обиды от людей! только и слов мне, что незаконный!..» Нрав Егорушка унаследовал барский, гордый, непереносливый... Только раз склонился было остаться с нами, кинуть совсем хотел добытки на стороне. Возрадовались мы с Лукинишной, ног под собой не слы-

шим, — молебен тихонько царице небесной отслужили!.. Приглянулась нашему Егорушке в городе одна девушка, — из мещанок, и он пришелся ей по сердцу. Да видно на роду не написано ему счастье: отец с матерью не похотели выдать: «какой, — говорят, — жених он нашей дочери: незаконный»!.. Не перенес такого удара! Простился с нами, ушел и с этого разу больше глаз не показывал.

— Так и скрылся?

— Больше семи годов не видали. Ни слуху, ни духу, — пропал, точно в воду канул. Мы с теткой стали уж за упокой его душеньку поминать. Только погода, пошлшим стороной, говор нехороший про него пошел: будто Барсуков замотался и в недобрых делах себя обозначил. Год еще минул: ничего не слышим. Вот, сидим мы раз с Лукинишной — весной ранней, под ночь дело было, — сидим мы вдвоем и так-то нам обеим стало горестно, сердце боли-ит, болит... Глядим друг на дружку и плачем, а о чем — сами про то не ведаем. Поперестанем немного, да как опять взглянем и зальемся обе, и удержать себя не властны. «Никитишна, — говорит мне подруга: — о чем ты плачешь?» А ты, говорю, — о чем, Лукинишна? «Да не я, — говорит, — это плачу, — это во мне сердце плачет».

— Ах, матушка! — всполошилась слушательница. — Знать сердце-то вам предвестье давало?

— Задумалась тут моя Лукинишна и сидит, смотрит пристально таково в угол и словечушка не проронит, — на глазах рассказчицы навернулись слезы, и она вынула из кармана белый носовой платочек. — В избе уж стемнелось. Пора, думаю, и ужинать: ночь совсем надвинулась. Вдруг: «Никитишна, — слышу голос подруги, — что сичас мне представилось? Гляжу я на божницу и вижу, будто сестра покойница стоит и мученический венец у нее на голове. Лицо молодое, как у девушки, и от него ровно бы сияние какое. «Пришла, — говорит мне сестра, — взглянуть на родимое мое дитятко. Погляжу на него в останний раз и дам ему благословенье: много перед ним лежит впереди горя да маяты»... Не успела опомниться, а уж виденья и нет, скрылось...

— Пресвятая богородица! — вскрикнула слушательница, и добродушное лицо ее выразило испуг. — Накось, что ей представилось!

В эту минуту спящая тихо заговорила:

— Не ходи... Живи с нами.

— Господи Иисусе! — закрестилась соседка Мавры Никитишны: — с кем-то она разговаривает?

— Это зачастую с нею бывает — от дум, — успокоила ее Мавра Никитишна: — про что наяву она думает, о том и во сне разговаривает.

— А у нас, по деревням, старые люди инако толкуют: от порчи, ишь, это случается... Не погневись на меня, глупую, перешибла я твою речь. Рассказывай, кормилица!

— Ох, касатушка! слушать-то, поди, тебе мою речь не больно весело: без чужого горя у всякого своєю полно изба.

— И-и-и, родимая, по всему-то христьянскому миру горе ходит! Послушаешь коли вот этак доброго человека, так и свое-то горе будто не так уж тяжело

— Так, так, милая, — согласилась Мавра Никитишна. — Погворила я вот с тобою, — от сердца-то у меня ровно и отлегло... на душе полегче стало... Любила я Егорушку, как родного. (Мавра Никитишна поднесла к глазам платок.) Словно теперь гляжу на него, когда он впоследствии к нам приходил. Засветили мы о ту пору огня и сели с Лукинишной ужинать. Куска не проглотит моя подружка, все к чему-то прислушивается и по сторонам озирается. Не опять ли тебе, спрашиваю, представляется что? «Нет, — говорит, — видеть теперь ничего я не вижу, а чудится мне, будто сестра не уходила, а невидимо тут стоит и в венце своем мученическом». Это, говорю, ангел ее душеньки тебе являлся: знак подает, что душа нашей Анны не мучится на том свете. Она согрешила, полюбивши чужого мужа; грех ее был не перед людьми, а перед богом: в грехе своем богу одному и ответ она должна бы нести. А люди себе суд божий присвоили: поносили Анну, уничтожали всячески и без времени в сырую землю свели. Это вот и есть венец ее мученический...

— А ведь правда: — бог, чай, давно уж ее простил!

Парень в красной рубашке, не раз уже во время этого рассказа отрывавшийся от книжки, положил теперь руку на разогнутую страницу и оставил чтение.

— Лукинишна, смотрю, в лице меняется. «Ты не слышишь?» — говорит. Нет, говорю, ничего не слышу. «Видно мне это чудится: с улицы словно в ставень кто постукивает». Помолчали. «Чу?.. Опять!.. Слышишь?» Как полотно побелела моя Лукинишна. И я, по правде сказать, струхнула: в окошко три раза легонько этак стукнули... Сидим —



не шелохнемся. Слышим: на крыльцо кто-то вбегает, кольцо на двери шарит... нащупал... Зашелкой в сенях стукнуло. «Пускаете странников ночевать?» С нами крестная сила: на пороге Егорушка стоит!

— Сердце-то вещун — не обмануло!

— Заплакала от радости Лукинишна, кинулась племяннику на шею и повисла. «Ты ли это, мой родной? — вопит: — Тебя ли я опять вижу?» — «Меня самого, — весело таково отвечает нечаянный гость: — я Егор Барсуков». Тут и меня, старуху, обнял, целует. «А я, говорит, к вам вовремя, к ужину угодил. Ну, честные старицы, угощайте запоздалого странника». Помолился и сел за стол. Ест, а сам все шутит да смеется. «Постарели, — говорит, — вы тут без меня и похудели. Должно мать игуменья вас плохо содержит». Вынул из кармана четвертной билет и кладет на стол. «Вот вам, старушки, от меня гостинец, поправляйте свою худобу и женихов себе ищите!» — А у самого-то что осталось ли? — спрашиваем. «Осталось... Да мне и не надо: иду я теперь в края привольные, где мужики деньги лопатами запребают. Переночую я у вас, а утречком, чем свет, завтра в путь дорожку!» Опечалились мы: прийти не успел поглядеть на себя не дал и уж в дорогу собирается. Принялись было его упрашивать: погости у нас, ненаглядный. «Нет, — говорит, — нельзя мне у вас загащиваться: место хорошее упусти». Ну, коли сказал так, нечего и упрашивать: знаем его характер, слова своего не переменит. А он говорит: «Спать пора. Ежели я проспую, — на зорьке меня разбудите». Хотелось нам порасспросить его, как и где он эти семь годов жил, да видим, на лавку уж ложится, и не посмели его тревожить: с дороги, поди устал и измаялся! «А как здесь, в монастыре-то вашем, тепло да приятно», — говорит Егорушка и глядит на обеих нас. да так нешто печально глядит. «Ну, спите, — говорит. — Не забудьте только на зорьке разбудить». Перекрестился, повернулся на бочок и заснул. Мы с Лукинишной долго на него, спящего-то, глядели, и досыта никак наглядеться не могли. Не постарел, а возмужал сильно и бородой черной оброс. «Вы еще не спите?» Глядим — Егорушка глаза открыл. «Позабыл, — говорит, — я вам сказать: плохо у вас ставни прикрываются: давнеча, как я под окошком стучался, с улицы все было видать, что в избе делается. Гасите свечку да ложитесь спать». Послушались, легли и мы, пошептались еще промеж себя и заснули, да таково слад-

ко да крепко заснули. Не знаю, соснули ли первый спень, как слышим впросонках — ботают в крыльцо...

— Ай, желанная! и слушать-то жутко!..

— Вскочила я, накинула на себя платышко и выбежала в сени. Кто там? «Отпирай!» — кричат за дверь. Ноженьки у меня подкосились и руки затряслись, вся дрожу и ни с места. «Дверь выломаем, коли отпирать не хочешь!» Отодвинула я задвижку... Угодники! полиция и понятые с фонарем... Вломились в сени и лезут в избу, — Лукинишну инда с ног сшибли... Парень наш, гляжу, одетый стоит. «Тебя, — говорят, — нам и надо! Берите его!» — «Стойте! — крикнул Егорушка: — Я не вор, не разбойник... — «Ладно, — говорят, — там разберут, кто ты такой, а мы тебя давно знаем. Вяжите». — «Братцы!.. — Егорушка-то им опять. «Отпустите вы меня, я сейчас же уйду и никогда не покажусь... Я зла вам не сделал, пришел ради тетки, повидаться с ней впоследние и проститься. Отпустите братцы!» — «Вишь, Лазаря какого поет, — засмеялись полицейские. — Чего вы стоите? — трикрикнули на понятых: — вяжите его!» Натерпелись мы тут страсти!.. Как сказали эти слова полицейские, Егорушка в минуту преобразился, стал весь страшный и вырос до потолка. Выхватил нож большой и с ножом на всех! «Живой, — заревел, — в руки не дамся».. Что было тут, уж я не помню!.. Знаю только, что когда поднялось это смятенье, и на побоище сбежался народ чуть не со всего города, Егорушка лежал на улице, связанный и весь в крови... Давно, — узнали мы на утро, — выслеживали да искали его: с какими-то, вишь господами Егорушка запутался и лихое с ними задумал... Так, надо полагать: в грех этот он вдался от напастей людских да от тоски по зазнобе своей. Уж очень казнили Егорушку за покойницу-мать, и шибко он убивался по невесте бывшей своей!..

— Эко горе, эко горе! — сокрушалась краснощекая соседка. — А ее, любу-то свою, видел он?

— Свиделись, после люди сказывали. Это и выдало Егорушку. На огородах, слышь, в самые сумерки Егорушку с вено усмотрели. Признали его и донесли... А через год ему и решенье вышло: на каторгу сослать.

Парень в красной рубашке снова принялся за чтение «истории о Францэле Венециане», а дикообразный господин с белыми пуговицами, успевший два раза уже побывать в буфете, рассказывал по палубе и ко всем придирался.

— И места здесь, погляжу я, непривиданные, — говорил штукатур, ехавший с двумя товарищами в Пермь и не сводивший глаз с берегов многоводной реки.

— Места чудесные, — соглашается солдатик в заломленной ухарски кепи. — Изойди ты всю Россию, — лучше Волги местов не сыщешь. Это я верно знаю: с полком немало тоже я земли исходил.

— По Волге места дивные, слов про то нет, да приволы только мало, — вступает в разговор лоцман, ходивший на других судах и ехавший теперь в Уфу. — Кабы при этакой красе да привола была!.. Умирать бы тогда не надо!

— Как есть не надо! — подхватил солдатик. — И река тут, и рыба всякая, и харч разный... А приволы, это вы верно сказали, приволы нонче по Волге не очень чтобы довольно было.

— Привола, — задумчиво повторил штукатур. — Да где ты ее, приволу-то, по теперешним временам, сыщешь? Были мы в Питере, и в Москве, и по разным городам таскались, а про приволу нешто не много от кого слышали.

— И не услышишь, — сказал лоцман. — Приволу надо искать на новых землях: вот, сказывают, в Уфимской губернии привола...

— Какой тебе приволы надо, борода? — наступил дикообразный мужчина на лоцмана. — Да смешь ли ты, мужик, о приволье рассуждать? а?

— Мы промежду себя, господин, ведем разговор, — степенно ответил лоцман: — других не касаемся.

— Ты бы еще коснулся? Я бы тебе задал приволу!.. Можешь ты или вон тот оболтус в красной рубашке — понимать, что значит образованный, благородный человек и какие у него понятия? Можешь? а? Сказывай, борода!

— Не можем, господин, мы вас понимать и просим, чтобы вы для себя приискали по вашему образованию и благородству компанию.

— Нет, стой! Я не горд: я и с мужиком, ежели он уважение мне оказывает, могу говорить!..

— Оставьте, — советовал вполголоса приказчик. — Охота вам с мужиками?.. Ну, их!

— Нет, я поговорю с ними! Отчего ж не поговорить? Правда, я чиновник, помощником кондуктора состою, но до разговора с мужиком всегда снизойду, ежели только уважение... Н-ну, сиволапы?

Но «сиволапы» незаметно перебрались на противо-

ложную сторону палубы и отыскиали свое место около Мавры Никитишны.

— Какой несуразный господин! — высказывал вполголоса свое мнение солдатик. — Тверез — сидит смирно, а как переложил за галстук, — и начал дебоширничать да колобродить.

— Ну, тверезым-то, должно, он редко когда бывает, — подал свой голос штукатур: — с самого Нижнего я нешто ни разу, его в своем образе не заметил.

— А еще благородный, образованным себя величает! — говорил лоцман. — Разве образованные люди так поступают? Видали мы образованных-то людей...

В это время тетка Барсукова проснулась и огляделась вокруг.

— Никитишна, не проехали мы Богородское?

— Али ты проснулась? — отозвалась на голос своей старой подруги Мавра Никитишна. — Нет, далеко еще не дошли: теньковскую мель и Буртасы миновали. Скоро будет Красновидово.

— Ну, слава богу. А я думала, не проспала ли уж?

— А вы до Богородска? — спросила краснощекая соседка.

— Да, тут мы сойдем. А там до города пешком добреедем.

— И-ах, вы, болезные, болезные, болезные!.. Сколько вы горя-то наиспринимались! — сокрушалась молодица и громко вздыхала.

Господин в сюртуке с белыми пуговицами не унился и кричал лоцману:

— Эй, борода! подойди ко мне! Хочешь ты приволы? Поступай ко мне в полесовщики; я дам тебе место в моем лесничестве, — ты у меня узнаешь приволу. Гляди сюда: вот она, привола-то какая вашему брату требуется.

Оказалось, что и «привола» у него заключалась в том же увесистом кулаке, как и мужицкое просвещение.

---

Время за полдень. Все дальше и дальше несется наш пароход, обгоняя на пути крутобокие беляны, нагруженные дровами, длинные цепи плотов и разнокалиберные суда. Вон, недалеко мелькнул пловучий домик, за ним еще и еще, — не перечесть! Новенькие, чистые и светящиеся, плывут они тихо по нескончаемому плесу реки и точно зовут

к себе. Срубленные в верховьях Унжи или Ветлуги, пройдут они вместе с плотами, на которых постановлены, целые тысячи верст, пока не достигнут места своего назначения. Порою из окна такого домика выглянет неожиданно любопытное женское лицо или белая головка ребенка с розовыми щеками и широко раскрытыми глазами. А посередине плота, в шалаше, пылает огонь, и на нем в чугунном котелке готовится обед сгонщиков, работающих у руля и промеривающих шестами глубину воды.

Я вошел на трап (мостик). Здесь находилась почти вся публика первых двух классов. Одни расположились за столиками и пили чай, другие сидели на диванах и любовались Волгою и ее быстро сменяющимися картинками. Из пассажиров, с которыми я плыл от Нижнего, были двое: сибиряк-купец и мой товарищ по каюте, молчаливый господин с коричнево-пепельными усами. Остальные сели в Казани и потому были для меня новыми лицами. Из последних более интересными мне показались: купеческий сын с цветущими щеками и длинными руками, и другой — юноша, только что окончивший курс в горном институте, с весьма симпатичным лицом и хорошей доброй улыбкой. Казанец бегал по трапу и всем восхищался, постоянно восклицая: «Знаменито!» Горный студент не отставал от казанца, но любовался не чисто платонически, как первый: он смотрел на очертания берегов, отмечал пласты и т. д. Сибиряк в обществе жены и маленького сына пил чай и созерцал ли корму парохода, или убегающую от нас даль верховья реки, — решить трудно; изредка произносил он два-три слова, обращаясь к жене, и вновь устремлял взор на кормовую часть парохода. Мой товарищ по каюте, не переставая тянуть сигару, внимательно прислушивался ко всему и красноречиво молчал. Иногда лицо его принимало такое выражение, что вот вот и он сию же минуту заговорит; но проходила минута, другая и больше, господин попрежнему не открывал рта, а только еще сильнее сосал сигару.

Из-за густой блестящей зелени садов, как невеста под венцом, выглянула белая сельская церковь. За нею по склону горы выбежало село. Две-три минуты, — и село утонуло в зелени садов. Остались позади и ветряные мельницы с широко и неподвижно распростертыми крыльями.

— Нет, вы посмотрите, посмотрите, что тут делается! — взывал к горному студенту казанец. — Видите вы эту скалу?.. Голый камень, — больше ничего-с, а на нем целый

лес вырос! Знаменито! А вон из трещины родник бьет! Смотрите, другой... третий... Ах, что за прелесть! Знаменито!

— Очень хорошо, — отвечал студент, улыбаясь своей доброй и хорошей улыбкой. — А вот в этих пластах, Андрей Николаич, железная руда лежит.

— Неужели? Скажите, пожалуйста, железная руда!..

Сибиряк поднял глаза и посмотрел на студента.

— Почему вы знаете, что тут руда находится? — любопытствовал Андрей Николаич.

— Нас этому в институте учили.

— Скажите!.. Значит, по грунту земли можно узнать, где медь, где серебро и всякий металл?..

— Можно.

— А золото?

— Все равно.

Казанец всплеснул руками.

— И до всего этого люди по науке доходят?

— Да, по науке...

— Вот как! — протянул озадаченный молодой человек. — Знаменито!.. А мы-то что знаем?.. Поучили нас кое-чему, так, через пятое на десятое, и к торговле приставили: «Ты, говорят, коммерческим человеком должен быть, науками тебе голову не следует забивать, а на практике все постигай, и настоящий из тебя человек выйдет, солидный коммерсант».

Горный студент участливо посмотрел в лицо казанца и проговорил:

— Что же? если вы хотите учиться, займитесь и поработайте года три. У вас есть университет, студенты. Обратитесь к ним, они укажут, что вам надо прочитать, и сами помогут...

— Нет-с, время уж прошло. Ежели бы с детства меня учили по-настоящему, через гимназию провели и дальше... тогда, может, и вышло бы что-нибудь. А как с десяти-то лет запрягли меня в эту самую фараонову колесницу, да практику постигать заставили, — так разве уж теперь возможно, чтобы на меня действие какое возымела наука? Не в коня корм, больше ничего-с... Да что! я вам даже вот какой предмет могу представить. Сядемте!

Купец-сибиряк внимательно прислушивался к разговору молодых людей, а молчаливый господин, скусив новую сигару и быстро ее закурив, движениями и взглядами обнару-

жил явные признаки желания вступить в разговор и, в свою очередь, тоже сообщить публике о чем-то весьма интересном. По выражению его лица не трудно было догадаться, что он только по чувству деликатности допускает молодого человека говорить первым и выжидает его рассказа, а потом, не медля ни одной секунды, примется уже сам рассказывать.

— Знаю я одного фабриканта, — начал казанец. — Звать его Алексей Петрович, или, как его все величают, Алеша Прелестник. Родители предоставили ему настоящее образование, одним словом, знаменитое. Спервоначально он проходил курс в каком-то, что ни-на-есть из всей Москвы, первосортном заведении, вроде бы, так сказать, гимназии казенного просвещения. Одних денег за него сколько переплатили, уму не сообразить: каждый год в заведение по тысяче рублей отвозили. Покончивши со всеми науками в этом самом заведении, молодой человек прямо в университет хватил: «Высшие, — говорит, — науки желаю познать и через то самое большие права получить». Отлично-с. Окончил курс знаменито, вышел из университета, как там по-ученому, кандидатом, что ли, и аттестат на пергаменте с большой печатью получил. «Ежели бы я, — говорил Алеша, — пожелал на военную службу определить себя, сейчас же бы меня в штабс-капитаны пожаловали и целую роту под начальство мое препоручили, а годов через десять и до генерала бы я выслужился.» Каковс-с? Из купцов да в генералы? Знаменито!..

— А разве нонче уж в Рассее стало на этот счет свободно, правительством это дозволяется? — полюбопытствовал сибиряк.

— Диплом высшего учебного заведения всем открывает широкую дорогу, — удовлетворил любопытству сибиряка горный студент. — За крупные пожертвования, хотя бы человек не имел и никакого образования, тоже дают генеральские чины.

— Так. Я сорок лет не был в Рассее. О новых порядках мало известен. Прошу прощения!

— На службу, однако, молодой человек не поступил, — продолжал Андрей Николаич, — а поехал в свой город к папаше и с родительского благословения прямо за прилавок стал. Известное дело, молодежь из купечества по своему невежеству подтрунивать начала над сидельцем с аттестацией из университета: заучился, дескать, где ему по

коммерции! Ан нет! на практике не то вышло, таким себя коммерсантом Алеша показал, что даже никто глазам своим верить не хотел!.. Родитель, видя в своем ученом сыне такой талант, через год препоручил ему фабрику и предоставил супругу. Барышня собой настоящая модная картинка, с образованием, в пансионе благородном обучалась и, конечно, с капиталом хорошим. Отлично-с. Огромнейшая фабрика, значит, на руках и супруга первый сорт, знаменито-с! Необразованные это опять было с критикой своей дурацкой: «Посмотрим, как ученый-то фабрикой станет орудовать; это немножко помудреней будет, чем за прилавком стоять! Подождем». А тот и ждать не заставил: как пошел, как принялся действовать да реформы по фабрике заводить — настоящие Северо-Американские Штаты, а не Рассея!

— Извините, Андрей Николаич, — прервал с улыбкой студент: — вы, кажется, неудачный пример взяли и доказываете как раз противоположное тому, что сначала хотели доказать...

— Позвольте-с! я предмета своего не кончил. Обождите, сделайте одолжение! Живо вам отрекомендуюсь. Первое дело, молодой человек штрафы поставил на высшую точку: опоздал фабричный самую малость на фабрику — штраф; форточку от духоты открыл — штраф, захворал, не пришел — штраф! Второе дело, для служащих при фабрике лавку и питейное заведение в широких размерах открыл; цены на все назначил двойные. Ежели кто из служащих купит что на стороне — тройное взыскание тому в заборную книжку записывается. Знаменито! Как стали за первый год сводить по фабрике баланс, так от штрафов да от лавки с кабаком чистой прибыли полтора ста тысяч оказалось! Каков — а? Алеша еще дальше! новую реформу придумал: «Правила» особые для фабрики отпечатал. Услыхала о такой контрибуции фабриканты — так все и осатанели... Вот так уха! Так-то превосходно он этими правилами своих подданных завинтил, что даже на арестантской барже, ежели спросить колодников, льготам фабричных у Алеши никто бы не позавидовал. Обыкновенно на ситцевых фабриках бывает такая ряда: нанимают рабочих с осеннего заговенья до пасхи, и с фоминой недели до филипповского поста, — зимой плата дешевле, а летом дороже. До пасхи или страстной недели редко бывает фабрика в ходу. Как начнет таять и лед на реке вспучит, так дела и



прекращаются — невозможно дольше работать, потому вода для красок не годится, — а жалованье хозяин по договору обязан рабочему сполна до ласки заплатить. Вот понадобилось Алеше усовершенствования на фабрике произвести; он возьми да за два месяца до пасхи и распусти своих подданных. Рабочие вздохнули, думают: в деревню теперь придем с деньгами, бабам с ребятенками гостинцев прихватим и светлый праздник дома встретим. Тем себя куражили, что, помимо зажитого, хозяин за два месяца жалованье им выдаст. На другой день требуют их в контору: пожалуйста значит, расчет получать. Повалили. А там, у конторщиков, все уж расписано и готово, — держите только шире карманы! Началась раздача: кому целковый, кому два, кому полтинник, а то и ничего — конторе еще должны остались. Фабричные, сколько их тут ни было, так и обалдели. «А за два-то месяца? — спрашивают, опомнившись немного и кто в себя пришел. «За какие вам два месяца?» — конторщики говорят. «Да ведь мы до пасхи занимались?» — «А вы нешто проработали до пасхи?» — «Мы готовы хоть до дня светлого воскресенья работать. Не по своей, чай, воле мы работу покинули, а хозяин распустил.» — «Это до нас не касается. Наше дело выдать кому сколько по книжке причитается, а насчет прочего — воля хозяина. Счастливого вам пути! Поспешайте-ка лучше к домам: жены, поди, заморились, вас столько времени не видючи». Смеются! что им? народ молодой..

— Чем же дело кончилось? — перебил горный студент.

— Обождите, сейчас узнаете... Позвольте у вас закурить? — обратился Андрей Николаич к молчаливому соседу, не выпускавшему ни на минуту изо рта сигары. — Услышав подобные слова, — с жаром рассказывал казанец, — рабочие из конторы двинулись прямо к хозяйскому дому. Подступили полторы тысячи человек, обложили кругом, точно вот как Плевну, и хотели взять и стоят, ожидают, когда выдет к ним Осман-паша. Отлично-с! Вот через час этак времени на крыльце показался Алеша Прелестник в собольей шубке и с папироской. Фабричные — шапки долой. «Чего вам?» — говорит Алеша и говорит так ласково да тихо. «Помилуй! — заголосили кто впереди стоял и на колени перед хозяином пали, а за ними уж и вся фабричная сила повалилась: — Денег контора не выдает; за два месяца жалованье удерживает». — «Как? — начинает Алеша: — у меня в конторе такие беспорядки? Подают

мне ежемесячную ведомость жалованья, а сами за два месяца удерживают выдачу!.. Всю контору сегодня же смею... Да встаньте, друзья мои, холодно, леди, вам на снегу-то» — «Ноги рады отморозить, только не обездолять ты нас к празднику-то!» Алеша стал расспрашивать, по какое число контора их разочла. Сказали. «Ну, коли так, я ничего сделать не властен: контора правильно поступила.» — «А как же, сударь, ряда у нас до пасхи была?» — «А «Правила» разве вам неизвестны? Они у вас в книжках напечатаны.» — «Мы люди темные... печать не про нас. А мы как рядились, уговор помним.» — «Ничего я для вас теперь сделать не могу: я от правил не отступаю. С богом, друзья, счастливого вам пути желаю и в радости праздник встретить.» Каково молодчик обчекрыжил? Знаменито! Поднялись со снегу рабочие, отряхнулись, потолковали промежду себя и все полторы тысячи в поход к мировому. Дорогою их чуть в плен не взяли двое городских. «Нешто вам дозволено скопом по улицам ходить?» — напустились полицейские на рабочую силу. Но, видя, что народ смирно идет, никакого озорства не оказывает, — решили поубождать арестом, а сами пошли с фабричными до мирового. Судья выслушал жалобу, посмотрел фабричные книжки и покачал головою. «Ничего невозможно сделать, — говорит. — В «Правилах» у вас напечатано, что наняты вы действительно до пасхи, но в самом конце есть примечание: «Хозяин имеет право, в случае важных обстоятельств, распустить своих рабочих прежде чем окончится срок найма, причем он обязан вознаградить служащих жалованьем беспрекословно и без малейшей задержки по самый день прекращения на фабрике работ». Поняли? Тут я ничего в пользу вашу сделать не могу». Знаменито! «Так что ж нам теперь делать, куда итти искать суда и защиты?» — «Мой совет — сходите к хозяину, может он и скалится над вами». Опять повалили к хозяину, а за ними и оба городовые замаршировали. Пришли: вопят, христом богом хозяина молят, чтобы хоть за месяц отдал. Куда — и слушать не хочет: «Я вам раз сказал, что от «Правил» не отступлю, — и беспокоить меня больше не следует. Расходитесь по домам». Ну, тут не вытерпели рабочие, горе, видно, ухватило их за самое сердце. «Ты, — поднялся крик, — не человек, а кровопийца, аспид настоящий. Не фабрикантом бы тебе быть, а разбойником придорожным... Обошел нас, безграмотных, своими «правилами».

Душегуб, грабитель!...» Городовые как услышали, что Алешу так чествуют, сейчас же к нему с почтением. «Что, — спрашивают, — прикажете нам с этими буянами делать? Сейчас всех арестовать?» А тот им в ответ: «Я, — говорит, — уж распорядился и дал знать властям, а вы пока задержите бунтовщиков, чтоб они не разбежались». Ту ж минуту два кавалера рабочую силу заарестовали. А бунтовщики знай себе чествуют да канифолят Прелестника!.. Не прошло получаса времени, как на фабрику въехали исправник, прокурор, квартальный и пожарная команда с тремя солдатами, — труба была худая, ради только устрашения привезли. «Покажите, — говорят, — нам зачинщиков и предводителей бунта!» А какие тут зачинщики — сами рассудите? Городовые указали на тех, кто поречистей, их и записали. Составили акт. Человек двадцать забрали в острог, а всем прочим велели ту ж секунду очистить фабрику.

— Неужели все это правда? — задал вопрос сибиряк, повидимому, озадаченный рассказом молодого человека.

— Истинная правда-с — отвечал казанец. — Я о ту пору был, по делам коммерции в этом самом городе, и на моих глазах увертюра эта самая разыгралась... Так вот, Александр Васильич, я теперь и довел материю до конца и в самую т. е. точку натрафил: ученый человек Алеша, каким только наукам он ни обучался и от университета аттестат имеет, а коммерция в три года всю науку из него вышибла, духу даже от нее никакого не осталось! А вы еще такую рекомендацию мне даете: учись! Где уж нам!

— А что случилось с рабочими?

— А которые остались на свободе, неделю ходили по городу и собирали себе на дорогу; а тех, что в острог забрали, через полгода судили: пятерых за вомущение приговорили в Сибирь. Может теперь они за нами на той вон барже следуют!

— Безобразный факт!

— Зато после усмирения бунта Алеша у фабрикантов в большом почете и уважении находится, настоящим героем или каким идиолом стал. «Вот, — говорят старики, — пужали нас все наукам, а Петра Семеныча сынок, Алексей-то, каким коммерсантом вышел? Дай бог всякому! Не то, что сыновьям нашим — молокососам, а нам, старикам, надо к Алеше под начал итти. Нет, видно, что там ни говори, а коли в человеке есть врожденное, так ты уж никакой наукой

в нем не уничтожишь природного таланта». Даже по Москве слава про Алешу гремит, завидуют все его подвигам... Позвольте закурить?

Наступило молчание. Присутствующие, казалось, чувствовали какую-то неловкость и потому не вдруг нашлись что-либо сказать.

— Однако, порядки у вас в Рассее! — первый заговорил и нарушил молчание сибиряк. — Нашу сторону хотя и зовут Сибирью, а о таких делах у нас не слышать. Неправда везде есть и в Сибири утеснительства разные от чиновников встретишь, — но чтобы таким-то манером, как у вас... избави боже! житья бы тогда на белом свете не было!

— А вы по делам коммерции в Россию приезжали? — осведомился казанец.

— Нет, так... не видавши сорок лет родины, захотелось побывать, поглядеть, как живут на старине, какие новые порядки в Рассее.

— Ну как же вы нашли родину после сорокалетней разлуки? — спросил горный студент.

— Да как вам сказать? Вот ежели бы у нас какой человек в мошенстве попался или к другим художествам пристрастие имел, так подобных негодяев ссылать бы надо к вам в Рассею.

— Что вы?!..

— Так точно-с. Уроженец я сам владимирский, из-под Гороховца, с младых лет в Сибирь уехал счастья искать. Приехал я теперича на свою родину, поглядел... Даже тоска меня взяла! Как было сорок лет назад, так и теперь все по-прежнему осталось, — хуже не в пример даже противу прежнего. Земля — глина да песок, поля — глядеть жалость, лугов у мужичков недостаток, лесу совсем нет. А домашняя скотина? На живодерню у нас лучше водят... Съездил в лавру помолиться угоднику Сергию, оттуда в Москву и потом в Питер. Где ни ехал, где ни смотрел по дороге на крестьянское обзаведение да хозяйство — везде одно и то же: нищета да убожество!.. Поехал в Киев. Гляжу опять по сторонам дороги — земля попадает хорошая, а крестьянин живет в такой же бедности, что и в других местах. Где заметишь обширные запашки и хорошие всходы, скирды хлеба и скот настоящий, — ан это, говорят, помещика, либо купца владение... Разве это жизнь? Не знал как только вырваться да поскорее опять в Сибирь; ежели бы не жена

с сынишкою, трех ден бы не выжил... Не житье, а мука у вас тут в Рассее!

Сибиряк не вытерпел, загнув крепкое словцо, и с досады плюнул.

— А у нас, в Сибири-то, — я живу в Томской губернии, — крестьянин сам себе господин. Земли у иного до пятидесяти и более десятин — да земли-то какой? Один чернозем! Запашка большая, и хлеб родится в изобилии, кругом лес и луга, везде реки да озера. На гумнах по нескольку тысяч пудов хлеба в кладях лежит, сусеки в амбарах просто ломятся; стога, точно богатыри какие, на задах стоят! Скотины держат голов по сту, — скот все крупный да здоровый; поглядеть на него — сердце радуется! А избы — пятистенные, двухэтажные да на подклетьях. Дом у крестьянина — полная чаша... Это вот жизнь! Не то что в Рассее... Да от нас, говорю, за провинности бы только в Рассею ссы- лать!..

И долго на эту тему говорил сибиряк, возбуждая всеобщее любопытство и внимание публики.

А пароход безостановочно подвигался вперед. Чем ближе мы подходили к Богородскому, тем разнообразнее и красивее становился правый берег Волги. Гипсовые породы сменялись известковыми и глинистыми; обрывы и скалы, висевшие над самой водою, выступали резче и живописней; ущелья, лога и долины перерезывали цепь холмистых гор, сверкавших в расщелинах резвыми и светлыми потоками, вблизи которых паслись большие стада. Свесив в воду босые ноги, на прибрежных камнях сидели в ситцевых рубашках, с растрепанными русыми волосенками, сельские ребятишки, далеко закинув свои удочки...

Продолжительный свисток. Мы в виду с. Богородского. На свисток от пристани отчалила лодка и под сильными ударами весел несется к пароходу. На палубе движение: несколько пассажиров собираются сойти. Знакомая краснощекая молодница обнималась с Маврой Никитишной. Лодка все приближается, вот уже она в пяти-шести саженях; пароход замедляет ход.

— К корме, к корме ближе вороти! — раздается с носовой части. Гребцы бросили весла, лодка скользнула под борт и пропала. Пароход на минуту остановился (арестантские пароходы пристают только у городов или у тех пристаней, на которых забирают дрова). С арестантской баржи широко разносилась унылая, но могучая песня:

Ты зачем, зачем, мальчишка,  
С своей родины бежал?  
Никого ты не спросился,  
Кроме сердца своего...

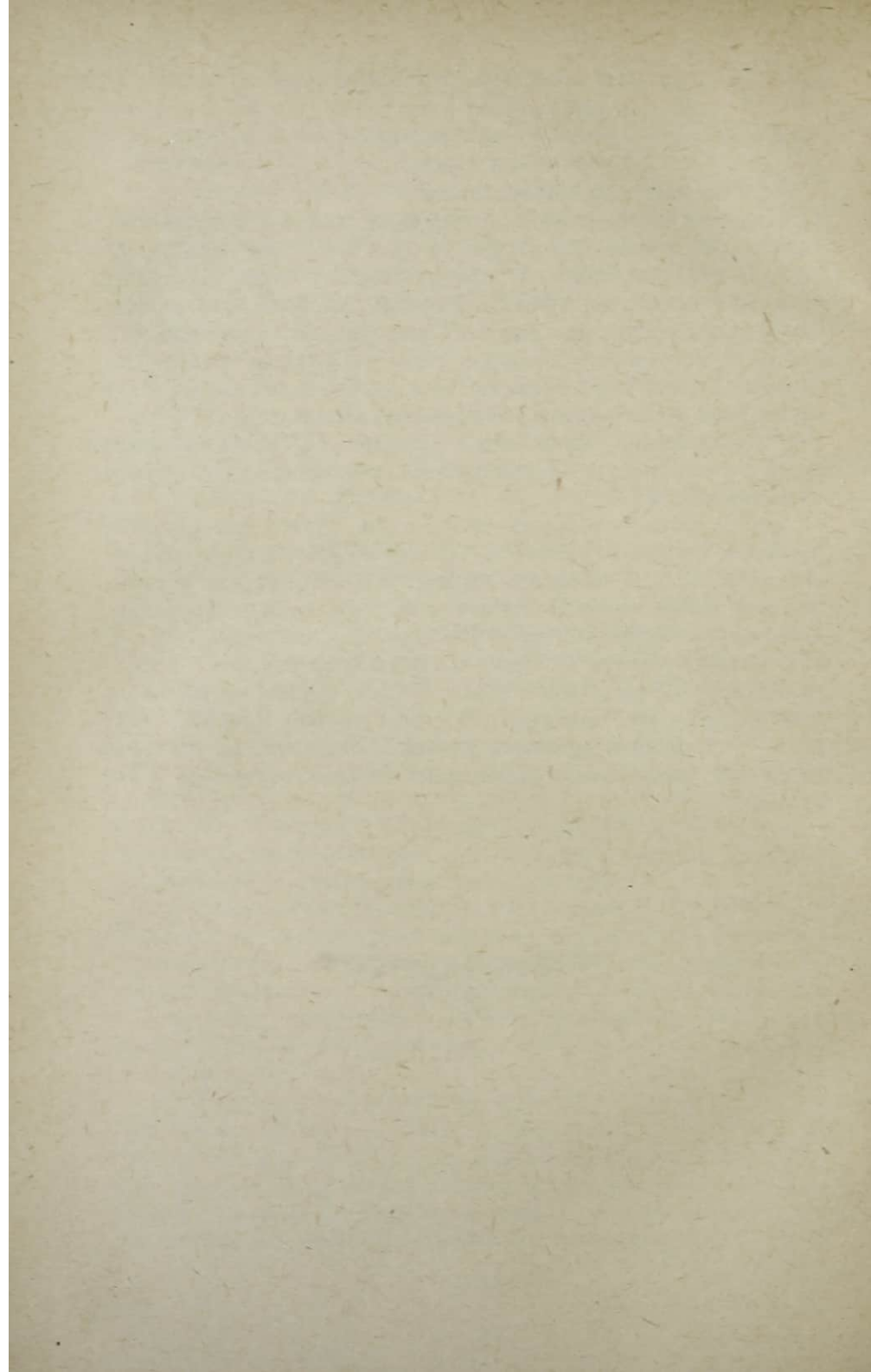
— Готово! — раздалось снизу.

Капитан скомандовал: «вперед», и лодка с высадившимися пассажирами, вынырнув из-за кормы, очутилась уже далеко, стараясь уйти от захватывавших волн, вставших косматою гривною и побежавших от парохода. Но можно было рассмотреть, как две женские фигуры, поднявшись в лодке во весь рост, разводили горестно руками и склоняли головы. Нужно ли говорить, что то были последние благословения и напутствия каторжнику Барсукову?

— Александр Васильич! — тащил за руку горного студента казанец: — Посмотрите, что впереди?.. Чудо! Знаменито!

Целое море открылось перед нами. В его спокойной и глубокой синеве отразились и голубое небо, и перламутровые облака, и лучезарное солнце. То родных две сестры, Волга и Кама, сошлись вместе и широко, привольно разлились по луговой стороне. Наш пароход, достигнув устья, начал поворачивать на север и постепенно уходит от Волги, которая об руку и в союзе с Камою торжественно несла свои воды на юг, приветливый и весь сияющий юг!.. А впереди — суровый и мрачный восток... За нами, не отставая ни на шаг, как грозное привидение, гнался страшный «Тобольск».





# ЛУКАВЫЙ ПОПУТАЛ







ОМНУ ИВАНОВНУ вся Никулиха почитала и гордилась ею как наилучшим достоянием, каким иногда небо благословит глухую, затерявшуюся в лесах, заволжскую деревеньку. Случится ли, примерно, что в Притькине, соседней деревне с Никулихою, какая-нибудь старушка кленовской попадье разгадает премудрый сон, и притькинцы начнут об этом необычайном событии рассказывать каждому встречному и поперечному, — никулинские бабы прослышат и всюю деревнею подымутся на защиту своей благодетельницы.

— Нашли чем выхваляться! Наша тетка Домна «обмирающую» подняла. Совсем уж на погост хотели нести, а Домна чем-то повспрыскала ей в лицо и обмершая ожила, здоровую опять встала. Это помудреней будет, чем попадыхин сон разгадать!.. А мы про свою Домну не благовестим, в колокола не трезвоним.

Или пойдет слух, что в Заболотье «вытьянка» проявилась: так на свадьбах за невест хорошо воет, что еще такой отроду не слыхивали.

— Экая невидаль! — подхватят никулихинские. — У нас Домна по некрутам и по «родителям» все причеты знает, а про невестины и говорить нечего. На родинах, на крестинах, при переходе в новый дом, — где какой обряд полагается, — все она знает и, что надо, укажет.

Трудно, прямо-таки сказать, невозможно было соседним деревням чем-либо выставиться перед Никулихою: всем и всему противопоставлялось имя Домны Ивановны, не допускавшее никакого соперничества или превосходства. Чего, казалось бы, победоноснее молвы, охватившей целый уезд и проникшей в селения других уездов, что деревне Опалихе бог неожиданно благодать ниспослал: бок о бок с нею бумагопрядильную фабрику и механическую ткацкую купец заложил! Никулиха, однако, и тут не смутилась, не упала духом.

— А у нас тетка Домна!..

Тетку Домну знают на сотни верст, имя ее известно и в губернском городе среди купечества и даже дворянства. Большим уважением она пользуется у первостатейных купчих, постоянно довольных своим здоровьем и свежим румянцем лица, но часто скорбных духом по случаю немощи своих супругов. Для освобождения от этой немощи, с точки зрения представителей современного медицинского искусства, требуется подкожное всprыскивание стрихнином или браун-секаровскою жидкостью, а по мнению супруг больных — простого настоя, приготовляемого никулихинскою Домною: стоит только «расслабленного» на шесть недель запереть в комнату и поить этим настоем — потом весь недуг выгонит! Жалко, не каждый может вытерпеть: или замок у двери выломает, или через окно, а непременно вина достанет и напьется...

Действительно, Домна Ивановна с ранней весны и до глубокой осени ходит по лугам, болотам и лесам, роет коренья, собирает разные травы и цветы, сушит их и приготовляет настой. По мнению опытных людей, средство это — универсальное, потому что оно состоит из семидесяти семи трав, и употребление его в больших и малых дозах — это безразлично — от всяких человеческих недугов полезно, по крайней мере из пациентов деревенской лекарки никто с ума еще не сходил и от заражения крови не помирал. Но Домна Ивановна свою медицинскую практику не ограничивает одними «настоями». Есть недуги, в которых обыкновенные средства оказываются бессильны. Это — болезни от злого духа... Больной ни на что не жалуется, ничего и нигде у него не болит, но он чувствует страшную тоску и худеет заметно; на глазах у всех как воск тает. Какими средствами Домна Ивановна вылечивает подобного рода недуги, — никто, разумеется, не знал, и сама она при всем желании затруднилась бы объяснить, чем именно помогла больному или больной. Но если бы кто заподозрил лекарку в волшебстве, то Никулиха, от старого до малого, перед святыми иконами присягнула бы, что это сущая клевета. Чтобы тетка Домна да ведалась с колдунами — боже упаси! Она женщина набожная, жизни строгой и хотя неграмотная, но от священного писания много знает.

Кроме своих медицинских познаний, Домна Ивановна обладала и другими ценными качествами: она — хранительница народных преданий и блюстительница старинных обычаев и обрядов. Ей сорок пять лет. Среднего роста,

худенькая, с небольшим лицом, одетая постоянно в темный сарафан и повязанная в кромку, по-старушечьи, черным платком, она удивляла нового человека своею живостью и способностью поспевать везде, куда ей нужно, и появляться там, где в ней имелась надобность. С «своими» людьми, деревенскими, любила побеседовать, поговорить и где за чайком порассказать бывальщину и многое другое; перед нею ни у кого не было тайны или сокрытой мысли; но с посторонними, приезжими из города мужчинами, она держала себя очень сдержанно: прежде чем разговориться, она изучит каждую черту вашего лица, улыбку, голос, смех и даже походку, и только тогда будет с вами беседовать, когда результат изучения окажется для вас благоприятным. Но в тоне ее голоса, в выражении зорких серых глаз по временам вы заметите какую-то недоверчивость или боязнь, а иногда и добродушное лукавство. Близких родных никого нет у Домны Ивановны: она больше двадцати лет овдовела и успела похоронить всех детей. Живет она с приемышем, сиротинкою-мальчиком, в маленькой избушке, которую отыскать постороннему, без деревенских проводников-ребяток, положительно невозможно: домишка завяз где-то в глухом заулке, между соседними дворами и сараями. Зато в «келье» Домны Ивановны уютно, светло и везде чисто, приятно пахнет цветами и целебными травами.

По приезде своем в Никулиху я почел за долг познакомиться с теткою Домною. На первых порах она ко мне относилась крайне недоверчиво и подозрительно, как вообще крестьяне относятся к приезжим «господам», особенно из столицы. Каким образом добился я от Домны Ивановны некоторого доверия и даже, скажу без хвастовства, расположения, — рассказывать об этом долго, и притом едва ли для кого это будет интересно.

Времени прошло с месяц. На второй неделе великого поста, в субботу перед вечером, сидел я в своей деревенской квартирке за самоваром и перелистывал тетрадь, в которую записывал свои наблюдения над деревенской жизнью. Я вспомнил об одном крестьянине, с которым ездил из Никулихи в волостное правление, и задумался... С первого раза, когда я с ним поехал, он показался мне годов за сорок, светлорусый, с лицом нето мрачным, нето сосредоточенным; дорогою сам он ни о чем со мною не разговаривал, а на мои вопросы отвечал односложно и с видимою неохотою. Из «волости» я хотел его отпустить, вынул уже кошелек,

чтобы с ним расплатиться; но он сказал, что подождет меня до вечера и свезет обратно в деревню. Выслушав несколько любопытных в бытовом отношении дел, которые разбирались на суде, и узнав, что остальные мало интересны, я в три часа дня оставил волостное правление. Выйдя из судейской комнаты в общую, я увидел господина в суконной шубе и фуражке с кокардою. Мне показалось, что это был нето лесничий, нето окружной надзиратель. С ним говорил мой возница.

— Давно уж вам сказано, что никакой прирезки не будет, и в лес скотину нельзя гонять, — услышал я голос господина в фуражке с кокардою. — Кажется, пора бы вам в этом убедиться и не беспокоить начальства глупыми просьбами.

На возвратном пути крестьянин меня удивил. Сделав полуоборот в мою сторону, он тихо проговорил:

— Просим о лугах и насчет скотины.

— Что же?

— Вы слышали. Отказал.

Подъезжая уже к самой Никулихе, ямщик снова сделал полуоборот и сказал:

— Все же это слово его — слово человеческое, а не божеское.

Меня поразил его голос: в нем так много слышалось сознания долга, покорности промыслу и вместе надежды!..

На маслянице я опять поехал в «волость», и если бы ямщик со мною не заговорил, я так бы его и не узнал. Проехав молча версты три, он неторопливо обернулся и спросил:

— Сегодня, чай, волостного суда не будет?

Я узнал голос и всмотрелся в лицо. Что за странная перемена?! В тот раз он показался мне пожилым, а теперь я вижу совсем молодого... Лицо красивое, симпатичное, и глаза очень хорошие — голубые, чистые!

— Сколько тебе годов?

— В апреле месяце тридцать исполнится.

Так и есть! Не больше, даже меньше ему можно дать: совсем молодым глядит.

Спустя четверть часа, ямщик снова повернулся.

— Вчера господь мне сынка даровал, — сказал он, радостно улыбнулся и весь как-то просиял.

Он больше слова не промолвил и молчал всю дорогу, погруженный в самого себя. Я не видал уже лица возницы,

но мне почему-то казалось, что радостная улыбка и умиление все время не сходили с него.

Вот об этом-то именно крестьянине я и думал, когда дверь скрипнула, и женская фигура, вся в темном, шагнула через порог:

— Ждал ли к себе гостью-то?

— Просим милости, Домна Ивановна!

— Угодила прямо к чаю. Знала, что ты за ним сидишь.

— Раздевайтесь и присаживайтесь к столу.

Через минуту Домна Ивановна чинно сидела за самоваром.

— Эка! Сам чай пьет и дуду сосет, — с оттенком неудовольствия заметила гостья. — Брось, не дыми! Что за годя душу-то чадить!

Я подал ей налитую чашку, придвинул мед и варенье. Чай оказывал на нее благотворное действие: она делалась словоохотлива, постепенно раскрывалась и рассказывала с увлечением. Так случилось и теперь. Я упомянул о заинтересовавшем меня крестьянине. Она уставила на меня пытливый взгляд, секунду-две подумала и кинула слово:

— Хочешь ли, я тебе про него бывальщину расскажу?

Конечно, я хотел.

Но прошло добрых полчаса; Домна Ивановна продолжала кушать чай и говорила совершенно о постороннем, как будто у нас и помину о мужике не бывало, или она совсем о нем позабыла. Впрочем, за нею водилось: пообещает что-нибудь рассказать, начнет, затронет любопытство собеседника, а потом, точно спохватится или чего испугается, в такую лесную чащу заведет, что оттуда и не выберешься. Однако я не вытерпел и напомнил ей про обещание. В ответ она принялась мне про старину рассказывать.

— А мужичок-то наш, видно, сегодня не покажется. Домна Ивановна?

— Какой мужичок? Да, Авдей-то наш!.. — вспомнила. — А, ведь, ты, ровно, причеты сегодня хотел записывать?

— «Причетов» я не хотел сегодня записывать.

— Вишь, память-то у меня какая стала, все позабываю!

Отставив в сторону выпитую чашку, она вытерлась платком и начала свою «бывальщину».

«Так ты знаешь Авдея?.. Возил, говоришь, тебя в Кленово? Любопытствуешь узнать, отчего у него лицо этакое особенное, и на разговоры он скупенек? Пожалуй, я расскажу, не потаю; все правду тебе про мужика поведаю... Только смотри, чтобы после чего мне не досталось! Может, ты не спроста меня, глупую, пытаешь... Чему ухмыляешься? Верно сказываю. Человек ты заезжий, мы тебя не знаем, а ноне и со своим-то братом или сестрою говори да оглядывайся: неш, все нам чего-то боязно, страх какой-то на людей нападает, и по всему-то, ведашь, миру ровно бы жуть какая ходит... Ну, да я от своего слова не отступлю, про Авдеюшку тебе расскажу... Ежели в тебе совесть настоящая, так вреда через это никакого не выдет; а коли ты одну личину носишь и не побоишься грех на душу принять, так за невинно пролитые слезы сироты господь тебя ка-ак накажет!.. Не говори!.. Знаю, что хочешь сказать. Лучше ты мне и не перечь, сиди смиренхонько и слушай.

«Совестливый, тверезвый и богобоязненный мужик Авдей Трофимыч, а лукавый-то и его раз попутал. Да еще как обольстил-то, окаянный!.. Может, послушавши-то про Авдея, бог и тебе пошлет страх: не станешь над бесами издеваться, сам будешь их побаиваться... Женился Авдей, по-нашему, деревенскому, не больно рано, годов двадцати шести. Сперва отслужил богу и великому государю четыре года, а воротился из солдат, с год еще в холостых погулял. Нимало на службе парень не попортился: каким ушел, таким и назад опять воротился. Знашь, другие ребята, побывавши в солдатах, от крестьянского дела отваливаются, легкой добычи себе промышляют; ну, а сынок покойного Трофима ни к чему этакому не приобьк. Благослови бог, первым делом, со службы пришедши, за соху-матушку ухватился и круг дому почал стараться. Вина, почитай, совсем не пил: в годовой праздник али по какому случаю стаканчик выпьет, уж больше ты не проси его, не беспокой себя понапрасну — ни за что другого не примет! Семья ихняя немалая была: мать-старушка, сам он да брат с женой, а у тех четверо деточек маленьких — старшие-то не жили, помирали!.. Вестимо, родительнице желалось Авдеюшку поскорее женить, да парню и самому охота, потому года его были совершенные, к тому ж в дом работница требовалась. Стал Авдей приглядывать себе невесту. Из своих, одноподеревенских, по мысли ни одна не пришла, а уметил девушку в другом селенье. Весною он в Опалиху похаживал, где

девка-то эта жила: как праздник али воскресный день, наш Авдеюшка туда уж и катит! В игры там разные играет, хороводы водит и с любой девушкой разговорами приятными занимается. Хоть и молода была Аннушка, всего ей семнадцатый годок от Семиона богоприимца и Анны пророцицы пошел, однако ж не обегла солдата, привечала его по-любезному: видно, по нраву да по сердцу ей пришелся. И не диво: парень хороший, с лица чистый, волосом русый. на голове кудерюшки вьются, молодости больше человеку придают; а бороду свою брил, только усики не трогал, собою видный да проворный молодец, — знамо, в солдатах-то сделают ловким! Вот, промеж себя перемолвились они словом тайным, поведали друг другу заботу сердечную и сговорились дожидаться осени, потому летом не до свадеб: народ везде страдает.

«Беда у нас из-за земли, ваше благородие. И в стары-то годы без назьму она не родила, требовала за собою ухода да радения; рожь-матушка приходила сам-третьей, а случалось, когда уродится сам-четверт, — народ в радости великой царя небесного не знает уж как и возблагодарить. Ну, а как шриволы-то от крестьян отошли, кругом все не наше да чужое стало, гонять в лес скотину от казны и удела запрет вышел, нас, ведашь, под самый корень и подрезало: не в моготу пришло держать скотину попрежнему, сколько для назьму и хозяйства ее понадобилось. Земля год от года начала все тощать, тощать и родить меньше, хлеба свою уж до зимнего Николы нехватало, а подконец и совсем кормилица наша обессилела. В последние два лета на семена не собрали; а вон рядом с нами, в другом уезде, народ совсем уж голодает. Знамо, скота не стало, — и назьму нет. Пры-ытко мужики тужат да каются: лугов, лесу и приволу давали много, сами не хотели взять. Чего-то, неш, в те поры забоялись... Теперь в трех волостях крестьяне из недоимки не выходят. Сколь шибко ее ни выколачивают, — мужиков и на высидку-то тащат, и в волостном стегают, лошадку с коровкою и овечку со двора екупщики волокут, — а недоимка не уменьшается, знай, все растет да больше накопляется. Ежели бы не господь, так не знаю, как люди и на свете бы жили, а он, владыка наш всемилостивый, не спокидает вдосталь-то нас, грешных: хоть не больно сыты, но с голоду пока никто еще в Никулихе не помирал, потому зимой мужики в извоз да на лесные заработки уходят, а годов с пяток назад поблизости фабрика открылась. Все,

значит, какое ни-на-есть, пропитание себе мужичок христов имеет!..

«Страдует наш Авдеюшка. Утром раньше его в деревне никто не подымется, вечером с поля последним он же придет, рук не покладает, все убивается. Такой-то ли злой в работе парень, — наредкость другого сыскать! Воскресному дню мужики обрадуются, за неделю отсыплются да отдышают, а он где-нибудь у амбарушки, в прохладе, книжечку почитывает, — вишь, на службе царской он грамотой хорошо занялся, — нето на гумна пойдет, с парнями да с девками в горелки поиграет. Ину пору не стерпит, в Опалиху махнет.. Ведашь, с Аннушкой ему захочется повидеться. Знать, крепко любовь ему на сердце запала! Да уж и девушка больно красива да скромна, и характера веселого, с огоньком!

«Но, видно, что на роду людям не писано, тому и повек не бывать. Отстрадавали добрые люди, к рождеству богородицы хлеба новенького смололи и за свадебки принялись. Трофимовы тоже сватов к деушке заслали, а родитель ее такой им ответ:

— «Нет моего желанья дочь отдать. Видите, сколь много у меня в избе крестьянской силы, — показал на орву ребятишек, один другого меньше. — Десять ртов за стол сядут, а работник я один да Анна на помосу. Теперь я и удумал на фабрику ее поставить. Пускай она годка три в семью поработает, — в страдную пору домой уволится, контора ослобонит, — а после, когда новые помощники подрастут, я неболить ее не стану: желает — выходи замуж, а нет охоты — живи на фабрике и работай круглый год на себя».

«Инда побелел парень, весть эту нерадошную от сватов услышавши. Крепко задумался Авдей Трофимыч... Мать-то со снесой другую, было, невесту ему припасли, но он и слов ихних не послушал.

— «Не надо, коли так, не женюсь я», — сказал.

«Улучил времечко, побежал наш парень в Опалиху и тайком с Аннушкой повиделся. Начал он уговаривать, чтобы не поступала на фабрику, что хорошей девушке, слышь, не место там; к отцу ее пойти хотел. «Упрошу его, умолю; пожалеет он свою дочь».. Девушка с печалью выслушала слова его и сказала:

— «Не послушает тебя, ежели уж решил... Не думала, не гадала, что родитель-батюшка на фабрику определит. А



теперь сама вижу, не избыть мне судьбы своей злосчастной: пожалей он меня, оставь дома или выдай замуж, — одному не управиться, только последние жилы из себя вытянет, а ребятишкам не миновать по деревне окошки окочивать».

— «Так как же?» — спросил парень.

Помолчала девушка.

— «Долго тебе ждать... ато я от тебя никуда бы не ушла: после бы твоею была».

— «В три года много воды утечет»... — сказал Авдей.

— «Разве ты на себя не полагаешься?» — перебила девка. — «А я ни за кого бы другого не пошла. Говорю тебе правду-истину».

— «Эх Анна!» — в ответ ей парень. — «Сама не знаешь, что говоришь. Если мы близко не могли беды своей провидеть, то как же узнаем, что с нами в три года случится?»

«Посмотрела на парня девушка, вздохнула тяжело, да как зальется горячими слезами! А на расставанье ему говорила:

— «Видно, господь не судил нам счастьяца с тобою, Авдюша. Знаю, вам работница нужна в дом, ты не станешь меня дожидаться... женишься... Во святой час! Пошли господь тебе союз хороший да согласный... Не попомни только, желанный, никакого зла на мне, деушке, не поставь в вину, что я тебя поваживала, речьми прелестными обнадеживала... Сам видишь, нисколько я в том не причинна, судьба-разлушница нас разводит». — сказала это и крепко-на-крепко сама парня поцеловала.

«Горестно, но по-хорошему они распрощались. До Михайлова дря Авдей с братом около дома проубирались: сарай дранью перекрыли, хлева для скотинки ухитили и разное справили, что по домашнему обзаведению требовалось. Без устали парень работал, только, примечали, сам туманный ходил; а как снег лег на землю, установилась санная дорога, — в извоз с товарищами пустился: подрядились из Нижнего хлеб в Никольск доставлять. Младший на лошади уехал, а старший, Никита, на заработки в лес ушел. Долго парень в отлучке находился. Которые из товарищей на Николу или рождество в деревне побывали, а он целую зиму глаз к дворам не показывал, вплоть до самой ростепели извозничал, доколь уж зимние пути не порушились. Матка со снохою без него все убивались да насчет невесты промыш-

ляли: больно уж им охота была женить парня! Дня за два перед благовещением старший, Никита, из леса подошел, а накануне и Авдей вернулся, лошадку другую с собой привел: купил на заработанные деньги. Брательник из окошка его увидел, опрометью из избы кинулся встречать приезжего; на покупку его глядит, и сам не нарадуется. В избу с приезжим вошли. Помолился Авдей на образа, с домашними поздоровался. Дюже ему все обрадовались, расспросами да словами так парня и засыпали. А у Никиты черная борода, брови и усы улыбаются.

— «Будем живы и здоровы, — весело говорит старший, — на тое зиму и я, братик, с товарищем на промысел поеду, а одному, без лошадки-то, лучше хоть и не работать: без мала весь свой достаток на одном хлебе проел. А сколько одежи в лесу изорвал, одних рукавиц двои сменил!»

— «А у меня еще десятка осталась!» — похвастал младший и достал из кошелька две синеньких.

— «Неужто, роженный? — матка-то обрадовалась. — Должно, заботник наш преподобный Макарий сподрушником твоим был: помог тебе на свадебку деньжонок зашить».

«Ни слова не промолвил парень».

— «Присаживайся за стол-от деверьюшко. Я тебя покормлю, — хлопчет сноха. — Чай, с дороги-то проголодался. Садись, родимый!»

«Смуглявенькая у Никиты жена была, до всего досужая да такая легкая, по избе носится и везде поспекает, даром что не больно молодая. Авдей помолился и на лавку сел... Около него ребятишки увиваются — детки-то братины».

— «Вот тебе щипы с соком, грибков я в них пустила, — суетится и потчует сношка. — Может, с дороги-то винца стаканчик желаешь?»

— «Спасибо. Вина не стану пить».

«Ест Авдей, от блюда лица не привзнимет и молчит. Степа — Степанидой звали сноху-то — знай из печи, что у нее настряпано, вынимает да перемену за переменной перед деверем ставит, а сама все потчует:

— «Кушай, родимый! Мало больно ты ешь. Не еще ли похлебки подбавить?»

«Ребяченьшки это увиваются, заглядывают в лицо приезжему, ластятся к нему да нешибко лопочут:

— «Дядюшка, приехал ты... мы тебя как жда-али!»

«Ни слова парень, ест и не взглянет на племяшей. А те не унимаются, знай к нему:

«Тятьку с мамкой бесперечь спрашивали: скоро ли дядюшка воротится? Ан ты вот и приехал. Ну-ка, взглянь, мы на тебя хорошенько поглядим».

«Приподнял дядя лицо, взглянул — и морщины у него на лбу разгладились.

— «Смеется! — закричали мальши. — Право, смеется.. Ну-ка, дядюшка, еще!.. Ай! опять засмеялся».

«Разогнали мальши своими детскими голосами и смехом тучку, что темнила лицо дяди: повеселел он, быдто, немного и разговорился. Велел Степе мешок развязать, достать из него гостинцы, какие из горда с собою прихватил, и принялся ими оделять ребяенок. Сколько тут веселья у малышей было!

«Дождались мы дня светлого христова воскресенья. Мужики съездили в село, отстояли в храме божием заутреню с обеднею; в тихой радости похристосовались и разговелись... О пасхе у нас, в Никулихе, больно хорошо да привольно, сударик. Народ с утра на улицу высыплет, все обрядные, лица свежие, парни с девками на качелях катаются, яйца крашенные на току катают и в лапту играют, а то гурьбсю пойдут на берег, усядутся там и любятся, как наша реченька, Нея, широко по лугам разлившись, на солнышке играет, да вместе с людьми великому празднику радуется. Лодочки по реке ныряют, плоты бегут, а с плотов сгонщики, в красных рубахах, кланяются берегу, где молодой народ сгрудился и громко распеваает: «Христос воскрес».

Авдей наравне с другими гуляет, но в игры не встревается: в сторонке приостановится и оттуда на забавы товарищей посматривает. И вдруг, родимый мой, парень затуманится, на лицо точно облачко темное набежит, и отойдет потихоньку от чужого веселья.

«Так, должно, на третий день пасхи это было, молодец в избе у окошек сидел и книжку почитывал. Семейные тоже в сборе были, по разным углам рассевшись; ребяенки на полу возились. С улицы голоса, смех слышались. Авдей оторвался от книжки, поглядел: видит, пары обнявшись идут, лица радошные, разговоры ведут промеж себя веселые...

— «Никак женихи с невестами? — промолвила сноха.

заглянув в окошко. — Так и есть: наши две пары и притыкинская одна гуляют».

«Авдей промолчал, только легонько этак вздохнул. Мать с снохою переглянулись.

— «О чем вздохнул, дитятко?» — спросила матка.

— «Так... Сам не знаю»...

Мало повременя, старуха-то, ведашь, к сыну с таким уж словом:

— «Вот, ежели бы и ты, Авдеюшка, надумал... жениться-то! То-то бы для праздника пресветлого обрадовал мать и все семейство!..»

«Старший, Никита, в руку кашлянул, бровями двинул и промолвил:

— «Больно бы хорошо, кабы братик надумал... Весна на улице... Опосля святой надо за пахоту приниматься... А там, не увидишь, другие работы подоспеют, двоим с одной бабою трудненько нам будет: на четыре души земли... Где уж управиться!»

«Малыши притихли, насторожились и слушают, о чем большие толкуют, а глазенками в сторону дяди стреляют.

— «А я-то как бы сношеньке рада была! — заговорила Степа. — И в поле жать мы вдвоем бы вышли, и на улицу, и в добрые люди не одна бы я пошла, и в долгие зимние ноченьки с матушкой-свекровью втроем бы пряли. В жизнь свою не только обиды увидеть, слова супротивного от меня никогда сношенька не услышала бы!»

«Авдей в окошко смотрит, а домашние ждут от него слова желанного, глаз с него не спускают.

— «Что уж вы больно усердствуете? — вымолвил. — Аль невесту про меня где нашли?»

«Степа ему весело да скоренько ответ дает:

— «Трех мы для тебя промыслили: любую выбирай, какая по нраву придет».

— «Деушки все хорошие, работающие да здоровые. — уцепилась за слова снохи Арина. — Одежки у каждой довольно припасено; башмаков, ботинок по две, да по три пары. Мужу долго не придется на молодую денег тратить».

«Видишь, сударик, хоть и бедно у нас живут, все ж молодой народ порядиться любит. А по улице опять с веселым смехом да разговорами идут, на окошки избы Трофимовых поглядывают.

— «Так желательно вам молодую сноху в дом привести?» — спросил Авдей.

— «И не говори, роженный! Только дум-заботы у нас за весь год и было, чтобы тебя женатым-то видеть. Соспокой меня, женись, сынок!»

«Родные смотрят, ждут от него слова единого да желанного. Поглядел он на мать-старуху, на брата с снохою и на детвору: такими-то они ему все жалостными показались. Повернулось в нем сердце, не выдержал Авдеюшка.

— «Что же, — сказал, — пожалуй, желанье ваше я исполню... женюсь»...

«Как слово это он вымолвил, так в избу ровно бы солнышко вдруг заглянуло, радостно лица осветило у всех, а ребятенки нивесть с чего запрыгали и шум веселый подняли.

«Недели через две свадебку спраздновали. Взял Авдей за себя деушку в нашей же деревне, Матвея Осипова дочку: в летах деушка, годков двадцати трех, подстать жениху-то. Круглолицая да краснощекая молодичка попала: косить — мужику не уступит, жнет споро, скотину уберет и все по хозяйству, как следует, справляет. Степанида с Ариною, свекровью-то, давно к ней приглядывались, знали, какую работающую девку берут. Дом у братьев хоша был старый, но из толстого красного леса покойник Трофим его строил, — ноне такого дома уж не выстроишь, — снаружи бревна побурели, а внутри стены белые, светятся, ровно новые. В прежние годы у нас на усадьбе по две чистых избы ставили: одна — на улицу, а другая, — через мост, по-вашему сени, окошками в заулок выходила. Молодые в задней стали жить, а все за один стол садились.

«Летом, знамо, полевыми работами занимались, а зиму мужики на промысел уезжали: Авдей попрежнему в извоз пускался, а Никита, с другой лошадкой, в лесу работал. Когда меньшей в солдатах был, Никите трудно приходилось: работник в дому один, а тягло большое надо поднять. Ну-тка, будешь ли справным да без нужды жить? Тоже младшему надо когда и деньжонок отослать, — знаешь, чай, велико ли солдату жалованье идет? А как тот со службы пришел, вдвоем с старшим за крестьянство принялись, полегче стало, особливо когда еще в дом другую работницу привели. Из нужды семья повыбилась, харч другой пшел, самоварчик в дому завелся, и одежонка на ребятишках не худая, ноги из сапожничек на волю не выглядывают, каши не просят... Больно Трофимовы ладно, хорошо да согласно жили; со стороны, на них глядя, добрые

люди любовались. Только Авдей, женившись-то, реже стал в праздничное время на улицу показываться: сидит в избе у окошечка да книжку почитывает. А читал он книжки не пустяшные, не сказки какие-нибудь или побасенки, а божественные: про житие угодников божиих да святых, а после библиею занялся, — от священников себе книги доставал. Сидит целый день у окошечка и читает, все-е читает! Жена это когда позовет его на улицу погулять, посмотреть на хороводы али в гости куда пойти, а он ей только тихо этак да с кротостью молвит: «поди, со сношенькой погуляй, а мне не охота: я лучше почитаю». Про зазнобушку прежнюю и не вспоминет; в Опалихе, с тех пор как с ней востанье пораспрощался, ни разу и не побывал. Известно, закон принял; значит, о старом надо позабыть: грех! И до того он к священному писанию приистрастился, что, рассказывали наши мужики, и в дороге, когда зимою извозничал, присядет на мешках, а сам читает. К церкви опять какое радение мужик возымел: ни одного праздника не пропустит, чтобы не пойти к заутрене и обедне! Пять верст от Никулихи село, а он ниоднова на лошадке не съездил, все пешечком ходил. Дома тоже молится, подолгу перед образами стоит и часто земные поклоня, кладет, да со вздыханием и усердием молится. Ни в какие обчественные дела не вступался, ни разу на сходке не бывывал и от всяких-мирских должностей уклонял себя: боялся, как бы не прегрешить и вражду от людей не навлечь. Бородку запустил, настоящий образ православного христианина принял; но от бороды лицо не постарело, а словно бы еще пригожее сделалось. Никто от Авдея не только нехорошего, а праздного слова никогда не слышивал: ежели к мужикам на беседку когда подойдет, вступит с ними в разговор, то все про одно хорошее да от божества толкует. Два года он с молодой женою прожил, а деток им бог не давал. Бабы наши, видючи столь праведную жизнь мужика, начали поговаривать: не монахом ли, полно, он на миру-то живет? Выискались, кои побойчее, поспрошали у Васены, молодой-то. Засмеялась бабочка, а ничего им на вопрос не ответила, замяла ихнюю речь, даром что с простинкой немного ее считали. Повела разговор про то, какой муж у нее добрый, к жене расположительный да заботливый.

— «Ни словом меня не изобидит, взгляда косога никогда от него не видывала, — рассказывала Васена. — И

матушка свекровь, и сношенница с деверем ко мне радельны; завсе меня ублажают да жалеют... Довольна я всеми, не пожалуюсь! Грех на душу приняла бы, ежели бы напраслину молвила».

— «А про что муж с тобою разговаривает, когда вы вдвоем с ним останетесь?» — любопытствовали бабы.

— «Мало он разговаривает: скажет что по делу, да опять в свою книжку. А коли от божества со мною поговорит, — про это он больно охоч толковать»...

— «Ну, а ночью-то ляжете, так, поди, не про одно это разговариваете. Чай, про что и другое перемолвитесь?» — слышь, жонки-то как своего достукиваются?

— «Да я уж крепким сном сплю, когда Авдей ко мне приляжет: жду, жду его, а он перед святыми иконами стоит и все молится».

— «Что же он так-то?.. Богу усердствовать похваляется, да и жену молодую тоже не следует позабывать. На то вы с ним закон святой принимали».

— «Я не обижаюсь! — заступилась Васена. — Я премного своим мужем довольна. Ну, а ежели Авдей Трофимыч от всего усердия к богу припадет, а меня сон разымет, и я крепко усну, так никакой вины его в том нету, что со мною когда не поговорит».

— «Так... Все же, молодая, по сказам твоим выходит, что муж тебя не позабывает... Скажи теперь, о чем он у бога просит?»

— «Он не вслух молится. Разве, иной раз, шопот слышишь: желает себе праведной жизни, просит, чтобы господь от греха и лукавого его ослобонил».

— «Вишь ты, о чем просит... Святой он у тебя человек, Васенушка!»

«И точно, родимый, на деревне бабы все до одной в той мысли утвердились, что праведной жизни Авдей Трофимыч: спасет он свою душеньку и беспременно в предбудущем царство небесное себе уготовит. Мужики про это мало говорили, те больше о приволах сокрушались да на землю плохую все плакались. Позапамятовала, было, про Аннушку тебе помянуть. Пал к нам слух, быдто деушка немного поскачнулась... Кто на конторщика показывает, а кто называл главного приказчика... Но слушок был коротенький: бабы одна на беседке поговорили да и перестали».

«Третий год живут наши молодые, согласно да хорошо

живут, в семье у них промеж собою лад да любовь. Авдей Трофимыч к божественному прилегает, в церковь ходит и библию читает... Но повозгордился ли он своей праведной жизнью, возмечтал ли о себе много, — не берусь тебе сказать, только шишиги, нечистые-то, ведашь, около мужика начали уж похаживать да удумывать, с какой стороны за него ловчее им взяться, своротить его с пути истинного...

«Близехонько, в одной версте от нашей деревни, фабрикант рощу на сруб купил, и нашим мужикам човый промысел бог послал: на фабрику из рощи дрова перевозить. Многие пожелали эту работу взять, подрядились в зиму сколько надобно сажень вывезти. Авдей Трофимыч к дровяникам пристал: не захотелось, слышь, ему от дома отбиваться, в извоз больше не поехал.

«Зима в том году рано к нам прикатила. С покрова землю покрыло, а об неделе и первопуток установился. Обрадовались мужички! Кто на лесную выработку уехал, кто в извоз пустился, а которые у фабриканта подрядились, — за дровами ударились. Дружно взялись за дело. Фабрика от нас в десяти верстах отстояла. По два раза мужички успевали обернуть: утром где еще встанут, далеко до света, в рощу поедут, наладут воза — и на фабрику; перед обедом вернуться, перехватят чего на скору руку и опять в рощу; а совсем-то ко дворам темно уж приедут. Умаются за день-деньской, больше полусуток в труде да на ногах, а в стужу-то лютую перезябнут все, носы и скулы себе потморозят... Да за этим мужичок христов не гонится, лишь бы только работа была, да на продовольствие себе от трудов хватало. Хоша на фабрике дрова принимают по своей мере, — сажень там в длину три с половиной аршина, а в рост — три с четвертью, — но крестьяне довольны, не обижаются: сами-то себя с лошадьми прокормят, да еще от каждого дня по гривеннику останется; а у кого две лошади, так и двугривенный в день-то зашибет. И от деревни своей не отбивает, — не то, что в дальние губернии уехать или в лесу прозимовать, — у себя, в тепле ночует, а праздник и весь дома проводит. Нечего грешить, довольны были дровяным промыслом... Одно неладно: рядом с фабрикой трактир с питейным обосновались. Все шло по-хорошему, никакого неблагополучия с нашими дровяниками не повстречалось: отвезут и ко дворам справными вернуться...



Разве коли в трактире чайку изопьют, погреются с холоду, а чтобы вина — ни-ни, строго мужики себя наблюдали. Авдей Трофимыч попрежнему в праздник от священного писания занимается, в церковь усердно ходит и дома прилежно богу молится.

«Родительская наступила... Шишиги только и дожидались ее, чтобы тенета свои везде раскинуть на погибель христианских душенок! Родительская неделя — большая неделя, родимый! Три их больших в году: первая — это родительская, что перед митревым днем бывает, вторая — середокрестная, и третья — страшная неделя. Николи беси так не суетятся, не хлопочут, как об этих неделях. Сам-то, набольший ихний, вышугнет из ада нечистую силу с грозным наказом: «Летите, мои слуги верные, по всей русской земле и православных в грех улещайте!» Сказывают, около каждого человека по пятку увивается, а ежели кто да праведной жизни, так того человека мурины кругом обступят, знай вот, словно тучею какую черною его обложат!.. Больно уж им, сударик, нелюбо, окаянным, что родителей-то поминают, добрые люди постятся, каются, в чистоте пребывают и в радости непорочной ко встрече светлого христового воскресения готовятся. Охота им воспрепятствовать спасению душенок мертвых, а живых всех до единого в пеклу к себе залучить! Потому-то они и лютуют, сомущают всяческими соблазнами и отбивают православных от бога... Только и супротив них есть заступа надежная, оборона крепкая: животворящий крест и середная вода. Вот, как ты у нас до середокрестной поживешь, так, можа, сам увидишь, ежели народ тебя не заопасится да не заботится...<sup>1</sup>

«Ну-тка, ваше благородие, рассуди, что я хочу тебе сказать. Отчего это наше вышнее начальство, урядники да становые, старинные обычаи искореняют? Беседки тоже расшугивают. Ярилу веселого не дозволяют встречать и разное другое, а новые-то уж начальники, что с позапрошлого года объявились, те и хороводы водить запрещают, и масленицу честную хотят истребить... Ровно бы, по моему глупому разуму, они напрасно себя в этом беспокоят да убиваются? Ведь, на все есть свое время: молодым только и повеселиться, песенкою хорошею да играми себя поте-

---

<sup>1</sup> Середокрестная неделя — крестопоклонная. Так как она бывает в середине великого поста, то народ и называет ее середокрестною.

шить, пока молоды да жить-то им еще хочется. Ведь, у них кроме этого никакой другой радости нет... Но и молодые в пост али под какой праздник не станут кругов водить да песни петь. Так кому от ихнего веселья помеха?!.. Только обычаем да обрядом Россия держится, одной стариной да верой нерушимо и крепко сна стоит, наша кормилица!..

«Благополучно, однако ж, родительская проходила, мужики исправно дрова доставляли. В пятницу, накануне родительской субботы, контора им деньги за работу обещала выдать. Бабы в этот день мужикам с маслом есть не давали, а сами до вечера постились. Большая пятница: канун поминовения усопших!.. Вдругорядь собирались ехать. Бабы им наказывают, чтобы в трактир не заходили, а прямо, получивши казну, домой поспешали.

— «Помните, какая завтра суббота-то! Соблюдайте себя, ради спасения душенок своих родителей, не поддайтесь лукавому. Всячески удерживайтесь от соблазнов нечестивых; особливо к вину себя не попустите: тогда и поминовение наше втуне пропадет, молитва до престола всевышнего не дойдет».

— «Не тревожьтесь, — обнадеживали мужики. — Мы чай, родительскую-то хорошо помним. Чтобы в такие дни великие да не соблюсти себя! Ровно бы вы не от ума это толкуете, али вас бес самих в ребро поталкивает».

«Слышь? сказали так и уехали. Разделкой их в конторе не задержали, деньги выдали разом, только крупными, на всю артель два билета, и препоручили Авдею Трофимычу.

— «В трактире вам разменяют, — приказчик сказал. — Вот и выписка... Ты грамотный, — разберешь, кому что причитается... Тут все подсчитано и показано, сколько конторой удержано впредь до будущей дачки... С богом!»

«С фабрики мужики завернули в трактир. А там, знашь, дьяволы-то больно по ним сокрушились, долго-то их поджидают!.. Заказали дровяники про себя чаю: вишь, после рассказывали, за размен с них все равно бы взяли. «так, по крайности, не даром уж деньгам пропадать, чайку на них попьем!»

— «А что, православные, — заговорил впервой бес устами Потала Нечесаного: — не грех будет нам с какой друг-дружку поздравить, то-исть по одному стаканичку винца протащить?»

«А товарищи, словно, только слова этого и ожидали:

— «По одному можно» — согласно ответили.

«Принесли чаю; посудку эту с вином поставили. Благодарившись и выпили. Один Авдей стакашка не принял.

— «Вы кушайте на доброе здоровье, — сказал. — Я чайку попью, а от этого меня увольте».

«В трактире, кроме наших, посторонние мужички сидели, из фабричных кое-кто; также за вином и чаем время в удовольствие проводили. Дровяникам служащий закуску подал. Нечесаный — Потап-от это — повел на нее завидушими глазами, да опять с новым словом к товарищам:

— «Что ж, православные, — говорит, — от хозяина здешнего нам такое уважение: видите, какую закуску нам поставили?.. Так я теперича полагаю, что греха нисколько не будет, если мы по другому выкушаем?»

«Семен Чернявый, шабер Авдеев, такой ответ дает:

— «Неделя ноне большая... Как бы не прегрешить?»

— «Экий ты какой! Только по одному».

— «Разве что по одному»...

«Еще выпили. Сперва про грех памятовали, наказ жен в уме держали, а по три стаканчика пропустили, так у них всякую память отшибло. Авдей Трофимыч чаек попивает, товарищи разговор приятный ведут.

— «Не время ли ко дворам?» — напомнил Авдей.

— «Куда нам торопиться? — отвечают. — Посидим еще в тепле, побеседуем в свое удовольствие!»

— «Как угодно».

«Не знаю, в душе своей Авдей Трофимыч осуждал бражников али нет, — но ни единым словом их не покори́л. Сидит да на приятелей своих с улыбочкою посматривает. Слышит, про войну белого царя с Китаем речь завели, а у нас, баб, такая примета есть: коли в беседе да за вином мужики про войну с Китаем заговорят, то, значит, пропьют они до самого белого дня. Авдей Трофимыч примету эту бабью хорошо знал... В трактир деушки вошли, обрядные, в пальтах, крытых сукном, а головы большими шерстяными платками окутаны, только глаза да нос виднеются; все в особую каморку отправились.

Авдею показалось, что словно бы походка одной деушки ему знакома.

— «Со смены, что ли?» — кто-то из фабричных крикнул.

— «Да, ослободились, — отвечают. — Чайку прибежали напитокся».

«Авдею послышалось — и голосок, будто бы, знакомый... Чуешь ли ты, беси-то что затевают? А дровяники новую посудину затребовали.

— «Довольно, братцы, — вступился тут Авдей Трофимыч. — Вспомните, какая ноне неделя и какой завтра день: суббота родительская!»

— «Что ты, Авдей? — вскинулся Нечесаный. — Да неуж взаправду завтра родительская? Православные, помянем упокойничков, выпьем за душеньки своих родителей и всех сродственников!»

— «Коли так, я поеду. Возьмите от меня билеты».

«Мужики на него опрокинулись:

— «Нет, ты этого не моги! Тебе препоручено с нами расчет учинить, ты хозяйское приказание обязан исполнить. Садись, Авдей!»

«Из каморки, где девушки чайничали, дверка приотворилась, чье-то лицо оттуда повывставилось и посмотрело в сторону наших бражников.

— «Да выпей ты с нами, Авдей Трофимыч! Уважь хоть раз своих товарищей, выкушай стаканчик за честь да приятство в компании хорошей».

«Не поддался словам искусительным: видит, что у мужиков губу разъело, и шишиги уж прытко их одолевают. Повременил, полюбовался на товарищей; улучив минуту, потихоньку из-за стола вылез, подошел к буфету и велел содержателю деньги получить, сколько за чай с вином со всей артели причиталось. Билеты разменял — и к товарищам... Не в примету ему, пока у буфета он стоял, что из каморки на него пристально деушка глядела. Присел к столу, деньги начал раздавать. Товарищи глядят.

— «А за угощение уплачено?» — спрашивают.

— «Сполна, — говорит. — На каждого человека по двадцати четыре копейки пришлось».

— «А за себя сколько положил?»

— «И за себя двадцать четыре».

— «Да, ведь, ты вина не пил?»

— «Все равно: в одной компании сидел».

— «Так ты себя за общий счет хоть бы пивком ублаговторил!»

— «Не хочу. Деньги-то вы пересчитайте, не обидел ли кого ненароком».

— «Считали. Верно».

«С одним мужиком не разошелся. Авдей опять пошел

разменять бумажку. А те, знашь, беси-то, родимый, давно уже его стерегли, из виду ни на один шаг не выпускали!

— «Разделявайся! А мы прикончим, что тут осталось, да и ко дворам станем подбираться. Поди бабы заждались; думают, что мы пьянствуем».

«Только Авдей к буфету подходит, ан наперерез ему деушки,—дорогу загородили. Одна позамешкалась и повела глазами на мужика. Авдей как взглянул на нее, так и всколыбнулся».

— «Здравствуйте, Авдей Трофимыч, — сказала деушка. — Что вы так смотрите, или не признаете меня?»

— «Аннушка»... выговорил мужик:

— «Насилу-то узнал!.. А я, как увидела вас, с первого раза признала, хоша мы с вами три года не видались».

«Авдей не вдруг нашелся, что ей сказать».

— «Как же ты... Как вы живете?» — спросил.

— «А вы как поживаете, Авдей Трофимыч?»

— «Живу... Да где же бы нам... поговорить-то?.. Уж очень тут народу много».

— «Наверху особая комната есть, — девка ему отвечает. — Ежели вам угодно, я с подружкой туда пройду, там мы вас подождем... Можем про все поговорить».

«Слышь, под чью дудку она поет?..»

«Скорехонько Авдей с товарищами рассчитался, берет за шапку и торопится уходить из заведения».

— «А полтину за что лишнюю переплатил? — товарищ спрашивает. — На, получи обратно, мне чужого не надо... Да что ты, будто с лица не по себе?».

— «Я ничего!.. Что ты?»

— «Уходишь-то куда? видишь, артель еще не трогается, всяк на своем месте».

— «Мне нужно по делу... Человека одного встретил».

«Поглядели вслед ему мужики».

— «Твердый человек! — промовил шабер Авдея, Семен Чернявый: — Как его ни упрашивали выпить — не стал... А я доподлинно, православные, знаю, что он ноне за целый день и пищи не потреблял».

— «Праведной жизни человек, — сказал Потап. — Загодя себе место в царствии небесном уготовляет. Вина не пьет, табаку не курит, родительскую строго соблюдает, а дома все за божественным время проводит. Верно бабы сказывают: святой у нас Авдей Трофимыч... Достукнется он своего, будет в пресветлом раю... А мы слабы, грешим

и о душе своей нимало не заботимся... Что нас, бражников, в предбудущем-то ожидает?.. Благо на виду у всех благочестивый муж: хоть бы с него пример брали. Куда мы, оканные, поспеем, ежели теперь не опомнимся, за господа бога не спохватимся!»

«Выпивши довольно мужики были, а восчувствовали: слов потаповых несколько поустыдилились и головушки свои понурили. Поди ж ты вот! Точно малолетние, не знали они, что Нечесаному хмель в голову ударил, потому и слова эти покаянные он говорит.

— «Что ж, други, пора собираться! — сказал авдеин шабер. — Дома нас ждут, станут беспокоиться»..

— «Справедливо. Чай, бабы и так ополоумели, ожидаючи нас с деньгами!»

— «А как же мы поедем, без Авдея-то?»

— «Он по своему делу ушел. Може, его долго задержат. А вон часы-то на стене что говорят: стрелки девятый показывают».

— «Ой! много же времени. Надо ко дворам поспешать. Подыдемся, что ли?»

— «Чего ж прокладаться? Вставайте!»

«Шапки надели, но рукавиц не същут».

— «А на дорожку? — подает голос Потап. — Надо по махонькому».

«Прочие, было, позамялись.

— «На дворе шибко морозит, — сомутитель им говорит. — Позапасемся здесь теплом, да и поедем с богом! Вон народу еще к нам подваливает».

— «По махонькому, говоришь?.. Что ж, мы согласны!»

«Семен Чернявый — видно посовестливее других — говорит:

— «А толковали про святость! На Авдея показывали!..»

— «Да разве за ним угоняешься? — Потап лохматую голову к нему повернул. — К слову, ведь, только я про него упомянул... Закуску нам, православные, изготовят отличнейшую. — дома этакой уж не подадут. Бутылочку, что ли, али как... штофик затребуем?»

— «При хорошей закуске... пожалуй, меньше штофа никак не обойдемся!»

«Так-то вот, родимый, мужичками бес играет!

«Тем временем Авдей Трофимыч успел на вышку пробраться. Сперва, вишь, лошадку проведаль, овсеца ей подсыпал и рогожкой сверху принакрыл, чтобы она не озябла.

Значит, в настоящем уме и в своей памяти человек находился, коли о животе вспомнил да позаботился!.. Обрадовался прытко он нечаянной встрече с прежней зазнобушкой, но в мыслях своих ничего дурного не поимел: хотелось ему только посмотреть хорошенько на Аннушку да поспросить, как она живет... Покрывши рогожею лошадку, даже подумал: ладно ли, что он, женатый мужик, с девушкой повидится?

«Аннушка приветливо его встретила.

— «Тулуп-от снимите, Авдей Трофимыч: жарко вам будет».

— «Одет я плохо, — ответил, но стал разболочаться. — Уж не осудите, — добавил и несмело присел, не поднимая глаз на девушек. — Надобно чего-нибудь заказать»...

— «Как угодно, — говорит Аннушка. — Можем, пожалуй, и так посидеть».

— «Нельзя. Здесь не любят этого: на то и заведение. Может, винца легонького или пивца выкушаете?»

— «А сами вы что будете?»

«Позамялся Авдей.

— «Да чего вы себе спросите, того и я за компанию выпью».

— «Мне есть хочется. Я закажу порцию рыбной селянки. Хватит на троих?»

«Я не стану! — перебила подруга. — Дело затянется, а меня ждут».

— «Так как же? — мужик к ней. — Выкушайте за компанию хоть винца красненького или медку»...

— «Уж ежели есть на то ваше желание, так велите мне простого вина подать».

«Анну спросил, чего она желает.

«Та отказалась.

— «Разве вы не потребляете напитков?»

— «Потребляю, — говорит. — Только сейчас не хочу, а когда селянку принесут, тогда чего-нибудь мы с вами спросим».

«Осмелился тут Авдей, посмотрел на деушку. Видит, перемена с нею в три года произошла: с лица похудела, щечки поспали и румянчик с них посошел, но глаза карие попрежнему светятся, и улыбка тоже приятная осталась. Приметил, повадка не та и обращение другое, какие до фабрики знавал. Пока подружка сидела, ничего промежду ними такого не было, а как только та ушла, — две рюмки

выпила и пораспрошлась, — настоящий разговор и начался.

— «Так вот мы через сколько времени свиделись! — заговорила Анна и взглядом своим, точно полымем, разом обожгла мужика. — Бородку отпустил... Ничего, лучше еще стал, красивее... Рассказывай, как живешь, согласный ли союз тебе бог дал. — про все рассказывай».

«Повел речь Авдей про свое житье-бытье. Анна слушает, правую щеку рукой подперши и глаз с него не спускаючи. Служащий кушанье им принес. Авдей налил рюмки.

— «Выпьем для аппетита!» — сказал.

«Принялись за селянку; едят, а сами друг на дружку все смотрят. После кушанья Авдей пива заказал.

— «Слух до меня доходил, что ты хорошо живешь, — говорила Анна. — Очень я этому порадовалась. «Дай бог ему счастья», всегда я желала. Одно только мне больно: про меня совсем позабыл, ни разу не побывал в Опалихе и на фабрику стал ездить, тоже не вспомнил, не выискал случая со мною повидаться... А ты никогда у меня из памяти не выходил, каждый-то день я вспоминала да все про тебя думала».

«Румянец на щечках деушки заиграл, в глазах словно опять эта мольница вспыхнула да в сердце Авдею упала.

— «Почем знать, вспоминал или нет!»

«Вишь, какое слово обронил! Это дьявол ему подшепнул. Потому — беси его уж обступили.

— «Неужели вспоминал? — девка к нему с радостью. — Расскажи, поведай, что ты обо мне думал?»

«Тут ангел-хранитель ему на ухо:

— «Воздержись, не сказывай», — говорит.

— «Лучше ты, Аннушка, порасскажи! Ничего еще ты о себе не поведала... Не думаешь ли, примерно, замуж выходить?»

«Та на него взглянула.

— «Думаю», — промолвила.

«Кольнуло мужика от этого слова.

— «За кого?.. Кто ж тебе по сердцу пришелся?»

— «Сам отгадай».

— «Почем мне знать!.. Я не отгадчик».

«Анна молчит, прямо ему в лицо смотрит.

— «Подсядь к ней поближе, подсядь — беси Авдею в левое ухо нашептывают: — вишь, глазами она к себе подзывает».



«А с правого уха ангел господень:  
— «Не трогайся, — говорит: — ты человек праведной жизни».

«Усидел на месте Авдей, не пошевелинулся.

— «Никакого жениха у меня нет, — говорит Анна, и в голосе ее будто печаль какая мужику послышалась. — Не бывать, видно, мне повек замужем», — и вздохнула.

— «Отчего же так?»

— «Фабричная я. А разве фабричную девку хороший парень за себя возьмет?»

«Ровно студеной ключевой водой Авдея облило.

— «Значит, правду тогда слух к нам пал... — начал, было, и запнулся.

— «Какой слух?» — вскинулась девка и сама побелела. — «Говори!»

«Ни слова в ответ, молчит Авдей.

— «Сказывай, коли знаешь... — наступает. — Какую ты правду слышал?»

«Устыдился мужик, глаза потупил.

— «Прости меня, Аннушка, — говорит. — Мало ли что люди зря болтают! Чего с другими никогда не случилось, а они выдумают да внесут на человека... Прости».

«Постихла девка. Выпила стакан пива.

— «Ежели бы и правду ты слышал, — заговорила негромко, глаз своих от стола не подымаючи, — тебе не следовало бы об этом говорить... Не захотел подождать... Сам виноват, не за что меня попрекать»...

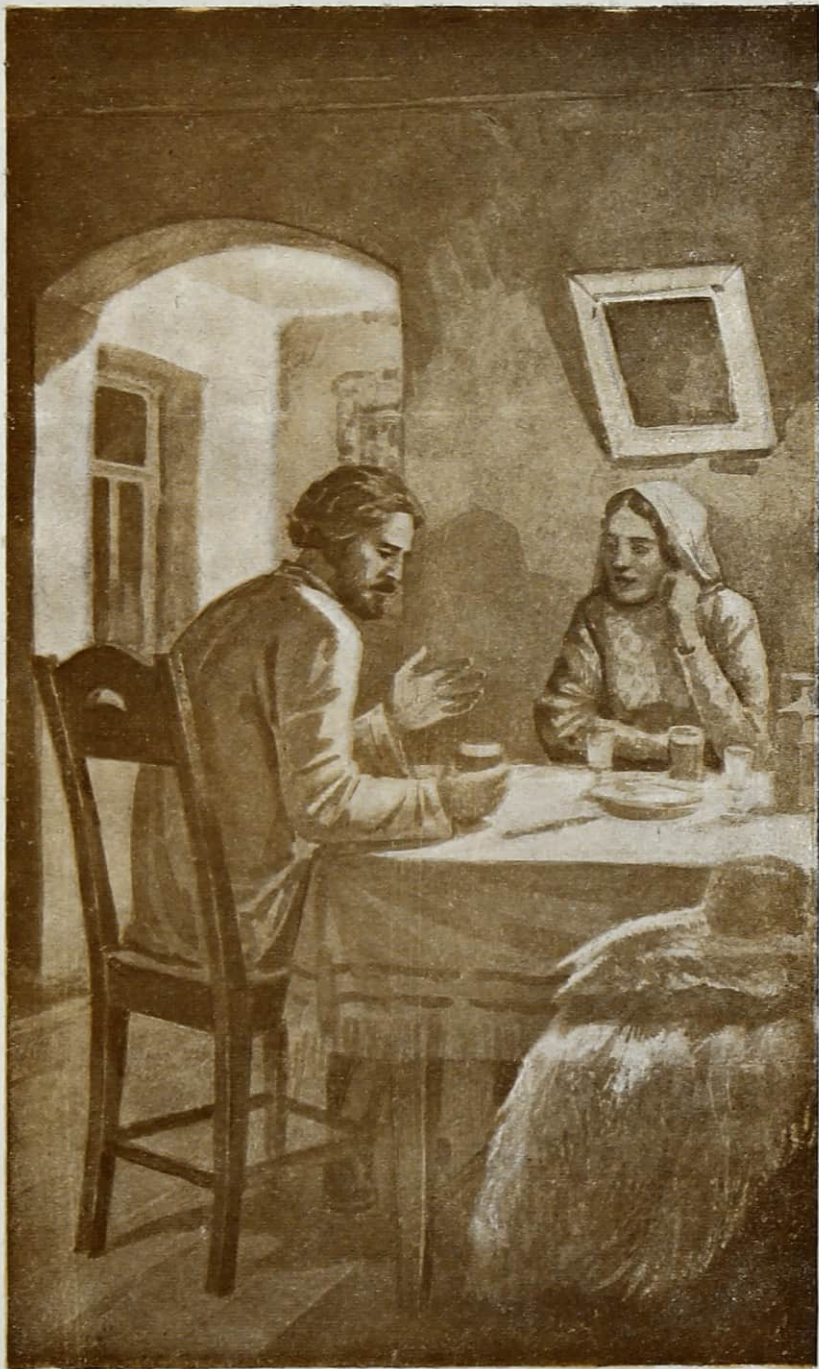
«Порывался мужик о чем-то спросить у деушки, но не посмел. Пот у него на лбу проступил.

— «Живя на фабрике, трудно деушке уберечься: не хочет чего другая сделать, так силою принудят... Что бы со мной в эти три года ни случилось, а в мыслях у меня один ты был, только к тебе сердце мое лежало и любовью томилось»...

— «Аннушка!»

— «Испугался? Не бойся, ничего особенного со мною не случилось... Да, не переставала я тебя любить, — говорила девушка. Щеки у нее опять разрумянились, глаза это в Авдея вперила, и жгут они его взглядом своим. — Женатый ты, давно бы мне следовало позабыть изменщика, а я люблю и буду тебя любить».

— «Берись, бери! — разом тут беси взметнулись и на Авдея наступили. — Никого нет... Одни вы тут».





«Ангел-хранитель невидимо взмахнул крылом своим пречистым, далеко отпугнул пакостников.

— «Крепись!» — сказал.

«Пот градом с Авдея льет, беспаречь из лица переменяется, дыхание в груди у него захватывает... Крепится, не поддается дьявольскому навождению, подбирает силу окаянных.

— «Слышала ли ты, Анна Гавриловна, про житие Марии Египетской? — повернул на божественное мужик. — Какую она сперва жизнь вела и после того царствия небесного удостоилась?»

«Темные бровки у девушки шевельнулись, морщинка промеж ними легла.

— «Слышала немножко. Великим постом стояние Марии Египетской бывает»...

— «Желаешь, я расскажу?»

— «Очень бы любопытно послушать... Только знаешь что! Время нам собираться!..»

«Вздохнул мужик.

— «Ато посидели бы, — сказал. — Бог знает, когда в другой-то раз еще свидимся».

«Девка чуточку этак призадумалась.

— «Вот что, коли так, — говорит: — здесь не станем дольше сидеть, лучше ты покатай меня немножко и подвези на фабрику. Дорогою про Марию Египетскую расскажешь, а после и распрощаемся».

— «С превеликим удовольствием! — обрадовался Авдей. — Лошадь теперь, выстоялась, можно, сколько угодно, кататься».

— «Опомнись! Что ты?» — ангел-то ему на ухо. Но мужик уж не расслышал: девка опять заговорила.

— «Я выду отсюда наперед, а ты повремени... Знаешь, чтобы служащий не сказал про нас чего лишнего... Возьми, на, деньги, расплатись».

— «Что ты? Разве я сам не заплачу?..»

— «Знаю, что заплатишь. Только я за селянку сама отдам: расходы, значит, у нас тогда пополам будут. Слышишь, внизу на гармонье играют, песни поют?»

— «Да никак это наши? — прислушался Авдей. — Так и есть: Потап с моим шабром заливаются».

— «Я у перелеска подожду. Из трактира нас не заметят».

«Ушла. Авдей служащего позвал. Верно слово он мол-

вил: наши дровяники в трактире песни распевают, какой-то фабричный им на гармонье подыгрывает. Призались около зеленой посуды, и никому-то из них горюшка нет, что дома у них делается. Разболоклись, в одних рубахах, кто поет, кто про войну с Китаем толкует, и всякую всячину плетут, а которые и плясать уж пустились. Потап про вино вспомнит, нальет стакан и по восходу солнца зачнет обносить:

— «Ну-ко-сь, выкушай! Помяни своих родителей».

«На дворе тепло стояло. Солгал Потап: никакого морозу не было. Месяц, батюшка, с небышка глядит, таково-то ли вокруг светло да явственно, снега эти белые расстилаются... Авдей Трофимыч с деушкой катит по дорожке, а за ними и все беси вихрем несутся. Он про Марию Египетскую рассказывает, а девка слушает, да сама к нему прижимается. Докончил Авдей житие преподобной. Анна и говорит:

— «Грешница великая была, а господь помиловал, святою она после стала».

— «Раскаяться, — говорит Авдей. — Бог от самого закоснелого грешника лица своего не отвращает: всякого простит, ежели только раскается, от чистого сердца перед ним покаяние принесет. Одним предателям нет прощения... Вот Иуда Искариотский, что самого Иисуса Христа не пожалел, предал его на пропятие»...

— «А другие грехи бог все простит?» — перебивает девка.

— «Он всемилостив: молись ему со слезами, воздыхай чаще о своих грехах — и простит»..\*

— «В лесок въехали; лошадка таково-то весело рысцою бежит. Анна плотнее к мужику прижимается, да в лицо, знай, ему заглядывает; карие глаза у нее то засветятся, то потухнут, щеки пылают. Авдей на своем лице дыхание ее горячее слышит, у самого его сердце больше распяляется.

— «Авдеюшка, сердечный ты мой, желанный!» — говорит ему Анна...

«Пообернулся он к ней... Глаза девки горят, щеки пышут, и губы словно что шепчут.

— «Что, родимая?» — спросил.

«А в девку, знашь, самый большой уж бес вступил. Привстала она в дровнях, пала ему на грудь и повисла на шее.

— «Чую я, — шепчет, — не расстаться нам так»...

— «Анна!» — не своим голосом вскрикнул мужик, и возжи из рук выронил... Лошадь шажком пошла.

— «Мужайся! немного тебе осталось потерпеть», слышится ему ангельский голос, но уж чуть-чуть слышится.

— «Люблю я тебя, — девка лепечет и горячими губами крепко милого в уста целует. — Помнишь, говорила: «никуда от тебя не уйду... Через три года твоей буду»... Твоя я теперь, твоя, Авдеюшка!..»

«Целый легионт нечистых тут на мужика навалился, свет в очах Авдея Трофимова застило, и предался он, родимый ты мой, чарам их, окаянных...

«И тою же минутою ангел-хранитель спокинул человека, в горести превеликой от грешника отлетел, а беси с муринами возрадовались и возликовали: смех, пляс и скакание по всему лесу пошли, гудение на сопелех и ударение в бубны раздалось... Весь ад в веселии и радости, а пресветлые ангелы в слезах и сокрушении.

---

«Долго на деревне мужиков поджидали. Бабы хоша и легли, но всё ночь глаз не смыкали. Петухи запели, — нет мужиков!.. Ждут, тревожатся наши бабы... Вторые уж поют а дровяников и не чуть... Только, знашь, от фабрики, с другой стороны реки, не то песни лешинные, не то галденье какое наносит. Послышится это, точно бы ветром оттоле принесет, и все ближе к Никулихе, ближе идет и совсем близешенько подойдет... Бабы с полу вскочат, перекрестятся и к окошкам!.. Ти-и-хо на воле, ничего не слышать и не видать, опричь ноченьки звездной да месячной... А погода ведашь, опять голоса, либо уханье подымутся, да уж — где! — да-алеко, словно, на том краю света послышится, — и стихнет, замрет... Измучились бабы!.. На то думали, что это либо лешие в удельном лесу голоса и рукавицами хлопают, либо на пойме бесовская сила под родительскую потешается, в грех кого из православных совративши. Не того женки боялись, сударик, что мужики в трактире пьют, — опасались, чтобы как во хмелю душенек-то своих они не загубили.

— «На свету, однако, всюю артелью подъявились... В избах добрые хозяйки печки затопили, опара давно поспела, с осторожностью, потихоньку к воротам подъехали, лошадей распрягли, а сбрую неш не снимают, так в хомутах жivotов и в хлевы поставили, корму задали; управились и са-

ми — в избы; взошли, образам святым помолились, как следует православным, и есть скоренько попросили.

— «Кони поотдохнут, а мы блинков перехватим да опять за дровами, — говорят, а сами к рукомойнику: — Водиды-то нет... Принесли бы студененькой умыться».

«Вишь ты, блинков горяченьких им возжелалось! Помнить, значит, субботу-то родительскую!

— «Соснуть, должно быть, теперича не придется, — уныло говорят и вздыхают: — перекусим да опять на работу!»

«Глядят, ведашь, бабы на соколов-то своих. Что за диво-дивное: по лицу видать, что с мужиками не все благополучно, а не за примету, чтоб они хмельны... Кинулись к мужьям, — кошелю с шеи снимать да глядеть, целы ли деньги. Вынули, пересчитали — у них, баб-то, все дрова на стенке угольком были перемечены, знали, сколько возов и сажень мужики на фабрику поскладали. Нехватка! Допытываться: куда и на что извели? Особливо Нечесаного жена, Матрена толстая, на свою напустилась.

— «Сказывай, куда рубль с полгиною извел?»

«А Потап, словно и праведный, под божницею сидит. В своем виде и образе мужик: водой-то студеною умылся, — поотошел, кудели на голове пригладил и бородищу красную густую расчесал. Знай, словно яблочко наливное, румяным да свежим посматривает.

— «Полтора рубля без пятака контора удержала, а пятак за чай в трактире отдал».

— «Врешь, Нечесаный! Сознайся: пропил?»

«Бедовая баба! Хошь и толста, а карактерна, и мужу ни в чем потачки не давала. В трактире Потап первый всему зачинщик, на сходке тоже больше его никто не шабаршил, а перед женою он был ровно бы дите малое.

— «Господь с тобою, окстись! — с кротостью муж отвечает. — Неш я позабыл, какая пятница. Дойди, не поленись, до Авдея Трофимыча: выписка конторская у него, он тебе покажет, сколько наших денег за хозяином осталось»...

— «Где же, коли так, нечистые вас целую ночь протаскали?»

— «Потап на жену с укором посмотрел, вздохнул и промолвил:

— «То-то вот! Допрежде бы путем расспросила, а после и строгаала человека... Только бог да Макарий преподобный с Николою святителем нас помиловали!»

«Матрена поопешила.

— «А что? Аль впрямь, что неладно с вами повстречалось?» — помягче спросила баба.

— «Засветло вечер домой поехали, а лешие глаза нам с конями и отвели, до бела дня промаяли да промучили, озорники».

— «Так не они ли это ночью-то аукались?» — сдоганулась Матрена.

— «Неш слыхать вам было?»

— «Все чутко: и песни ихние на пойме; и гайгаченье в лесу слышали».

— «А коли слышали, — Нечесаный говорит, — так нечего мне и рассказывать».

— «Нет! Говори»...

«Не хотелось мужику, долго упирался, но зная хорошо, что от жены не отвяжешься, ежели она пристала, подался и только упредил:

— «Смотри, чтобы после на меня не пенять: завсе по ночам они станут тебе мерещиться!»

— «И рассказал, что с ними ночью-то приключилось. Не мало Матрена поахала, слушаючи мужа, и в сердце своем, может, не одна пожалела его. Ну, а коли Матрену за сердце тронуло, то про других баб и слов нет, как они ахали и вздыхали от мужниных рассказов!.. Не в одно мужики показывали — знать, не успели загодя утаknуться, — но жены им поверили и за страду ихнюю перед блинами по стаканчику винца поднесли... Глупа, ведь, наша сестра! Это один поклеп, что мы хитры да изворотливы. Всякий мужик, ежели только у него на лбу ленивый гороху не молотил, любую бабу проведет и выведет... Известно, по-скорости женки правду-то узнали, свидевшись одна с другой и поведав, что каждая от мужа своего слышала. А об Николе Нечесаный под хмельком и сам мужичкам, которые на праздник подъехали, во всем признался и всеё правду им поведал.

— «Ладно родителей помянули, — говорил: — выпили хорошо и под гармонью поплясали. Я уж мужиков и не унимал: пускай, думаю, родители с того света придут да посмотрят, как мы весело живем».

«Озорник, Потап! Поделом ему от Матрены достается.

«Не знаю, как Авдей Трофимыч к товарищам пристал, только в одно время на утро с артелью угодил; на какую причину своим показал, — и этого в точности сказать не



сумею, но, зная, тоже на лешачков свалил. Первые-то дни, сказывала домашним Васена, муж больно на молитве убивался, в грудь себя шибко ударял и громко вздыхал.

— «Ровно бы этак он допрежде еще и не маливался, — добавила. — Видно, от лесных страха много, сердечный наиспринимался!»

— «Ну, Степа-то с Ариной кое-что за мужиком позаприметили: обедать сядет, — торопит скорее ему подавать; за ужином ест, — ни на кого не взглянет, а коли с женою глазами повстречается, в лице переменится, словно виноватый, и голову понурит... В работу ехать снаряжается, — рубашку кумачную надевает, штаны хорошие суконные и сапоги... Жене ничего невдомек! Да и те, старшие-то, хоть и заметили, но ничего дурного не подумали: может, челевеку нездоровится, али так что не по себе... Только вот зачем наряжается?..

«Ездят мужички в рошу, доставляют на фабрику дрова. справными в свое время к дворам приезжают. Филиповки подошли: в добром здоровье и благополучии заговелись; мужички себя соблюдают, до вина не касаются. Установились православные, слава богу!

— « Не токма теперь вина пить, — говорили, — а духа его не выносим. Словно нас отворотило!»

«Поддались они тогда искушению, но все же, выходит, грех их не погубительный, може, и родители за них умолили, не погневились, что сродственники не так поминали. Ну, а грех Авдея Трофимыча — тя-я-жкий грех, родимый мой!

«Сперва он позапаздывать начал: товарищи уж дома, а его нет. Подъедет к воротам, когда на деревне отужинают.

— «Человека одного повстречал, — домашним скажет: — с ним долго протолковал».

«Ну, что же, коли с надобным человеком посидел: не беда, ежели ко дворам опоздал! Только раз не в свое время приедет, другой замешкается, третий не в урочную пору вернется... Степе с маткою и в диво: какие такие у него дела? С кем он подолгу толкует? А Иванко, старшенький мальчешек степанидин, — восьми годков он был, — одна и говорит:

— «С дядюшкой неш поделалось. Не такой он, как прежде... Забота, что ли, у него, али в мыслях расстройка».

«Поди ты вот: малыш, а провидел! Сметливый паренек...

— «Молчи, пострел!»

— «Пра, матушка, я дело сказываю, — не унимался. — Я еще с родительской заприметил, что у него расстрой-ка»...

— «А вот я достану веник да отстегаю тебя, так и будешь дядину расстройку помнить!»

«Ребятешки — бедовый народ, сударик! Большим чего и невдомек, а они увидят и про все догадаются. Слово ваяшкино бабам запало. Засумнились. Говорить Авдею — ничего не говорили: опасались, чтобы зря не обидеть человека, — а взглядами-то своими, особливо Арина, доказывали, что оне тревожатся, на сердце гребтится у них. А тот ровно бы нарочно ловит: все не смотрит, сидит понурившись, а как голову привзнимет, так со взглядом матери али снохи и встретится... В испарину мужика бросит — известно, совестится... Новенькое заприметили: иногда в воскресный день к обедне пойдет, а домой только к ночи обернет.

— «А мы тебя ждали, ждали обедать!» — мать-то ему скажет.

— «С дьячком чтением позанялись, — ответит. — Без обеда Захарыч не отпустил».

«Дело сказывает. Не диво, что с дьячком от божественного позанялись, хоша все у нас были известны, что Захарыч больше привержен к вину, а чтобы охоч до книг — что-то мы не слыхивали. Дурного не помыслили, что на лошадке, а не пешечком в церковь отправляется: неделю-то работаючи, на стуже, завсе в ломке да на ногах, какой хошь здоровый мужик приустанет и истомится, — человек не железный, а и железо вон на огне подается... Но вот чтобы дома не обедать, — это уж не порядок, в нашем крестьянском быту так не водится. Не с молодой женой в гости гостить, чай, поехал, — богу молиться и один, а из церкви хороший мужик прямо домой идет или едет, в чужих людях не засиживается, обедать подавно не останется... Пуще старуха тревожится. Степа ума не приложит, на что и подумать... Иванко молчит, а сам глазенками постреливает, и видать, как будто, он что маленько знает или про что слышал. Одна Василиса не кручинна ходит: самой-то, видно, в головушку не взойдет, а старшие, вестимо, не сказывают, от нее таятся: что молодичу расстраивать, коли и сами еще ничего доподлинно не ведают... И так-то думали, и этак-то мерекали, а на дело настоящее все не попадут... Хоша Степе на память прежняя зазноба деверя и приходила, но она, когда этакое непутевое на ум ей вспа-

дало, только крестилась да отплеывалась. Разве стачное дело, чтобы набожный мужик да от жены баловался! Арина больше к тому склонялась, что сын, ездивши на фабрику, не научился ли там играть в карты али в орлянку... Вишь, у фабричных что ни праздник, то в этих играх время испроводят, а после в трактир али в шитейный отпра- вятся.

— «Играть-то ему не на что, — промолвит Степа: — деньги у тебя хранятся, а новой полочки не было».

— «Так неужели с дьячком до ночи просиживает?» — свекровь говорит.

— «Вот это мне неш сумнительно... В село ли, полно, он ездит, не в другое ли куда место?»

«Выпустила баба свое слово, да и сама испугалась: станет ли деверь неладное обеднею прикрывать!»

— «Я знаю, куда он ездит», — вдруг голосок Иванки с палаток слышат — не заметили, что паренек туда забился; полагали, что он по улице бегаёт.

— «Что ты знаешь?» — спросила мать.

— «Не за обедню, а в Опалиху дядюшка ездит, у тамошней солдатки с девкой Анною выдается»...

«Тут Степа выдернула из веника прут, взметнулась на палатки и сынка шибко постегала, чтобы он дурного про дядю не говорил.

— «Не вздумай еще когда при тетке молвить, — упрехала она детище. — Запорю!»

«А мало погода, Иванке сунула пряничек, — от сердца-то, знашь, у ней поотлегло, и возжалела она сынка-то своего.

— «Расскажи нам с баушкою потихоньку, от кого ты про дядю слышал, и что еще о нем люди толкуют?»

— «Да, скажи тебе, — Иванко ей отвечает, — а ты опять прутом... — науку-то родительскую еще не позабыл. — Мне, чай, больно, а я ни в чем не провинился, правду вам говорил».

«Степанида успокоила паренька, и тот про все поведал, что он на улице от товарищей узнал, а те на печках да на палатках, дома играючи, у своих отцов с матерями подслушали... Слышь, вся Никулиха про Авдея сведалась, как он в трактире с девкою на вышке гулял, у солдатки в Опалихе воскресные дни проводил, — словом, про все наши деревенские известилась. Знамо, шила в мешке не утаишь: спрячешь его, ан кончик-то где-нибудь и высунется! До все-

го посторонние допытывались, судили да пересуживали мужика, а свои, родные-то, и догадываться боялись. Загрустовали бабы, слова иванковы выслушавши, а все же не сразу людской молве поверили. Не было у нас на памяти, чтобы когда в Никулихе этакое случилось, то есть, чтобы муж от жены... али жена от мужа... Введашь, на что я намекаю? По округе, особливо где близко города или Волги, слыхали мы, что водятся такие порядки, а чтобы у нас — бог миловал! — ни разу еще не случилось. Опять и то: ежели бы кто другой, ато — Авдей... Мать сношеньку молодую задумала поспросить. Легонько да умненько повела речь: что, мол, чего за мужем не усмотрела ли?

— «Ничего плохого не вижу», — та говорит.

— «Да с тобою он как?.. Приголубивает ли когда?»

Васена позадумалась.

— «Ну, вот ты о чем, я думала про дело спрашиваешь, — засмеялась молодница. — Чего мне еще надоть: не бранит, не обижает!..»

— «А ты бы коли и сама к нему приластилась. Жена, — не чужая».

«Смеется молодница.

— «А молится-то он попрежнему ли?»

— «Молится... Поменьше, быдто, а молится».

«Матка сама уж тогда стала подглядывать за сыном да выслеживать. Ежели он к обедне не поедет, войдет в заднюю половину и глазами прямо в угол, где Авдей сидит, и увидит: книга разложена, а читальщик сам не глядит в нее, сидит, задумавшись, по лицу видать, что не о божественном у него мысли. Вздохнет Арина... За обедом, за ужином опять на сына глядит, да вздыхает, а того, знашь, пуще от совести в испарину ударит. Степа иногда ей с глазу на глаз молвит:

— «Да ты при нем, родимая, хоть не вздыхай. Если взаправду что с ним деется, так от вздохов да взглядов жалостливых ему только хуже».

— «Вестимо. Да, ведь, сердце-то матери сокрушается: поглядишь на него, и вздохнешь!»

«Может, Степанида и дело говорила; оставили бы человека в покое, — хоть и знаешь, да вида-то своего не показывай, — мужику все бы полегче было и со временем прошло... Да нет, где уж! больно его шишито в лапы свои забрала, далеко он с истинного пути уклонился... Лиха беда в сети ихние попасть, а после и не выпутаешься... Разве перед

останным концом человек почувствуется, в себя придет и ужаснется, лица черных муринов увидевши... Воротился раз ночью Авдей Трофимыч веселый, разговаривает, шутит с домашними; но разговоры и шутки у него несладкие выходят. Никто его раньше таким не видывал. Поболтал, поглядел и к себе спать направился. Жена пошла его провожать: — «А, ведь, дядюшка выпивши ноне приехал! — сказал Иванко. — Язык у него заплетается, и на ногу он не твердо ступает».

«К Николе время подвигалось. Целый год у нас ждут этого дня: в трех волостях храмовой праздник, а справляют его по всей Нее и во многих местах на Унже. Где и нет своего престола, но празднуют, потому у православных велико почитание святителя и угодника христового. Каждое селение с того дня бычка Николе обрекает, всем миром воспитывают, а перед вешним Николою заколют и в самый праздник, в честь угодника, съедят его. Так исстари в народе установлено. Перед самым праздником, сутки этак за трое, контора нашим деньги выдала; но мужички в трактире не засиделись, твёрезвыми вернулись, винца с собою для гостей прихватили, а казну, что от покупки осталась, хозяйкам всю до копеечки отдали. С работ из лесу подъехали, с Никольска и Архангельской губернии, которые мужики извозничали, также приехали: дважды на место хлебец доставили и в Нижний за ним в-третье отправились, с пути нарочно свернули, — верст сорок крюку сделали. Извозное да лесное православные с себя посмыли, выпарились и прямо с полка в снегу повалялись. Бабы в избах полы и стены выскребли, окошки промыли, печи выбелили и везде прибрались; после мужиков сами в баню ходили и все, как следует, к завтрашнему дню справили. После бани мужики, белые, чистые да пригожие, на лавках сидят, ровно бы женихи пригладились да причесались; жены на них глядят да только любят. Знамо, коли мужики хороши, так и бабы довольны и веселы. Самовар на столе шумит, — ноне у нас чаек поливают, в редком доме самоварчика нет, — все семействами вокруг него расположатся, разговоры тихие да согласные промежду себя ведут... Бо-о-ольно хорошо, сударик!

«Хорошо, по виду, и в доме у Трофимовых. За большим самоваром оба брата беседуют, сношеницы с ребятами чай пьют, одна старуха не потребляет, — смолоду не пила и теперь привыкать не хочет. Черная борода и усы

у Никиты ухмыляются, сам глядит весело и про лесные дела рассказывает, — жена ни словечушка про домашнюю заботу не обмолвилась, не пожелалось, знать, праздника ради, мужа огорчать. Авдей брательнику словно бы обрадовался, спрашивает и сам говорит, смелее на женок смотрит и Степанидиным деткам ласковое слово кинет. Пригожий мужик Авдей Трофимыч: лицо молодое, красивое, глаза голубые да большие, брови тонкие над ними изгибаются, русые кудерюшки вьются и бородка хорошая, небольшая, но окладистая. Степа радуется: деверя видючи приветливым; у Василисы щеки красные, так и лоснятся, сидит она да посмеивается. Арина слушает разговор, глаз с младшего не спускает, и, нет-нет, легонько вздохнет... В очах Авдея ровно бы что просветит, поотвернется от матки и скоренько брата о чем-нибудь спросит.

«Утром, только от обедни наши вернулись, гости начали подъезжать. В деревне избы не сыщешь, чтобы приезжим народом не была набита, гостями, значит. Сказывала я тебе: бедно у нас народ живет, не всегда досыта наедаются, а к празднику все приготовятся, из последнего вытянутся да угощение сделают — один, ведь, этакий в году праздник!.. Хозяйки гостей встречают, в избы ведут, чаем потчуют, вином угощают. Хозяева, мужики, тоже с гостями выпивают да закусьвают. Жены им не препятствуют: на то праздник, кушайте на доброе здоровье, во славу угодника и чудотворца Николы! По улице парни и девки нарядные гуляют, ребятенки с веселыми криками бегают; а перед вечером молодые хороводы, круги пойдут водить, мужики с бабами обступят, глядят на парней с девками да слушают песенки хорошие. Первые два дня Трофимовы мужики с гостями да женами своими у кругов стояли. Наши бабы на Авдея все посматривали, промежду себя неш шушукали да в сторону Васены показывали... Не знаю, заметил ли это Авдей, но на третий день его в Никулихе уже не было. В гости укатил, но один, без жены: обоим, вишь, нельзя отлучаться, у самих в доме гости. Сказался, что в Заболотье едет. Васена мужа проводила, долго ему вслед глядела, и впервые може, слезинка у ней навернулась; но платочком отерлась и в дом опять веселая вбежала. Свекровь вздыхает, своей печали пуше предается: ну-тка, младший сын от своего праздника уехал, от гостей бежал!.. До конца недели, почесть, Авдея Трофимыча в Никулихе не видели. Все молодичицы и сношеннички с мужьями гуляют, а Василиса, ров-

но сиротинка, к хороводу подойдет и стоит одна оди-  
шенька.

— «Аль муж еще в Заболотье гостит?» — спросит ее  
ина баба.

— «Гостит».

— «Вишь ты, сердечная! Поди, тебе скучненько? Муж  
в чужой деревне, а ты одна время проводишь».

— «А что мне скучать? — ответит молодица. — Я не  
одна, с мужниной роднею, здесь и родные батюшка с ма-  
тушкой — в одной деревне живем».

«Другая женка Васене молвит:

— «Слышь-ка, Василиса: твоего Авдея, сказывают,  
в Опалихе видели!»

— «Так что за диво, — та в ответ: — у Авдея Трофи-  
мыча и там приятели есть»...

— «Да так ли? — подстает еще баба. — Смотри, не у  
приятельницы ли какой он гостит?»

«Вспыхнет вся молодица, гневом у ней глаза загорятся.

— «Как вам не совестно это говорить! — скажет. —  
Чем вас муж трогает?.. Живем мы тихо, никого не обижа-  
ем, а вы жене про мужа какие слова высказываете!  
Постыдитесь»...

«Вот она, простая-то, как бабам отрезала!

«Воротился Авдей Трофимыч. Мало утехи он привез  
в дом. Жена, знашь, встречать его минулась.

— «Здравствуй, Авдей Трофимыч? Благополучно ли  
сездил, весело ли погостил?»

— «Ничего», — процедил.

«Хмелен вернулся. Изба с печалью да вздохами тяже-  
лыми его встретила.

Похлопал мужик глазами, ни с кем путем не поздоровал-  
ся, на образа не взглянул. Васена его раздела и он в зад-  
нюю избу ушел.

— «Что с братиком?» — спросил Никита.

— «Должно, хмеленок».

«Подивился старшой».

— «В жизнь свою я этаким его не видывал!»

— «О-ох, Никитушка! — вздохнула матка. — Плохо  
наше дело»...

«Степа, было, мигнула свекрови, чтобы та смолчала;  
но старая не утерпела.

— «Чужие про все знают, а своо еще таиться станем?»

«Никита перепугался.

— «Да что, что у вас без меня делается? — заговорил. — Сказывайте! Не мучайте меня, Христа ради!»

«Поведала ему жена с Ариною, что знали...

— «Неуж это правда? — выслушав, сказал с печалью Никита и повалился головою на стол. — Ах, братик, братик!»

«Утром Авдей проснулся, в переднюю избу нейдет, — совесть, знашь, тверезвого-то убивает. Поднялся, водой на лицо плеснул и прямо на лавку к окошку присел, на заулочек глаза уставил. Васена скорехонько вина принесла, закуску подала на стол.

— «Выкушай, Авдей Трофимыч!» — говорит.

«Выпил стакан, ни слова не промолвил и отворотился к окошку. Хоть бы взглянул на жену-то!

— «Чайку не хочешь ли? — молодичка говорит. — Сношенька, поди, уж самовар в переднюю избу внесла».

«Молчит, сидит истуканом, и глаза на пустой заулочек таращит. Спустия немного, другой стакан налил и выпил.

— «Никита в лес не уехал?» — спросил.

— «Нету-ти. Завтрева он собирается». — Помолчал...

— «Хоть бы мне от него куда провалиться» — заговорил. — Видеть брата я не могу».

— «Что ты, господь над тобою! — начала Васена. — Разве брательник тебе что молвит? Виду не покажет... Не велика беда, что в гостях ты позамешкался да немножко навеселе приехал... Дело праздничное!..»

«Обернулся Авдей, поглядел на жену... Захотелось, видно, узнать: в насмешку так баба говорит али по своей простоте? Та к мужу поближе, — приластиться, было, хотела»...

— «Отойди!» — крикнул Авдей.

«Молодица позамялась...

— «Вишь, ты какой! — вымолвила. — Не хочешь, чтобы я кудерюшки твои на головке пригладила?»

— «Не желаю. Руки у меня есть, сам расчесать сумею... Принеси-ка вот лучше вина: я еще выпью».

«Ни одним словом Васена его не попрекнула; проворно схватила посудинку и поспешила желаньице мужнино исполнить. Выпивши порядочком, Авдей в переднюю избу вошел. Ничего домашние ему укорительного не сказали, только посмотрели с горестью, да в уголку матка тяжельно вздохнула. За обедом старшему брату он толковал:



— «Я тебя почитаю, брат... Ты мне старший. А родителей и старших нам заповедь господняя велит почитать. Ты не огорчайся, что я выпил... Знаешь, я с роду пьян не бывал и вина никогда не любил, а вот теперь, видишь, я выпиваю — от баб, вот от них, стал пить... Не знаю, с чего принялись они на меня жалостливые взоры кидать... воздыхания их часто слышу... Глупы бабы... Вон погляди хоть на мою: видал ли ты еще глупее образину?»

— «Братик! — перебил Никита. — Остерегись... Грех человека понапрасну обижать».

— «Так, ты это верно сказал. Я много священных книг прочитал и библию чуть не всю произошел — немного не дочитал, бабы тому помехою. Но ежели меня на дуре женили»...

— «Брательник! помолчи, — опять перешибает Никита речь пьяного. — Родительница наша (здесь, детки малые слушают)».

— «Покоряюсь... Ты — старший брат. Священное писание нам повелевает старших почитать... Знаю, помню присягу царскую... Только ты, братец мой родимый, не слушай баб, не верь ты им, что они про меня плетут; и чужим не верь, потому никто души человеческой понять не может... Я сам... в душе своей... великим грешником себя перед богом поставлю... ну, а ежели сердце мое столько лет страдало и алкало... Ты меня пожалей, родимый братец, и не суди, не пренебрегай мною. Знаешь, Иисус христос ни единого грешника не отвергает. Разбойника простил и помиловал: «прежде меня будешь в раю» — сказал он со креста, весь истекаючи пречистою своею кровию за грехи человеков. А бабы глупы... Ты им не верь!»

«И много всего тут Авдей Трофимыч наплел. От божества что скажет, — хорошо выходит, хоть бы и у тверезового, ато и замелет пустышное да родным огорчительное, для жены своей обидное... Поистине сказать, родимый, жалости человек достоин, когда он и во хмелю божественное вспоминает и к раскаянию готов себя преклонить.

«На другой день Никита с домашними простился. Расставаясь с братом, он хорошо ему в лицо посмотрел и сказал:

— «Брательник, родной! — и призамолк, а сам глаз с лица младшего не сводит, с духом собирается. — Пожалей ты, — опять вымолвил, — не обижай... Ну, да сам ты

лучше мово знаешь, в священном писании сведущ. Не погневись на меня за эти слова»...

«И хотел что-то еще поучительное сказать, но выговорил только:

— «Братик... Ах, братик»...

«И кинулся от Авдея к лошадке, вскочил в дровешки, обернулся к младшему и крикнул впоследние:

— «Твой конек! ты порадел, братик», — и погнал прямо в лес.

«Как принял Авдей слова брата, кольнула ли его совесть, про то бог один ведает... Только, значит, беси-то стерегли мужика, не давали ему опомниться и в разум свой войти, тащили его к Анне погубительной. Тут вскоре огласка про них пошла, — шибко везде стали поговаривать... А мужик наш не взирает, редко домой в свое время подъявится... Сидит в избе у солдатки али в трактире, обнявшись с своею любезною, песни распевает и вино либо пиво пьет. И девка, зная, совсем обесстыжела, не скрывает перед людьми своей любви к женатому мужику.

— «Жизни за тебя не пожалею! — скажет Авдей. — Эх, если бы моя дура померла!.. Повенчались бы мы с тобою и зажили на славу».

— «Мы и так с тобою живем, — ответит Анна. — А смерти своей разлучнице я не желаю; она нам не помеха... Будет, не пей больше, Авдюша!»

— «Да я-то видеть ее не могу! Постыла она мне, — не знаю, до чего опротивела».

«А та, бесстыдница, гладит мужика по щекам, бородку его треплет, прижимается к нему и горячо целует.

— «Красавец ты мой! ненаглядный! — говорит. — Люблю я тебя... Загубила я себя с тобою, глупая, но не каюсь я, не жалею. Разве в жизни есть что краше да милее любви?»

«Слышь, как она распевает? Авдей только кудрями встряхивает да на Анну все глядит... Больно хороша собою деушка: в красном сарафане и в рубашечке белой миткальной — совсем краля писаная! Любуется, не налюбуется Авдей, но сам про вино не позабывает...

— «Не пей, Авдюш! — унимает девка. — Не хорошо так»...

— «Не препятствуй, — говорит: — мне от вина только веселее!»

— «А разве со мною тебе без вина не весело?»

— «Что ты! С тобою я только и радости нахожу, утеху завсегда себе имею».

— «Все же ты не пей. В холостых за тобою этого не водилось и женившись, я слышала, не позволял себе, так не привыкай к вину».

«Нужды нет, что — фабричная, а сама расположения к вину не оказывала: рюмки две или стаканчик выпьет с кем за приятство, а больше не станет... Да больно это и дурно, когда наша сестра пьет: она мужика пьяного глядеть не хочется, а баба-то али девка в таком виде совсем не годна, сударик мой...»

«В доме Трофимовых от печали да горести, ровно бы, и окошки-то потускнели, и стены глядят темнее и все насушилось: у Степы дело из рук вываливается, детишек не чуть, пришипилась, играют невесело; старуха только вздыхает, утираючи останные слезинки, какие за жизнь свою долгую выплакать не успела. А то выдет под поветь, у столба приткнется и воет, словно в избе покойник лежит:

Что не солнышко красное за леса укатилось,

Что не месяц ясный за облаки спрятался...

То печаль-кручина в очах моих свет застила...

«Одна Василиса как ни в чем не бывало: сидит за гребнем, прядет, скотину убирает и ни лицом, ни словом единым себя не выдаст. Ночью заслышит мужа, бежит к нему, встречает; разденет его пьяного и спать уложит, кваску холодного припасет, чтобы ему напиться дать, если ночью спросит. Заботится о нем всячески, ублажает и упрям, — не знаю, где она доставала, — винца спроворит, чтобы опохмелиться мужу... Не почувствует, не взглянет на жегу Авдей не то чтобы словом добрым найти молодицу. А ежели когда вздумает к нему приластиться, — вестимо, жена, — так либо рукой ее отведет, либо таким взглядом обдаст, что самое польмя стухнет, не токма сердце человека оледенеет. На деревне у нас бабы всполох бьют: всячески поносят, бранят Авдея, хуже-то его уж и чловеска не роживалось на свете.

— «Вот и праведник! — шумят. — Божественное читал, от мирских делов отстранялся, вина не потреблял»...

— «Только личину держал, а хуже последнего грешника. Натка в какие дела ударился... Да пускай бы один... дуй его горой! — мужиков-то наших, того гляди, совратит», — пуще всех кричала толстая Матрена.

— «Долго ли совратить?.. Помилуй бог, как за ним удумают погнаться! Куда мы денемся, что с ребятишками нашими станется, и какое тогда хозяйство пойдет?..»

— «Беспреренно надо от артели его отлучить! — пуще распалется Матрена. — Я свою, Нечесаного, кажинный день вот как ублаговторяю: «смотри у меня», говорю.. «Ежели только ты помыслишь... да пронюхаю я, дух от тебя винный заслышу, али что еще... так я тебя!.. Все кудели оборву!.. бо-о-ороду выдеру... Лучше мне и не показывайся: со света сгоню!»

— «Ладно тебе, коли ты над своим набольшая, а, ведь наше дело подначальное».

— «Глупы вы! — огрызнется толстая. — Дурища и Васена, потачку своему еретику дает... Поглядела бы я, на ее месте бывши, как Авдюшка за фабричными девками гонялся, по трактирам пьянствовал да жену вдосталь обросил!»

«Невперенос, значит, женкам: за мужьев своих прытко опасались. Одна среди них выискалась пошмысленнее да пожалливее, — чужала, значит, в чем настоящая беда, — и виноватого оправляла:

— «Не понапрасну ли мы на мужика нападаем? — скажет. — Доселе Авдей Трофимыч, точно что, праведную жизнь вел, себя он во всем строго соблюдал и от греха шибко сторонился. Потому, может, ему испытание послано: крепок ли, мол, праведник, устоит ли он супротив прелести-то женской?.. Как бы нам, осуждаючи мужика, не прогневать всевышнего»...

«Разумное слово поозадачит женок, заставит их немножко призадуматься, а Матрена толстая одним махом и расшибет.

— «Вишь, заступница какая выискалась, — скажет: — прикрывать еретика вздумала!»

— «То-то я и говорю, Матрена, — ответит заступница: — бога-то нам не прогневить бы как»...

— «Эх ты, дураково поле! — оборвет толстая. — Не слушайте ее», — и опять супротив Авдея настроит.

«Мужики в этот бабий бунт не встравались. Дома же нам хоша поддакивали, но промежду себя только посмеивались и говорили:

— «А девку знатную он подцепил... Ловок! Не даром в солдатах был, унтер-офицера себе выслужил: галунов тоже зря на службе не нашьют».

— «Вестимо, не нам чужой грех судить. Лукавые круг всякого из нас ходят. Одного жалко: не расстроил бы хозяйства своего, не подшиб бы как заведенья хрестьянского».

«Над Анною фабричные издеваются, все смеются, грохочут... Знамо, — озорник народ. Приказчики с конторщиками мужиком ее попрекают... Досадно, звать, что девка из-под самых рук уплыла. Стыдненько ей сперва было, а после обозлилась, что ли, али на отчаянность пошла, — стала отгрызаться и в отместку сама над ними смеялась.

«Об рождестве Авдей на двое суток закатился. Домашним из денег, что перед праздником из конторы получил, только половину отдал, а другую удержал про свои надобности.

«Нашли себе другую пристань: в трактире того гляди на фабричных наткнешься, у солдатки в Опалихе деревенских обегали и от отца Анны укрывались, потому слух до него уж пал, — по чужим селениям, которые подалее, ездят, на игрища ходят и весело они времечко провождают. Только Анна, знашь, все Авдея унимает бросить вино.

— «Оставь, — говорит. — Нехорошо, что ты пьешь... Мне и целовать тебя не охота, когда ты лишнее выпьешь».

«Много раз она так его удерживала, ласками своими да разговором хорошим отвлекала. Ину пору послушает, остановится, но скоро опять разрешит и еще пуще начнет пить. Вот о святках-то Анна его и спроси, когда тот еще не много выпивши был:

— «Неужели ты не можешь себя воздержать?»

— «Должно быть, не могу, — ответил: — беси меня к нему тянут»...

— «А ты пырни их чем-нибудь, они отскочат, — усмехнулась девка. — Ты здоровый парень — им с тобою не справиться».

— «Никак я нечистых не осилю, Аннушка... Родительский дом мне опостылел: приеду — мать вздыхает, либо на дворе воет, сноха украдкою скорбные взгляды на меня бросает, а детишек ее сил не хватает видеть: ровно они пришибленные, сироты круглые».

«Анна таково-то ли пристально ему в глаза посмотрела.

— «Ну, а жена?»

— «Жена? — не дал договорить Авдей, и лицо у не-

го таким нехорошим сделалось, в глазах разные огоньки запрыгали: — Убил бы я ее, постылую!..»

«Сдрогнула девка.

— «Господь с тобой! — вымолвила. — Разве Васена перед тобою в чем провинилась?.. Про любовь нашу давно знает, но тебя не попрекает. словечушком не зайкнется и виду не покажет, а ты что сказал!.. Разве другая жена стерпела бы?»

— «Она мне хуже чужой, я с нею не живу... Ежели бы только не домашние, я ни на ком бы тогда не женился: пожалел родных»...

— «Теперь пожалей жену, — говорит Анна: — мы перед нею виноваты, а не она»...

— «Да не поминай ты лучше о Васенке!» — крикнул Авдей и кулаком по столу ударил.

«Анна побелела.

— «Я и так от греха убегаю, как бы мне чего с нею не поделать, а ты еще за нее, разлушницу, заступаешься. Не почитай ее люди за мою жену, любили бы мы друг дружку не таясь, перед миром не скрываючись, и в избе у нас не было бы ни вздохов, ни причетов, как по умершем».

«Хлопнет стакан вина и волосами встряхнет.

— «Аннушка! Умница ты моя, красавица! — и кинется девку целовать, миловать да слова ей приветные, любовные наговаривать. — Да ты что? — вдруг спросил. — Али я тебя разговорами про дуру свою встревожил?»

— «Нет, — отвечает: — здесь, в светелке, неш холодно», — и опять сдрогнет, по сторонам оглядывается.

«Ничего, успокоилась деушка. Авдей вино пьет, язык у него заплетается, лопочет разное: от божества что скажет, про бесей толкует и жену поминает. Анна чутко слушает, в речь несвязную вдумывается и молчит, не останавливает.

«А под конец всего не стерпела, промолвила:

— «Авдюша, Авдюша!» — и словно бы, вместе с двумя этими словами у ней в сердце что порвалось,

«О святках они еще раза два свиделись. В две недели Анна похудела, лицо сделалось белым-белым, знай вот, как полотно, и глаза карие ввалились, но, попрежнему, красивые, только думчивые стали, и улыбка не та, что всегда бывала, а невеселая; сама деушка тихою сделалась... В последний раз, с милым своим видючись, долго ему в лицо смотрела, глазами быдто что и доказывала, но слова-

ми ничего не сказала. А на расстанье упала мужику на грудь, заплакала, — горестно, жалобно так заплакала.

«Теперь, родимый мой, дело к самой страсти подходит: человек сам себя ужаснется и кинется прямо в пасть к дьяволу.

«После крещения Авдей не повидался с деушкою, как заране они уговаривались: поджидал ее, — не пришла. На другой день ожидал — не подъявилась, на третий — не чу-уть... — «Должно, что-нибудь позадержало ее», — подумал и с чего-то вдруг загрустовал... Вспомнились ему последние их свиданьица, разговоры, испуг деушки, когда насчет жены намеренье греховное выболтал, и расставаньице с плачем тихим да жалобным. Точно во сне, представляется ему лицо Аннушки, взгляды ее скорбные да робкие; слышит слова: «Авдюша, Авдюша!» Сильно выпивши он тогда был, а все помнит, и слова эти звенят в ушах его...

«Еще сколько-то дней прошло... Поздним-поздно раз Авдей домой приехал. Васена, при огне-то разглядевши, едва признала: лицо темнее осенней ночи, а глаза вот, знай, словно у помешанного, уставились в угол и не ворочаются.

— «Родимый... Авдей Трофимыч», — попомнившись, говорит ему жена.

«Не слышит. Сбросил тулуп, пршел к столу и грузно на лавку опустился. Жена опять, было, к нему с словом — молчит, глядит в одно место и не ворохается... Та забоялась тревожить его. Прилегла потихоньку, не спит... До рассвета просидел мужик, не трогаясь с места, как истукан каменный. На утро с лавки приподнялся, в тулуп оболокся, шапку надел и вышел. Васена — за ним. Лошадь запрег в пошевни, — не по дрова, значит, а в другое место собрался... Молодица спросила; куда, мол, ты едешь? Губами не пошевелил, отворил задние ворота, повалился в сани и погнал... Куда ездил, где двое суток пропадал, — никому не поведал. Воротился на третий день, к полуночи, с лица опух и пьяный: лошадка вся измоталась, еле ноги переставляет. Взошел в избу, бросил шапку с рукавицами в угол, а сам так в тулупе и грохнулся на лавку. На другое утро встал, лица человеческого на нем нет. Не умывшись, креста на себя не положил, сел на лавке и хоша бы одно слово проронил... Мало повременя, почудилось ли Васене али взаправду она услышала, — за столом нето ичет кто, нето всхлипывает... Прислушалась, подошла к столу.

— «Авдей Трофимыч, — тихо ему сказала. — Что с тобою, болезный?»

«Молчит. Жена остороженько так до плеча притронулась...

«Как вскочит, развернется да по лицу жену!.. Молодица на ногах устояла, только рукой за щеку ухватилась: ни плачем, ни стоном, ничем обиды своей не выказала.

— «Прочь! — заревел муж. — Через тебя я погибаю».

— «Авдей Трофимыч... Чем я провинилась?..»

— «С глаз долой! Провались ты лучше сквозь землю, нежели тебе дожидаться, когда я»... — и не договорил.

«Тихонько повернулась молодница, из глазынок у ней, родимый, слезки закапали, и побрела вон из горницы.

«А по всей деревне, знашь, молва уж идет.

— «Опалихинская Анна пропала».

— «Как? Что? Куда?»

— «Как же! дровяники сказывали — вторая неделя, как исчезла».

— «Так на повети, что ли, где отыскалась?»

«Бабы, ведашь, к Матрене — на сходбище бежать.

— «Слышала? Девка-то утопла?»

— «Утопла?» — спрашивает толстая.

— «Вестимо, коли пропала! Где, в пролуби, что ли, ее нашли?»

«Матрена поглядела на баб.

— «Не слышала, чтобы она утопла, — говорит. — Вряд ли так, бабы... А вот ежели правду желаете послушать, — так я вам порасскажу, что мне доподлинно про нее известно».

— «Ну, да тебе, чай, все известно! Как, что муж-то об-сказывал?»

«Толстая поведала всю правду. По ее так выходило, что Анна точно пропала, но ни в реке, ни на повети, ни в другом месте девку не могли сыскать; это все зря досужие люди толкуют. А что девка пропала в самую полночь, когда на улице метель крутила, — это истинная правда: к фабрике подъехал большой возок на тройке, с колокольцами; Анна в него села, и лошади вихрем ее понесли.

— «И так надобно теперь полагать, — завершала свою правду Матрена толстая, — что ее либо новый начальник к себе увез, либо нечистые куда загнали, чтобы она без покаяния жизнь свою скончала».

— «А-ах! Пожалуй, что это и правда!»



— «А как же наш праведник, ежели она с барином уд- рала? При чем он теперь останется?»

— «Больно ей на мужика наплевать! Поди, у начальни- ка она барыней станет жить, ато на фабрике работать да с женатыми путаться!.. Девка не промах».

«Проведали, что Авдей, известившись на фабрике от знакомых о бегстве Анны, ударился в Опалиху и другие места розыскивать; но девки и след давно простыл: в са- мый день богоявления из деревни своей ушла, а куда — никому не сказала. Тут-то наш Авдей Трофимыч залю- товал! Трое суток безвыходно у себя в дому пил, а погода, взявшись опять дрова возить, в трактире каждый вечер кружил. Жену на глаза к себе не подпускал: аки бы зверь, на нее кинется и гонит из дома. Васена сперва в передней избе хоронилась; розыскал и прогнал со двора молодицу... Так она, сердечная, у отца своего ночи проводила, а днем — не утерпит, — забежит к Трофимовым проведать, что с ее мужем деется, да подсобит в работе. Горе свое при женщиной родне таила, а у своих — уйдет на подклеть, уткнется в подушку и убивается, голубушка. Матка-то оты- щет ее, утешать примется.

— «Не тужи, дитячко! Печалью горю не поможешь, только пуще себя измучишь».

— «Ой, родимая! — простонет. — Никак я с сердцем- то своим не могу совладать: жалко больно Авдея»...

— «Молись богу! Видно, доля наша женская такова: не от мужа, так от свекрови, золовки или деверя житья нет»...

«Отец когда слово молвит:

— «Я так полагаю: Авдей твой обойдется, придет в свой разум. Терпи. Бог всем нам велел терпеть».

«Домашние, Степа и Арина, с ним голову потеряли, ровно бы и сами в уме рехнулись, а детишки никитины как только заслышат дядю, — на печку али на палатки забьются, зароятся там в одежду и ни-гугу!»

«Мясоед в прошедшем году долгий стоял, мученица Ев- докия еще на масленице была. Половину мясоеда Авдей все пьянствовал, хоша дрова на фабрику доставлял; а тут, со второй-то половины, разом оборвал, перестал пить. До- машние, было, возрадовались, перекрестились, заметив, что его от вина отшибло. Однако недолго им порадоваться пришлось... Новая беда подоспела: мужик начал задумы- ваться... И товарищи, дровяники-то, примечают, и Степа с Ариною видят, что на Авдея что-то накатывает: упрет гла-

за в одно место и смотрит... Говори, кричи при нем, сколько хочешь, — не услышит и бровью не поведет. Су-у-мым, сумным Авдей Трофимыч ходит... Пробовал за священное писание опять взяться, — давным-давно он забросил божественные книги и молился ли когда, не видали, — совсем, должно, обасурманел человек, — разогнет это святую библию, только к ней склонится, а его вдруг и поведет всего наискось, лицо побагровеет, глаза кровью нальются. Вздумает когда в село за обедню пойти, — с церковной паперти его назад так и поворотит! Дома захочет помолиться, — вместо святых икон дьявол в женском образе представляется... Видно, бог распрогневался, от грешника не желает молитвы принимать... не знаю... Только шишиги мужика не допускали, опасались, чтобы как не раскаялся, не умолил он себе отпущения в грехах своих. Изготовились, родимый мой, окаянные-то изнять душеньку Авдея Трофимыча, приступили к нему и неотступно требовали платы... Особливо по ночам не давали покоя. Ляжет, глаз не успеет сомкнуть, а они и тут...

— «Нечего проклажаться, вставай, пойдем к нам! — толкают его в бока. — Ты наш... Сколько времени тебя сам наибольший, владыка ада, дожидается! Вставай!»

«Авдей руку подымать, чтобы крестное знамение сотворить, а шишиги взметнутся, насядут, — и повиснет она, рука-то.

— «Не трудись, — над грешником хохочут. — Не вздымешь!.. А ты немножечко посовестись, — говорят: — мы сполна твое желанье исполнили, наградили тебя любовью деушки, которую ты больше трех годов искал. Разе без нашей помощи под родительскую девка тебе так и кинулась бы? Мы постарались».

— «Господи!» — Авдей-то вздохнет.

— «Не поможет! Не призывай его, не услышит, — потешаются дьяволы. — Ты лучше с нами дружись: мы тебе, вместо Анны-то другую подсудобим. Много красивее той, пропавшей-то, найдем; но ежели опять прежнюю желаешь, так мы сейчас тебя к ней предоставим: она у старшего нашего теперь в пекле греется!»

«Слышишь, как шишиги-то мужика улецают, к сатане норовят спровадить? Авдей вскочит с постели, огонь вздует — и молиться почнет... Как же, допустят они до молитвы! Один из треклятых переметнется в девку, примет, знашь, образ Аннин да перед грешником и красуется, к

лицу его рылом поганым тычется и с лаской притворной девкиным голосом напевает:

— «Поцелуй меня в уста сахарные, Авдюшенька!»

«А другие-то беси вокруг мужика пляшут, свистят, грохочут... Не спит по ночам Авдей, не дают ему покоя нечистые. На глазах у всех худеет и тает человек: осунулся, сугорбился и на себя не похож стал. Днем — ничего, дрова возит, на людях ему, быдто, легче, не пристают шишиги, а как наступит ночь, в избе задней один-то останется, ну, и почнут его терзать... Васена тем временем, как муж пить бросил, от отца к свекрови опять перебралась. Муж подъедет, — схоронится где за ребятенками на печи или к шабрам убежит, а ночует в передней избе. Но сама тревожна, чует сердце беду неминуемую: не однав ночью выбежит, на мосту постоит, у двери задней избы прислушается. Сношенница или Арина попрошают молодцу:

— «Спит, али нет?»

— «Соспокоился. Даве слыхать было, огонь засвечал, по избе ходил»...

— «А ты сама-то спишь ли коли?»

— «Ну еще... успею я выспаться!»

«А погода, с палаток спрыгнет и опять на мост. Больно она прытко мужа жалела. И с нею, от горя да заботы, перемена заметна: потоньшела, с лица опала, щеки уж не краснели, как маков цвет, но, словно бы, милovidнее стала, и глаза серые у ней по-другому смотрят. Неделя за неделю идут, мясоед к концу подходит. И не видать, как времечко от нас бежит, день ото дня, час от часа к смерти нас приближает... А мы живем, не помышляем об останном-то часике, все думаем жить, друг дружке норовим зло сделать да ближнего подсець, чтобы самим-то нам лучше жилось. Ан смерть-то, матушка, — вон уж она, за плечами стоит и косою своею острою на нас, грешных, замахивается... Не отступаются нечистые от Авдея Трофимыча, не дают ему вздыха ни на один день, ни на один час, родимый ты мой! Почуял, знать, сердечный, что не побороть ему бесей, осилят они его, окаянные... Домашних сторонился, один в избе был, а тут боязно ему стало... Подступили раз к нему те, мурина с собою большого, страшного привели и поставили его в ногах мужика.

— «подавай нам свою душу, нечего упрямитесь! Наш ты, наш!» — кричат.

«Тот позабылся, было, немного, лежал, закрывши глаза.

Вывели из забытья, открыл свои очи... И увидел, родимый, того-то, страшного!.. Так ин все ребятишки проснулись от голоса дикого, каким дядя ихний завопил, узревши образ муринский!.. Васена первая вбежала, скоренько избу осветила — и к мужу.

— «Что с тобою, Авдей Трофимыч? Не во сне ли чего испужался?»

«Лежит, глаза на нее уставил и, должно, не признает жены.

— «Страшно мне, — проговорил и вздохнул. — Оставайтесь кто-нибудь... Огня не гасите, ато опять придут».

«Бабы с свекровью только переглянулись, словцом не обмолвились, сдоганулись, про что говорит. Васена им мигнула: уходите, мол, я тут останусь. Не раздеваясь, кинула на лавку шубу в головы и прилегла. А муж, погода, голос подает:

— «Кто в избе?»

— «Я, Авдей Трофимыч», — молодица ему отвечает.

«Покосился на жену, помолчал

— «Ты бы отсюда повышла. — сказал. — Матушку прислала, али Иванка».

— «Нет, Авдей Трофимыч, я сама побуду, останусь».

— «Сама... Кажется, дозволенья от меня ты на это не получала?»

— «Твоя воля, делай со мною что хочешь, а я от тебя не уйду, — говорит Васена. — Кому же и беречь тебя, как не мне?»

«Опять покосился, но промолчал... Повернулся лицом к стене и заснул... Жены ради, шишиги дали ему вздышечку.

«На пестрой неделе, как раз перед днем Федора Тирона, беси с мурином к Авдею за душой приходили. А на утро от Трофимовых Иванко ко мне прибежал.

— «Тетушка Домна, побывай-ка ты у нас. Вечор с дядюшкою нешто попритчилось. Баушка больно наказывала звать тебя».

«Про домашнее их несчастье я давно все знала. Скрутилась живой рукою. Я к ним частенько закахивала. Меня добрые люди привечают, зовут к себе: иной раз по делу придешь, ато и так забежишь на беседки, с бабами или с мужиками потолковать. Полетела я к Трофимовым. Ровно убитые там сидят... Рассказали, что накануне случилось.

— «Нельзя ли чем полечить? — говорит Арина. — Ато заговори их»...

«Смешная эта Арина! Давно меня упрасивала, чтобы я сына заговорила. Да разве я заговоры такие знаю? Настояем травяным от такой болести тоже не вылечишь. Жалко мне старуху и баб! У Арины и так лицо было небольшое, меньше моего, а теперь от горя в кулачок сжалось и сморщилось».

«Говорю им:

— «Подождем. Увидим, что с мужиком еще станет даться... Мудрено в таких недугах человека лечить; но, может, — говорю, — бог меня вразумит, Авдея ослобоню от нечестивых».

«Посидела у них, чайку с молодницей и Степюю попила, потолковали; на прощанье советовала им на бога положиться. Он, небесный наш царь и владыка мира, если пожалеет кого, так не допустит лукавому верх одержать. Соспокоила Трофимовых, повеселей, словно бы, они меня проводили, чем встретили».

«Масленица прокатилась — и не видели; святой пост наступил. К воздержанию, молитве и покаянию церковь Христова призывает, православные единожды на день хлеба вкушают, на сухоядении себя держат. Масленицею Авдею Трофимовичу легче было, — не шибко к нему те приставали, а с чистого понедельника опять за него ухватились: тоску несусветную нагнали! Советовала я ему поговеть, исповедоваться и, если священник дозволит, святых тайн причаститься; но он совет мой оттолкнул».

— «Не могу, — сказал. — Не дадут мне до ограды храма божия дойти, не только на ступени честной паперти вступить».

«Совсем обессилел мужик в немошь впал, не пьет, не ест и тоскует... Спасибо шабру, Семену Чернявому — взял его лошадку и вместе с своими дровами за него на фабрику возил. Измучили Авдея Трофимыча нечистые, каждую ночь к нему приставали, все душеньку его требовали... Васена измаялась, все ноченьки не спавши. Я всякий день у Трофимовых бывала, навещала бесноватого. Бог самой мне сподобил на первой-то неделе исповедаться и причаститься. Я батюшке, священнику, про Авдея сказала, поспросила: не прикажет ли недужного в церковь привести, — он, священник-то наш седенький, но добрый, хоть и строгий старичок; другой, о. Трифон, помоложе будет, годов сорока с чем-нибудь, и здоровущий поп. Выслушал меня отец духовный со вниманием, даже повоздыхал этак и

головую седенькою покачал; но болящего привести не дозволил.

— «Пообожди, — сказал. — В подобном виде мужика к дому господнему нельзя допустить: вишь, как дьяволы его оседлали. Испробуй, попой его своим настоем. Может, от настоя господь пошлет ему крепость телесную, а с нею и духовную возвратит, — тогда врага он поборет»...

— «А как насчет того, батюшка, что ночной порою, особливо в полночь, они человека нудят? — спросила я. — Какого вы мнения об этом будете?»

— «Очень просто, — отвечал. — Мнение мое будет кратко: это полуночный бес человека искушает».

«До середокрестной недели кое-как дотянул Авдей Трофимыч. Трудно, тяжело ему было, а все же превозмог себя, не поддался в досталь лукавым. Но как в воскресенье из царских врат крест вынесли, положили на налой для поклонения христианам, так Авдея к муке вечной нечистые и потащили. Днем приставали, в оба уха шептали ему, а ночью целым легионом приступили.

— «Пожалей нас! — плачут окаянные: — честью тебя просим. Нам из-за тебя житья от самого не стало: завсе на мороз выгоняет, минуты одной погреться в аду не дает... Ты человек завсегда был совестливый... Ну, долго ли тебе под поветку выйти? Мы для тебя сами и веревочку изготовили. На-ка, возьми да и выбеги».

«Глядит Авдей: точно веревка подле него лежит, совсем и петелька припасена... Пощупал — мякенькая, из чистого шелку свита!

— «Видишь, какая хорошая веревочка, — шепотком да ласково лопочут. — И не послышишь, как в петельку захлестнет... Гляди, вон Аннушка тебя манит — нарочно за тобою пришла. Ну, подымайся!»

— «А жена? — тоже шопотом спрашивает Авдей.

— «Мы на бабу сон напустили. Подымайся, дружие наш возлюбленный!»

«Повел глазами Авдей: точно, жена спит на лавке. До полуночи крепилась баба, зорко за мужем наблюдала, к шопоту его прислушивалась, а тут с чего-то разом и заснула. Встал Авдей Трофимыч, веревочку «шелковую» захватил и остороженько, чтобы жену не разбудить, за дверь вышел. Анна впереди идет, путь ему показывает...

«Не могу тебе поведать, сколько много времени спала Василиса, но спала она сладко и сны приятные ей виделась.

Муж представился: свежий, веселый перед нею стоит, любовно в лицо ей смотрит и речи хорошие говорит. Никогда еще таким она не знавала своего Авдея. И во сне прекрасном молодница радуется, светло да приветливо в ответ мужу улыбается... «Вот и мне господь счастьеще послал, — думает. — Долго я ждала денечка этого радостного. Терпенья да любовь мою видючи, Авдей Трофимыч и возжалел меня, сердцем своим к жене повернулся»... Думает так во сне и радуется, смеется... Вдруг облачко черное накрыло, в очах спящей все примеркло... Ужаснулась! Ветерок, быдто, дунул, прогнал тучу страшную, — и опять вокруг просияло, только белое словно бы голубок, облачко летит; летит и прямо к Васене. Любуется молодница и думает: «видно, опять счастьеще прилетело!» И только она успела это подумать, как сквозь облачко лицо с карими очами выглянуло, девушка из него вышла... «Да, ведь, это та, Анна!» — испугалась Васена. — «Не опасайся. — в образе Анны ей говорит. — Не с худым я издалека к тебе прилетела... Много я перед тобою провинилась, но зла никогда тебе не желала и теперь нарочно спешила, чтобы самой твое счастье отдать... Но ты сперва мне скажи: простишь ли ты меня?» — «Да я уж давно простила, — Васена говорит. — Чай, за любовь свою ты от людей всего наиспринималась, немало тебя казнили, болезная!» — «Доброе твое сердце, золотое... Беги скорее к мужу!..»

«От слова этого Васена обудилась, глаза протерла, на мужнину постель глядит... Нет его!.. Перекрестилась, — схватила фонарь и вон, — прямо во двор, оглядела везде с огнем: не видать Авдея. К сеннице кинулась, заметила: лестница наверх поставлена... С молитвою взобралась и к дверке — отворена... Привзняла фонарь, свет от него ударил на поветь, и в свету видит, муж у стрехи стоит; вáровые возжи от стены спустились, и Авдей петлю на голову приспособляет...

— «Авдей Трофимыч! — завопила. — Опомнись, христос над тобою», — и за возжи рукой ухватилась, выдержала конец из-под стрехи.

«А муж глядит на нее; лицо, как у мертвеца, и усмешечка на губах. Ну-тка, ну-тка родимый мой, что с собою человек удумал сделать!..

«Теперь, ваше благородие, я себя с головою выдам... Смотри же, попомни наш уговор: чтобы через это да чего мне не вышло!.. А то и досказывать не буду: встану, хлопну дверью, — только ты меня и видел... И все что ты записал, перечеркни на листках-то, — поди, запишешь, что я целый час обсказывала? А, испугался!.. Да ничего, живет и так; я, в случае чего, запрусь, скажу николи ему не говаривала; а что это он чай-то меня к себе зазвал пить — точно, правда; больше я ничего и не ведаю; с каким умыслом меня, сироту, заманил — его спросите... Чем ты докажешь, что от меня самой про Авдея слышал?.. Эка, дыму-то опять сколько напустил! И охота же тебе нечистых тешить, в дуду свою бесперечь дудить! Ну, тетка Домна, лекарка никулихинская! пожалуй-ка ты сюда, встань пред грозные очи земского начальника, говори и показывай все по сущей правде-истине. Видно, и до тебя очередь дошла!

«Обои суток, понедельник и вторник, Авдей все тосковал да на погибель свою порывался. Днем Василиса при нем неотлучно находилась, а ночью Степа с Иванком на подмогу приходили, — хошь и мал, а смел Иванко-то, не забоялся при беснующем с бабами оставаться! Никиту собирались оповестить, да я отсоветовала: что мужика от дела отрывать! Бог даст, без него как-нибудь справимся... Ну, Иванко и Степа по ночам спали, а Васена-то завсе на стороже была... Муж ей скажет: «сосни или ступай в ту избу, тогда, может, и я бы сам вздремнул». Молодица потешит его, вид подаст, что спит... Авдей окликнет — не отзовется, в другой раз — храпит... Легонько подыметесь, по сторонам оглядится, ноги на пол опустит, — и потихонечку к двери... Васена встрепенется, подлетит к нему, схватит в охапку и опять в постельку уложит, — отощал мужик, словно щепка высох, жена поднимала его, как перо легкое. Раза по три на одной ночи этакое случалось. Знамо, те не отвязывались, шибко нудили. На крестную среду я у Трофимовых ночевала, с Васеною мы заодно ноченьку коротали... Видишь, что господь мне на мысль бабью вложил. Помолилась я ему да угодникам Косме и Дамиану, Николе святителю, Макарью преподобному и соловецким чудотворцам, с усердием большим помолилась, — и владыка небесный и святые угодники мне откровением исцелить душу расслабленного, указали путь к спасению человека от вечной погибели.

«Не по одной нашей стороне, а по всей-то святой Руси



исстари такой обычай водится: утром в крестную середу бабы кресты пекут, ребяток ими одевают и холодную воду на головенки ихние льют. Через это благодать на детей сходит, потому крест — великое дело, и вода святая от всего очищает! Вот, как только рассветет, по деревне рабятки и пойдут с грохотами — знашь, в коих у нас сено для скотины таскают, плетушки этакие, большие да высокие, а на дне у них дыры круглые? Ну, ребятки — пареньки с девочками — разобьются по кучкам да избы все пообходят; подойдут к одной, сядут перед окошками, накроются грохотом, — их и не видать, — а сами нараспев и кричат:

Подайте нам крестик!  
Говеньице треснет.  
Великое говеньице переломилося,  
Надвое развалилося.  
Подайте другой,  
Облейте водой!

«Прокричат, и ручонки из дыр высунут. Бабы на улицу выдут, подадут каждому по кресту и водой обольют... В котором кресте еще копейку запекут. Кому с ней крест достанется, — больно выходит хорошо: в сусек крест положат, где у нас зерно сохраняют, и хозяину его бог урожай хлеба да спорину во всем пошлет. Понял, к чему я речь про обычай подгоняю? Ну, вот я, по внушению всевышнего, и удумала... С вечера поговорила с женою Семена Чернявого, — шабра-то Трофимовых, — водицы богоявленной в пузырьке махоньком принесла и научила ее, что надо делать...

«Светок белый чуть только занялся. Мы с Васеной, помолвившись, болящего во все чистое оболкли: рубаху, порточки новые надели и в сапожки валеные обули. Без всякого сопротивления нам покорился: делайте-де, бабы, что хотите. Вестимо, изнемог человек, яко бы дите малое стал. Жена ему и головушку, и бородку гребешочком порасчесала... Тихонько мы с нею под ручки его на двор вывели; уж Иванко с своим грохотом там поджидал, а Степа другой, самый большой принесла и тоже ожидает. Арина слышала, к нам бредет... На улицу под ручки Авдея Трофимыгча вывели, — худенькие, тоненькие они, ручки-то, у хворого сделались! Небо ч-и-и-истое, зорька алая занимает, над деревнею сизый дымок струйками бежит; свеженько на дворе, утренничек славный, крепко лужицы за-

морозило. Местами кое-где ребяташек видать, ходят с грохотами и пение их по зорьке разносится... Подошли мы к шабровой избе, приостановились... Господи, царь небесный! Как ютняли мы руки от Авдея, посмотрели при свете-то на болящего, так инды сердце у нас от жалости упало!.. Знай ты вот, как палка высох, тень от прежнего Авдея Трофимыча осталась! Стоит в рубашечке-то, штанцах новых да сапожках валеных и, как тростиночка какая тоненькая, от легкого ветерка покачивается. — ноженьки насилу-насилу держат его, сердечного... Иванко (супротив окошек сел, грохотом накрылся; ждет дядю.

— «Петь, что ли?» — спрашивает.

— «Ну-ка, Авдей Трофимыч, опустишь, присядь на ледок-от, — говорю. — Ничего, не бойся. Вот так, ладно будет... Степанидушка, прикрывай, родимая!.. Не в версту немножко, до земли не хватило... Ничего, мы с Васенушкой попридержим. Зачинай, Иванушка!»

Подайте нам крестик!

Гове-еньце треснет...

тоненьким да звонким голоском запел Иванко... Мы с Васенкой, знашь, над мужиком грохот придерживаем; Арина вздыхает, губами шевелит; Степа на восход крестится да молится... Держим, а грохот поднимается; чуем, не совладеть нам одним... На счастье, Семен Чернявый выскочил; за ним, откуда взялся, Потап Нечесанный валит. Ну, с мужиками-то нам полегче стало, собча все крепко взялись... Только мальчоньшко наш пропел, из ворот с ведерком жена Чернявого выбежала, сунула Иванке крестик и водицею студеную из ковшичка на голову ему плеснула. К нам поспешает.

«Через силу грохот сдерживаем: подымает его нечистою силою, воротит из стороны в сторону и не допускает недужного крестик принять! С мужиков пот градом, мы с Васенкой сами не свои стоим. Однако, мужички приободрились, изо всей силы-мочи понавалились.

— «Ослобоните... душно!» — взмолился из-под грохота Авдеюшка.

— «Потерпи, — говорю. — Ручку-то, батюшка, ручку просунь! Вот так»...

«Слава богу! ухватил крестик, зажал в руке и не выпускает. А женка тою же минутою из всего ведра и окатила немощного... Глазом не успели мигнуть, как плетенку

сажен на пять кверху вскинуло, Авдей Трофимыч вскочил и со всех ног к дому ударился!..

«Перекрестились мы. От сердца поотлегло!.. Ты усомнишься, не поверишь, а через воду да крестик мужик наш освободился от нечистых и выздоровел. По началу, его все знобило и в жар бросало. Лежал в беспамятстве, завсе бредил и в бреду кого-то звал. Я настоем озноб с жаром у него прогоняла, денно и ночью его поила. С неделю, полторы томился; домашние с часу на час смерточки ожидали. Ан, с вербной недели на поправку дело пошло. Жар унялся, знобить перестало, глаза очистились. Лежит тихо, поглядывает на всех, и видать, что в душе мир у него... Жену глазами позовет. Смотрит на нее, руку ее себе на головушку положит и вздохнет. Отойдет жена, он взглядом ее провожает, глядит, куда она пошла, а повернется та. — улыбка хорошая у него по лицу пройдет... Видим, человек поправляется, в разум прежний входит, и благодать на него снизошла. К лазареву воскресению он поднялся с постельки; умылся, перед образа стал, усердно богу помолился и первым долгом, отмолившись, пал жене в ноги.

— «Прости меня, родимая! — начал. — Много я тебе горя и печали причинил... Не помни этого, Христа ради!»

«Та, Васена-то, подымает его; слезы у ней светлые из очей так ручьями и льются, и она их не унимает, дает полную волю им, потому слезы те богу приятные и людям радостные. — плачет, а сама словами добрыми соспоканвает.

— «Что ты, родимый! — говорит. — Ты меня прости; сама я не умела твоей любви заслужить, а ты ни в чем передо мной не повинен», — говорит и головушку его к груди своей прижимает.

«У матери, Степаниды, у меня и малого Иванки прощенья просил; всем в ноги поклонился и благодарил, обиды на нем просил не помнить! Степа самоварчик спроворила, за чаек мы уселись, и Авдей Трофимыч впервые с нами покушал. От радости своей великой, что господь душу его спас, здоровье возвратил, и домашние с любовью на него взирают; покаялся он чистосердечно перед нами и все правду о себе с Анною поведал... Немало тут мы наплакались, его слушаючи!

— «Думал, что уйду от греха, — рассказывал. — Священные книги читал, молился, всячески мысли убегал о девушке... Прошло, позабыл и возмечтал о себе, яко бы и праведник: жизнь веду строгую, поборол себя... А повстре-

чался с нею, и все пропало, и присягу с отечеством позабыл, — лукавый попутал... Господи, сколько я жене и ближним печали, огорчения в своем окаянстве причинил!»

— «Про это уж ты не вздыхай!» — Васена ему. —  
Прошло, — слава богу!..»

«К ласхе Никита прибыл. Бога возблагодарил и крепко младшего брата обнял.

— «Братик... Родимый! — выговорил. — Слава богу!»

«В радости, добром здорэвье Трофимовы светлое христово воскресенье встретили. Опять все по-хорошему у них пошло. Работают, живут согласно, а про Васену и говорить уж нечего: завсегда веселая, довольная и мужем своим не знает как нахвалиться! Авдей Трофимыч начал большое прилежание к мирским делам оказывать: ни одной сродки не пропустит, во все нужды деревенские входит, удумывает все, как бы лучше да миру облегченьице какое промыслить. Такой заботник мирской сделался!.. Только взгляд у него, быдто, немного стрэгий был, а вот как бог послал ему дите — сынка-то Васена родила, — так и смотрит он теперь хорошо да весело.

«И знаешь ли, оба с женою они больно Анну жалеют! Девка, слышь, где-то на Урене в скитке маленьком поселилась, — богу жизнь свою обрекла. Недавно отцу денег прислала. Никто ее в те поры, как бабы говорили, не увозил и нечистые никуда не загоняли, а собралась она и ушла потихоньку... Совесть-то в деушке поимелась: увидела, что через нее в семействе несчастье, мужик сам на погибель идет и над женою умышляет недоброе сделать; она, бога побоявшись, пожалела добрых людей, оставила родимую сторонку и дружка своево милова. Видишь, сердце свое молодое деушка поборола!.. А, ведь, это много значит на небе-то, бог над нею, горемычной, сжалится и грех ей отпустит...



## НАШИ ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ

Впервые напечатаны были в московской газете «Русские ведомости» в 1872 г., №№ 59, 60, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 84, 85.

«Рабочий вопрос» в конце 60-х и начале 70-х годов занимает в русской прессе значительное место. Жесточайшая эксплуатация, нечеловеческие условия труда и жизни рабочих, достигшие для того времени невиданных размеров в связи с введением пара и машины на предприятиях, заставляют говорить о себе. В 1869 г. появляется книга Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», которую Маркс, в письме к Энгельсу, называл «самой важной книгой, вышедшей после... «Положения рабочего класса в Англии».

Рабочая тематика привлекает к себе внимание и писателей. В это время выходят: «Где лучше» Решетникова (1868 г.), «Разорение» Г. Успенского (1869 г.), «Шаг за шагом» Оммулевского (1870 г.), «На болоте» и «На текстильных фабриках» Благовещенского и др.

Очерки «Наши фабрики и заводы» остались неоконченными. Нефедов намеревался дать полное описание жизни и работы ивановских текстилей, но, как известно, «Очерки» говорят лишь об условиях труда. «Как же рабочий проводит остальную часть дня? Где он живет и отдыхает? Это мы узнаем из следующей главы», — писал Нефедов. Однако эта «следующая глава» в печати не появилась.

Дальнейшее печатание очерков было запрещено, видимо, царской цензурой.

Отдельным изданием «Наши фабрики и заводы» вышли только после Великой пролетарской революции, в 1931 г. Они изданы в серии «Библиотеки «Огонька», под названием «На текстильных фабриках в 70-е годы».

## СВЯТКИ

Впервые напечатаны в третьей книге журнала «Вестник Европы» за 1871 г., под заглавием: «Святки в селе Данилове (очерки русской фабричной жизни)».

Весьма вероятно, что «Святки» первоначально посланы были Нефедовым в «Отечественные записки», редактировавшиеся тогда М. Е. Салтыковым-Щедриным. В бумагах Нефедова, хранящихся во Владимирском городском архиве, находим следующее письмо М. Е. Салтыкова к Нефедову:

«Милостивый государь, Филипп Диомидович.

Имею честь уведомить Вас, что статья Ваша «Святки» в редакции «Отеч. Записки» не получена.

Как скоро она будет получена, я не замедлю дать Вам ответ.

Искренне Вам преданный М. Салтыков.

Что не получена — это верно; я сегодня лично справлялся в конторе.

2 февраля (1870 г.).

Повидимому в «Отечественных записках» «Святки» остались неразысканными и Нефедов направил свой очерк в «Вестник Европы» (какая-либо иная статья Нефедова под таким же заглавием — нам неизвестна).

«Святки» принадлежат к числу интереснейших очерков Нефедова. На фоне яркой картины жизни фабричного села Нефедов пытается показать протест, может быть и не всегда осознанный, против существующего порядка вещей, показать некоторые «пружины» этого протеста, зарождающие элементы классового самосознания рабочих.

В этом плане примечателен рассказ Безбрюхова (стр. 74 — 75) о том, как его уволили за «бунт», после чего он не смог ни у кого найти работу. А речь идет о квалифицированном рабочем, о механике, т. е. о таком рабочем, которым не могли швыряться так же легко, как обыкновенными ткачами. Знатоков паровых машин было тогда немного.

Немудрено, что и Груздев и Безбрюхов не прочь, чтобы на вечеринке, на девичнике посидеть в сторонке и «секретным манером, промеж себя, толковать больше насчет наших фабричных обстоятельств».

Наивысшим пунктом протеста является сцена с переряженным в «немца» Безбрюховым. «Сжалился, наконец, немец над публикою: развернув несколько бумаг, вынул он громадную, рыжевато-красную и неудобную для еды колбасу и, высоко-высоко подняв ее над головою, сказал:

— Вот вам, каспадин, новый воля!»

Эта великолепная насмешка над «волей» царского правительства, всего самодержавного строя, должна была иметь крупный агитационный эффект и она имела его: «Хохот, крики одобрения и руготня раздалась в одно и то же время в награду шутнику». Руготня шла из уст куцпа, находившегося в трактире.

Протест против крепостного права со всеми его последствиями, чаяние настоящей, подлинной воли выразил здесь Нефедов с предельной, доступной ему силой.

## ДЕВИЧНИК

Впервые напечатан в журнале «Отечественные записки», в № 9 за 1868 г., под заглавием «Девичник (очерки фабричных нравов)».

«Девичник» — первая большая художественно-публицистическая вещь Нефедова с тематикой из рабочего быта.

В «Девичнике» Нефедов стремится не только показать классовое расслоение ивановского населения, в частности ивановской молодежи, не только противопоставить две группы: «полированных» («образованных») и местную рабочую молодежь. Он дает и этнографически верную картину посиделок («девичника»). Последовательно он описывает весь ход девичника, все игры и забавы молодежи.

Подобные вечера были, в сущности, почти единственным «развлечением» ивановской рабочей молодежи: «фанты» с неизменными поцелуями, выпивка, пение «модных» романсов — вот чем наполнены «девичники».

## СЕМЬ КЛЮЧЕЙ

Эта повесть впервые напечатана была в книге «В память С. А. Юрьева» (сборник, изданный друзьями покойного. М. 1890 г.) под названием «Евлампеева дочь». Название «Семь ключей» дано в собрании сочинений (том I. М. 1894 г.). В основе «Семи ключей» лежит повесть о жизни и судьбе евлампеевой дочери — работницы текстильной фабрики, приглянувшейся хозяину фабрики и ставшей впоследствии его женой.

В центре внимания Нефедова здесь не быт, не жизнь рабочих, а личная судьба девушки, ее борьба за свою «честь», с одной стороны, и борьба Геннадия Кононовича за «личную свободу», борьба за право на любовь, «независимую» ни от каких внешних условий, за право «брака по любви».

## ЧУДЕСНИК ВАРНАВА

Повесть впервые напечатана в газете «Русские Ведомости» в 1898 г. №№ 55, 62, 73, 91, 101, 104.

«Чудесник Варнава» — одно из последних произведений Нефедова, затрагивающее в той или иной степени фабрику, рабочий быт. Отрицательное отношение Нефедова к капитализму проявляется здесь особенно ярко. В фабрике, в городской культуре он видит только деморализующее начало, которое наносит непоправимый вред «патриархальной» крестьянской жизни. «Немало народа через фабрики повреждается семьи свои несчастными делами, — пишет Нефедов.

На примере Варнавы — человека с «добрыми», «хорошими» задатками — он хочет показать губительное влияние фабрики, городской культуры. Нужно отметить, что Нефедов не щадит красок, чтобы достичь своей цели. Здесь и пьянство, и стремление к внешнему лоску и т. п. Лишь случай — помощь и влияние Кулебашкина — спасает Варнаву. Он бросает пить, начинает портняжничать, у него уж появляются и подручные. Все фабричное, городское изгоняется из дома Варнавы. «В доме у них тихо, светло и приветно. Машинка перестанет стучать, песенки заведут: работают и поют — не фабричные песни, какие раньше Варнава пел, а настоящие, деревенские, протяжные и на голоса».

Противопоставляя деревню городу, фабрике, Нефедов пытается показать расслоение крестьянства, борьбу богачей (Копытов и другие) и бедных. Богачи травят Варнаву, но не как бедняка, а как фабричного, стремятся изгнать его из «общества». Эта травля завершается дикой сценой деревенского «суда». Некоторая попытка показать подлинную «правду жизни» чувствуется и в словах Кулебашкина с крестьянами (стр. 277). Однако, что характерно для произведений последних лет жизни Нефедова, все это остается не только намеком, но и просто оказывается желанием сгладить классовую рознь (разговор крестьян об исправившемся).

Интересно, что один из знавших Нефедова в последние годы его жизни в своих воспоминаниях приводит слова Нефедова, что он «не любит капитала и его фабрики», что «нужно опираться на общину» и т. п. («Владимирец», 1907 г., № 58). Либерал-народническое мировоззрение Нефедова проявляется здесь в полной мере.

## КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОРЕ

Впервые напечатано (под общим названием «Деревенские очерки») в журнале «Современное обозрение» в 1868 г. № 2. Перепечатывалось в сборниках «На миру» (1872 г.) и «Очерки и рассказы» (1878 г.) с изменениями.

«Крестьянское горе» представляют собою яркие очерки пореформенной крестьянской жизни. Страшное несчастье — пожар, постигшее деревню, используется Нефедовым только для сохранения единства в очерках. Центральное место в очерках занимают описания «страдной» поры, рассказы парней и повествования «странника».

Невежество, темнота, полная зависимость от стихии, беззащитность, бесправность крестьянства царской России, — вот в чем внутренний смысл очерков.

Сгорела деревня — идут погорельцы в кабак «залить горе», с умлением и восторженным удивлением слушают вранье «странника», рассказывающего всяческие небылицы. Этими рассказами пользуется Нефедов, чтобы еще более подчеркнуть тяжкую крестьянскую долю.

Это бесправие, невежество, страх перед всяким «начальством», особенно ярко выявлены в финальной сцене очерка. Покорно, испуганные угрозой, несут крестьяне взятку следователю.

Где выход из бесправности, несчастий, горя? Такой выход Нефедов видит в грамоте, культуре крестьян, не понимая, что основное зло в самодержавном строе, капитализме.

## ИВАН-ВОИН

Впервые напечатан в «Неделе» в 1868 г., № 42 и 43. Перепечатывался в сборниках «На миру» и «Очерки и рассказы».

История с «явлением» иконы, рассказанная Нефедовым, представляет собою яркий антирелигиозный документ. Ловкое использование, с целью денежной наживы, религиозного чувства крестьян, их слепой веры в «чудесную силу» икон особо подчеркивается сценой с купцом, пожелавшим перекупить «явление» для упрочения своей торговли.

## БЕЗОБРОЧНЫЙ

Впервые напечатан в журнале «Грамотей» в 1871 г., № 4, 5 и 12 (подзаголовок: «Сельский рассказ»). Перепечатывался в сборниках: «На миру», «Очерки и рассказы» и в «Собрании сочинений», т. IV.

Один из наиболее популярных рассказов Нефедова «Безоброчный» неоднократно издавался отдельной книжкой. Горькая повесть о



бедном Григорье, о тяге его к знаниям, к учению, о детской дружбе, так рано оборвавшейся, о борьбе его и отца с богатым мужиком Парамоном, — показана с большой теплотой и искренностью. Картина крестьянской жизни дореформенного периода ярко рисует этот произвол, тяжелый гнет экономической и правовой зависимости, который испытывала на себе крепостная деревня. Оброк, накладываемый помещиком, оказывался совершенно непосильным при малейшем несчастье (неурожай, смерть работника и т. п.). А это вело к зачислению в «безоброчные», т. е. в ряды своеобразных «неоплатных должников», выйти из которых было почти невозможно.

Протест против несправедливости, против жестокого произвола, борьба за свободу, за право на «вольный дух», — вот внутренний смысл повести. Плохо, правда, верит в успех борьбы Нефедов, так как «нет ни друзей, ни приятелей... В петлю лезь — не вытащат».

Однако повесть рассчитана была на то, чтобы засагвить читателя задуматься над крестьянской долей, причиной гибели Безоброчного.

В первоначальном тексте повесть кончалась таким призывом:

«Так и пропал человек... И ведь сколько, как подумаешь, по нашим селам и деревням гибнет хорошего народа? Несть числа!..»

А отчего бесследно гибнут здоровые силы на святой Руси? Подумайте-ка вот об этом, добрые люди. Давно, давно вам пора обо всем подумать и поразмыслить...»

Эта концовка, предопределявшая, разумеется, ответ на поставленный вопрос, делала повесть хорошим пропагандистским материалом, и не случайно, что переиздавая повесть в сборнике «Очерки и рассказы» в 1878 г., Нефедов, искугавшись, исключает эту концовку. Царская цензура, запретившая к переизданию сборник «На миру», не пропустила бы такую призывную концовку.

Нужно было «смягчить» впечатление, придать «Безоброчному» иную окраску. И Нефедов, исключая концовку, делает вставку: «Рассказывали, что будто бы видели, и не раз даже видели, Безоброчного за селом, около большой дороги. Ночь... месяц светит, а Безоброчный стоит на коленях и молится... Время от времени поднимает он к небу руки и долго глядит на звезды; вздохнет и вдруг громко взмолятся:

— Господи! Пошли же ты мне конец скорый... — Всю ночь он молится, но ежели заметит, что его видят, быстро встает с земли и бежит...»

Подчеркиванием религиозного настроения последних лет жизни Безоброчного, «прощением» им Парамона Нефедов стремится сгладить впечатление от повести, как протестующей и изобличающей самодержавный строй.

## НЕ В ОБЫЧАЕ

Повесть впервые напечатана в журнале «Русская Мысль» в 1883 г. № 1 и 5. Перепечатана в «Собрании сочинений т. II.

Борьба за право на «свободный брак», вне зависимости от материального «благополучия» одной из сторон, всяких «обычаев», — тема многих произведений Нефедова (вспомним хотя бы «Семь ключей»).

Трагическая судьба Андрея Поплавского и Тани, рассказанная Нефедовым, хорошо подчеркивает тяжелую долю крестьянской де-

вушки. Зависимость от родительской власти («А я от моего решения не отступаю: не бывает Танюшке за Андреем»), страх перед возможностью обвенчаться «без родительского благословения» — довлеет над Таней. Нет у ней сил пойти против «обычая». Нет, в сущности, их и у Андрея, — «обычай» сковывает его. Слабая попытка убедить Таню кончается неудачей. Неудачу терпит он и в разговоре с отцом Тани, несмотря на все унижения и молебны. А в результате убийство Тани и самоубийство Андрея.

Бытовые сцены и обряды (сватовство и другие), показанные Нефедовым, придают повести этнографический интерес.

## СТЕНЯ ДУБКОВ

Повесть впервые напечатана в журнале «Русская Мысль» в 1898 г., № 4 и 5. Перепечатана в «Собрании сочинений», т. III. Отдельно издана в Петербурге, в 1898 г. (издание О. Н. Поповой).

Одно из последних больших произведений Нефедова, написанное с ярко выраженной позицией либерал-народничества. Идеализация крестьянской жизни, ставка на «крепких» хозяев, вера в книгу и просвещение как в единственное средство улучшения крестьянского быта, — все эти моменты нашли свое выражение в «Стене Дубкове».

Стеня Дубков на голову выше своих товарищей. Авторитет, которым он пользуется, основан, как подчеркивает автор, не на физической силе его, не на том, что он — сын одного из «самых зажиточных и уважаемых крестьян не только в одной своей деревне, но и во всей своей волости»; его сила — в культурном и моральном превосходстве.

Непример другим Дубков начитан, любит книгу. Его тянет к знаниям, к культуре. Пьянству, дракам он противопоставляет просвещение, книгу. Крестьянское хозяйство, деревенская «здоровая и привольная» жизнь — вот на чем строится общее благополучие. Неслучайно Белов, закадычный друг и товарищ Стени, живущий в Москве, не удовлетворен городской жизнью. Он мечтает: «куплю где-нибудь землю и займусь крестьянским хозяйством.»

Нефедов не скупится, чтобы возможно более светлыми красками нарисовать картину деревенской жизни. Нужда, правительственный гнет, кулацкая кабала, — все это «неизвестно» деревне Купнино; более того, единственные представители власти (урядник и староста) оказываются посрамленными Дубковым.

Стене Дубкову и его товарищам, их стремлению к «благопристойности», к борьбе с буйством, пьяной дракой и т. п. Нефедов противопоставляет «фабричных». Фабричные пьянствуют, глумятся над деревенскими, стремясь показать свою «образованность». Но не только это отличает их. Нефедов подчеркивает крепость и рослость, цветущее здоровое деревенской молодежи и изможденность фабричных «заморышей», как он выражается. Только крестьянское хозяйство, только земледельчество дает «благородных, здоровых, чистых и духом и телом людей». Враждебность к фабрике, к фабричным, — вот к чему сводится смысл повести. Поэтому для нашего читателя интерес повести заключается, разумеется, не в этом, типично либерально-народническом настроении, а в ряде бытовых картин, нарисованных Нефедовым.

## ЗИГДА

Впервые напечатана в сборнике «Почин», в 1898 г. Перепечатана в «Собрании сочинений», т. IV.

Отдельное издание — Петербург, 1905 г., «Библиотека «Общественная польза» (см. «Ушкуль»).

## УШКУЛЬ

Впервые напечатана в сборнике «Почин», в 1895 г. Перепечатана в «Собрании сочинений», т. IV.

Эти башкирские легенды, пересказанные Нефедовым, являются результатом его этнографических и археологических экспедиций и поездок в Башкирию.

Нефедов занимался изучением Башкирии в течение долгого времени. Им написано несколько этнографических и археологических работ по собранным им материалам, опубликован ряд очерков («В горах и степях Башкирии», ж. «Русская Мысль», 1882 г., № 2, 5 и 12; «На восточной окраине», «Русские ведомости», 1884 г., № 201, 203, 227, 268, 326 и др.).

«Зигда» и «Ушкуль», как и другие опубликованные им легенды, записаны, повидимому, им в одну из поездок на месте. Народное творчество башкир чрезвычайно велико и представляет собой выдающийся интерес. Огромное количество сказок, песен, эпических сказаний и легенд еще очень мало изучено и только теперь начинается их разработка. Особенно интересны исторические песни, повествующие о «батырях». Таковы, например, песни о «Салават батыре» — яркие и реалистические. Легенда о «Зигде», верной и любящей жене, не утратившей далекого пути, чтобы найти своего мужа, уехавшего на заработки в Бухару, отличается своею поэтичностью.

«Ушкуль» — легенда о мужественном Галлее Ахмете, своей жизнью пожертвовавшем для того, чтобы избавить свою страну от власти шайтана, чтобы сделать ее счастливой.

Несмотря на идеализацию патриархально-родового быта, Нефедов отражает все же в этой легенде тяжелое экономическое положение, нестерпимый гнет политического строя царской России, направленного к порабощению «инороднического» населения.

Образ Галлея — символ мужества, смелости, преданности родине и народу — противопоставлен образу Меджина — князю лукавому, стремящемуся уничтожить власть джеина, установить самодержавное правление, стать падишахом (царем).

Все, что есть привлекательного — красота, смелость, искренность, сыновья любовь — сосредоточено в Галлее. Лицемерие, предательство — характеризуют Меджина. И естественно, что Нада — образ идеальной любящей девушки — любит Галлея. Однако эта любовь не только не мешает, но, пожалуй, и побуждает ее отправить Галлея уничтожить шайтана во имя счастья Башкирии, хотя Нада хорошо понимает всю опасность, грозящую Галлею.

Легенда «Ушкуль» вся пронизана великим чувством патриотизма к свободной и счастливой родине, благо которой превышает всех личных моментов.

## ТАЙНА РЕКИ

Повесть впервые напечатана в журнале «Северный Вестник» в 1894 г., №№ 11 и 12. Вошла в «Собрание сочинений», т. III.

Тема повести — трагическая история любви двух молодых людей, протест против замаскированной браком «купли-продажи» человека, его чувств и его достоинства против власти капитала... Последнее особенно выявляется в разговоре бакащиком с приказчиком.

«Голодным по рублю с полтиною отпустил хлеб (купец Великанов), а в возврат от них по четвертачку принял», — с горечью говорит бакащик, когда приказчик напоминает о «благодеении» купца.

Ряд «вставных» рассказов, которые приводит Нефедов (о молодом «баринке», жалеющим, что у мужиков будет урожай: «Если бы на их полях хлеб не уродился, они пришли бы ко мне покупать», о Великанове и других), дает ценную картину экономического гнета, который испытывало крестьянство в царской России.

Все это дано на фоне описания жизни бакащиков. Эта своеобразная, полутрагическая жизнь показана Нефедовым детально и с большой теплотой.

Образу старого бакащика Василия Семеновича, поборника правды, чувствующего и понимающего несправедливость существующего строя, но не видящего реального выхода из него, конкретных путей борьбы, а поэтому предпочитающего «отшельничать», противопоставлен образ Николая Петровича.

Приказчик богатейшего купца, делец и пройдоха, он признает только одну власть — деньги, и уважает только тех людей, кто, каким угодно путем, составил себе капитал, «имя».

«Орел. — говорит он о Великанове, — под небесами парит, и оттуда землю озирает, — усмотрел добычу, упал колом, схватил и поволок; не успеешь моргнуть, — он уже снова парит, новую добычу видит — и опять схватил».

Остро написанный образ приказчика принадлежит к числу наиболее цельных в произведениях Нефедова.

Особое место в «Тайне реки» занимает пейзаж, которому Нефедов уделяет здесь немало страниц. Взятый в целом, он дает достаточно яркую и живописную картину жизни на берегу реки.

## НИКИТИН ПОЧИНОК

Впервые напечатан в журнале «Русская Мысль» в 1882 г., № 2, в серии очерков «В горах и степях Башкирии», под заголовком: «Очерки жизни русских переселенцев». Вошел в «Собрание сочинений», т. II.

Очерк «Никитин починок» посвящен одной из самых мрачных страниц истории жизни крестьянства в царской России. Отмена крепостного права привела к новой, огромной волне переселения. Крестьяне так называемой европейской части России, гонимые нехваткой земли, кабальными условиями помещичьих хозяйств, нищетой, все увеличивающимися налогами, десятками тысяч покидали родные деревни и устремлялись в восточные части России в поисках земли.

Царское правительство, способствовавшее переселенчеству (по-

сколько это отвлекало крестьян от попыток борьбы за помещичью землю, с одной стороны, и помогало колонизировать «окраины», населенные «инородцами», с другой стороны), не принимало, однако, почти никаких мер к обеспечению переселенцев, представляя их «воле божьей».

Привлеченные слухами об огромных, свободных «казенных землях», переселенцы шли в Башкирию в надежде, наконец, обзавестись «землицей». Лучшая земля, однако, была расхищена царскими ставленниками, и переселенцам предстояло на выбор: либо арендовать ее у новоиспеченных помещиков, либо селиться в местах, явно неудобных, непригодных, климатически непригодных. Помощи же ниоткуда ждать нельзя было.

В результате переселенцы гибли тысячами. Очерк «Никитин починок» рассказывает именно о тех, кто, не желая идти в кабалу к помещикам, поселился в болотистых непригодных землях. Лишенные какой бы то ни было поддержки, измученные издевательским отношением властей, гонявших их из уезда в уезд, переселенцы испытывали огромную нужду, были предоставлены самим себе. Злой насмешкой звучит поэтому фраза урядника, что губернатор, будто бы, «жалует» переселенцев.

Жуткая картина жизни переселенцев, нарисованная Нефедовым, не была чем-то исключительным. В той или иной степени ее можно было видеть повсеместно. Болезнь, голод, жизнь в землянках, — тысячами косили крестьян, искавших «землицу». Все это, разумеется, не могло не вызывать роста недовольства, справедливого гнева, усиления революционного самосознания крестьян.

## НА АРЕСТАНТСКОМ ПАРОХОДЕ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Наблюдатель» в 1883 г.

В форме путевых записок автор изображает обездоленных, бесправных людей, мечтающих о свободной жизни (см. 224 стр.). Особенно в этом отношении характерен пришедший автором рассказ о стачке фабричных рабочих.

## ЛУКАВЫЙ ПОПУТАЛ

Впервые повесть напечатана в журнале «Наблюдатель» в 1892 г., №№ 11 и 12. Перепечатана в «Собрании сочинений», т. II.

Сюжетная основа повести — горькая судьба Авдея, обремененная в форму народных поверий. Любовь Авдея к Анне в глазах патриархального старозаветного крестьянского быта была «греховной» любовью. Это было дело рук «лукавого». И задача состояла в том, чтобы вырвать Авдея из-под власти «лукавого», вернуть его к «праведности», к «правильной» жизни.

Интерес повести не только в том, что она дает образ крестьянина, который поднял своеобразный «бунт» против навязанной ему, в сущности, жизни (ведь брак Авдея с Васеной — брак по расчету, по нужде). Интерес ее в тех приводимых Нефедовым верованиях в «лукавого», «нечистых», в описании приемов борьбы с «нечистыми».

Как известно, эти приемы, часто грубые и жестокие (например обливание больного ледяной водой, как это было проделано с Авде-ем), нередко приводили к смертельному исходу и служили ярким свидетельством того, в какой глубокой некультурности держала царская Россия народ.

Кроме того, этнографические наблюдения и записи, приводимые Нефедовым, делают повесть познавательно ценным материалом для изучения народных верований.

**Н. Морачевский.**

---

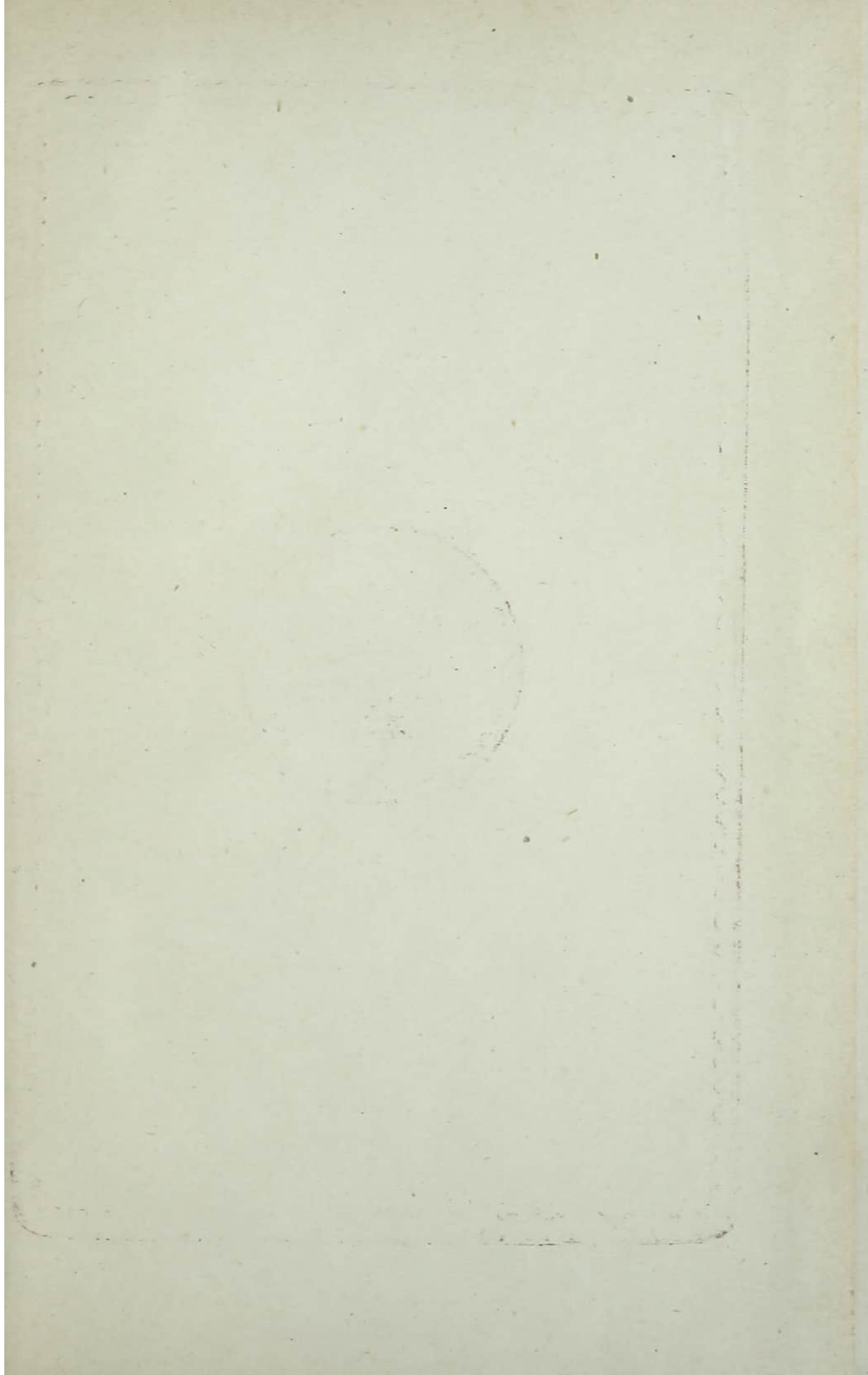
Все построчные примечания—авторские.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Зида . . . . .</i>	<i>3</i>
<i>Ушкуль . . . . .</i>	<i>17</i>
<i>Тайна реки . . . . .</i>	<i>79</i>
<i>Никитин починок . . . . .</i>	<i>183</i>
<i>На арестантском пароходе . . . . .</i>	<i>207</i>
<i>Лукавый попутал . . . . .</i>	<i>237</i>
<i>Примечания к I-III томам . . . . .</i>	<i>296</i>

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛ КРАЕВОЙ









6 РУБ.



